АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ИНСТИТУТ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ЖУРНАЛ ОСНОВАН В 1952 ГОДУ

ВЫХОДИТ 6 РАЗ В ГОД

6

НОЯБРЬ—ДЕКАБРЬ

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»
МОСКВА—1969

СОДЕРЖАНИЕ

В. В. Виноградов. Основные вопросы и задачи изучения истории русского языка до XVIII в. 3

ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

Р. М. Цейтлин (Москва). О лексических особенностях языка старославянских памятников 35
Т. А. Иванова (Ленинград). О названиях славянских букв и о порядке их в алфавите 48
Л. Р. Зиндер (Ленинград). К итогам дискуссии о русской орфографии . . 56
Л. Н. Булатова (Москва). Еще раз об основном принципе русской орфографии. 64

МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

К. Гутшмидт (Берлин). О роли церковнославянского языка в формировании современных болгарского и сербского литературных языков 71
Е. И. Демина (Москва). «Начало» современного болгарского литературного языка в свете общей периодизации истории литературного языка в Болгарии 83
Г. К. Венедиктов (Москва). О нормализации устной речи на начальном этапе формирования современного болгарского литературного языка . 94
Л. Н. Смирнов (Москва). О роли Антона Бернолака в истории словацкого литературного языка 103
В. А. Дыбо (Москва). Древнерусские тексты как источник для реконструкции праславянского ударения 114
Й. Заимов (София). Битольская надпись болгарского самодержца Ивана Владислава 1015—1016 гг. 123

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Рецензии

А. М. Щербак (Ленинград). *K. H. Menges.* The Turkic languages and peoples 134
И. О. Гецадзе (Ленинград). *Е. А. Крейнович.* Глагол кетского языка . . 138
А. П. Василевич (Москва). *T. Jakubaite, D. Kristovska, V. Ozola, R. Prūse, N. Sika.* Latviešu Valodas Biežuma Vārdnīca. I; *T. Jakubaite, D. Gulevska, V. Ozola, R. Prūse, A. Rubina, N. Sika.* Latviešu Valodas Biežuma Vārdnīca, II 144
Новые издания 147

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

С. И. Котков (Москва). По поводу некоторых замечаний рецензента . . . 148
Хроникальные заметки 149
Указатель статей, опубликованных в журнале «Вопросы языкознания» в 1969 г. (№№ 1—6). 165

РЕДКОЛЛЕГИЯ:

О. С. Ахманова, *В. В. Виноградов* (главный редактор), *В. М. Жирмунский* (зам. главного редактора), *Э. А. Макаев*, *М. В. Панов*, *В. З. Панфилов*, *И. И. Реввин*, *Ю. В. Рождественский*, *Б. А. Серебренников*, *Н. И. Толстой* (отв. секретарь), *О. Н. Трубачев*

Адрес редакции, Москва, К 31. Кузнецкий мост, д. 9/10, Тел. 228-75-55

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 6 1969

В. В. ВИНОГРАДОВ

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ИСТОРИИ РУССКОГО ЯЗЫКА ДО XVIII в.

1

В IX в. в истории славянства уже существовали все основные предпосылки для возникновения и распространения своей славянской письменности и литературы. Отвлекаясь от гипотез, допускающих у разных славян существование письменных форм речи до Кирилла и Мефодия, целесообразно принять 863 год как дату начала славянской письменности, славянской книжности и литературы, древнерусского или старославянского литературного языка.

Чешский славист А. Достал так писал о начале старославянского литературного языка: «Наиболее распространен взгляд, что старославянский язык стал языком литертературным уже впоследствии, главным образом в церковнославянский период, когда церковнославянский язык был признан межславянским литературным языком (славянская латынь). Однако необходимо признать литературность старославянского языка уже в период почти с возникновения старославянских памятников, так как с самого начала на этот язык были переведены тексты, очень важные для своего времени, и с самого начала в них исчез характер местного языка. Константин и Мефодий, наоборот, первые же тексты написали для западной славянской области и задумывались о создании большой славянской литературы»[1]. В XI в. славянские языки или наречия, по мнению А. Мейе, Н. С. Трубецкого и Н. Н. Дурново, были еще настолько структурно близки друг к другу, что сохраняли общее состояние праславянского языка позднего периода. Вместе с тем очевидно, что старославянский язык, даже если принять его диалектной основой говор македонских, солунских славян, в процессе своего письменного воплощения подвергся филологической, обобщенной обработке и включил в себя элементы других южнославянских говоров. Согласно выводам наиболее авторитетных славистов, старославянский язык уже при своем образовании представлял тип интернационального, интерславянского языка [2]. Это свидетельствует о высоте отражаемой им общественной культуры и о его собственной внутренней структурной высоте.

Сложные культурные влияния соседей, их литератур, их литературных языков, особенно языка греческого и старославянского, содействовали — вместе с созданием восточнославянской письменности — образованию русского литературного языка. Язык богослужебных книг и связанная с ним литература литургического творчества принесли к восточным славянам богатую традицию христианской теории, догматики, духовной поэзии и песни. Переход на письмо восточнославянской бытовой речи самого разнообразного информационного характера повлек за собой развитие рус-

[1] A. Dostál, Staroslověnština jako spisovný jazyk, «Bulletin Vysoké školy ruského jazyka a literatury», III, Praha, 1959, стр. 138.

[2] Ср.: Н. И. Толстой, Роль кирилло-мефодиевской традиции в истории восточно- и южнославянской письменности, в кн.: «V Международный съезд славистов. Доклады советской делегации», М., 1963.

ской деловой письменности, закрепление норм и практики обычного права, возникновение и производство летописей, оформление договоров, распространение государственных документов, грамот и граматиц.

Заслуживают внимания идеи о том, что успешному и быстрому оформлению и движению древнерусского литературного языка сильно способствовали устные переводы с греческого (В. М. Истрин) и знакомство с памятниками древнеболгарской поэзии и письменности еще до крещения Руси (М. Н. Сперанский, В. Ф. Миллер, В. И. Ламанский, Б. С. Ангелов и др.). «Русская письменность и литература,— пишет Б. Ангелов — до официального принятия христианства Русью была уже связана со славянской письменностью Болгарии, в частности западной Болгарии и Македонии, откуда шли на Русь, естественно, в ограниченном количестве, древнейшие памятники церковной письменности, по всей вероятности писанные глаголицей, обычным письмом этого времени в Македонии и западной Болгарии; отсюда же идет, по-видимому, и некоторое знакомство русской письменности с глаголическим письмом, вскоре смененным кириллицею» (автор ссылается здесь на исследование М. Н. Сперанского «Откуда идут старейшие памятники русской письменности и литературы»). Отсюда рано усваивается и категория литературности письменного языка. «Такая постановка вопроса о начале русско-болгарских литературных связей в большой степени объясняет причины быстрого развития русской литературы и русской культуры вообще в период непосредственно после принятия христианства на Руси в конце X в.» [3].

Устная народная поэзия в разных ее жанрах и элементах быстро проникает в книжно-письменные восточнославянские произведения. Еще М. А. Максимович выдвинул такую формулу, что «церковно-славянский язык не только дал образование письменному языку русскому..., но более всех других языков имел участие в дальнейшем образовании нашего народного языка» [4]. Структура народной восточнославянской речи, если оставить в стороне произносительные различия, приведшие вскоре к созданию особого «церковного произношения» (согласно открытию А. А. Шахматова), была очень близка к старославянскому языку как в грамматическом строе, так — в значительной степени — и в области словаря. И. И. Срезневский в своих знаменитых «Мыслях об истории русского языка и других славянских наречий» пришел к выводу, что русский народ, приняв христианство, «нашел уже все книги, необходимые для богослужения и для поучения в вере, на наречии, отличавшемся от его народного наречия очень немногим» [5]. Теми сферами, где происходило наиболее глубокое и разнообразное взаимодействие церковнославянского языка и русской народной речи, были сферы исторического и летописного творчества, с одной стороны, и стихотворно-поэтического,— с другой. А. А. Шахматов отметил церковнославянское влияние на русскую народную поэзию в рецензии на работу В. А. Аносова «Церковнославянские элементы в языке великорусских былин». Эта мысль А. А. Шахматова находилась в связи с защищаемыми В. Ф. Миллером положениями, что «наши былины представляются определенным видом поэтических произведений, сложившимся и установившимся в своей внешней форме и технике в среде профессиональных певцов» и что «профессиональные певцы сосредоточивались вокруг князя и его дружины; такое заключение объясняет нам и присутствие

[3] Б. Ст. Ангелов, К вопросу о начале русско-болгарских литературных связей, «Труды отдела древнерусской литературы», XIV, 1958, стр. 138.

[4] М. А. Максимович, История древнерусской словесности, Киев, 1833, стр. 447.

[5] И. И. Срезневский, Мысли об истории русского языка и других славянских наречий, 2-е изд., СПб., 1887, стр. 32.

в нашем эпосе книжных элементов и международных сюжетов; среда профессиональных певцов не могла быть чуждок книжной образованности»...[6].

В. М. Истрин высказал интересную мысль в своем исследовании «Хроника Георгия Амартола» о том, что древнерусский литературный язык в переводе этой Хроники обнаружил богатство и разнообразие словаря, семантическую сложность и гибкость, способность тонко передавать смысловую сторону языка такой высокой культуры, как греческая. В греческом оригинале Хроники Георгия Амартола насчитывается 8500 слов, в переводе — 6800. Следует вспомнить, что в лексическом фонде классических старославянских текстов отмечено 9000 славянизмов и 1200 грецизмов (не считая многочисленных калек). В. М. Истрин приходит к выводу, что русские книжники-переводчики XI в. свободно владели всем словарным составом старославянского языка, удачно пополняя древнерусский литературный язык новообразованиями (очевидно, по старославянским образцам), но вместе с тем они широко вовлекали в свою книжную речь народные выражения из живых восточнославянских говоров для обозначения бытовых и обыденных явлений [7].

Сделанный В. М. Истриным анализ перевода Хроники Георгия Амартола очень убедительно показал, как протекал процесс проникновения народной восточнославянской лексики в состав церковнославянского языка русской редакции, как осуществлялось взаимодействие русских и церковнославянских элементов в аспекте древнерусской литературности. В сущности, В. М. Истрин здесь углублял и обобщал наблюдения А. И. Соболевского над категориями и разрядами народных русских слов и выражений в церковнославянской переводной литературе восточнославянского происхождения [8]. Процесс слияния и взаимодействия русской и церковнославянской стихий в сложной структуре вновь складывавшегося древнерусского литературного языка вырисовывается на фоне такого материала очень последовательно и планомерно.

Исследование С. П. Обнорского «Очерки по истории русского литературного языка старшего периода» в силу пестроты и разнотипности привлеченного им древнерусского материала (из жанров деловой письменности и народного поэтического творчества) не могло показать и не показало «объективную мерку церковнославянизмов в нашем языке» [9]. Вопреки предшествующим историко-лингвистическим исследованиям С. П. Обнорского (например, в области русского исторического церковнославянского словообразования — «Русская речь», 1923 г., под редакцией акад. Л. В. Щербы), по априорно-идеологическим и патриотическим соображениям ему стало казаться, что прежние представления о церковнославянизмах, о их количестве и их функциях «у нас преувеличены» [10]. Согласно новым взглядам С. П. Обнорского, русский литературный язык старшего периода был чисто русским языком во всех элементах своей структуры (в произносительной системе, в формах словоизменения и словообразования, в синтаксисе, в лексическом составе).

Не подлежит сомнению, что только скудость и тенденциозная подобранность речевого материала могла привести С. П. Обнорского к такому одностороннему и антиисторическому выводу о возникновении и развитии

---

[6] Всеволод Федорович Миллер. Некролог А. А. Шахматова, «Изв. имп. Акад. наук», 1914, 2, стр. 75—76 и 85.

[7] В. М. Истрин, Хроника Георгия Амартола в древнем славянорусском переводе, II, Пг., 1922, стр. 227, 246, 250.

[8] А. И. Соболевский, Материалы и исследования в области славянской филологии и археологии, СПб., 1910.

[9] С. П. Обнорский, Очерки по истории русского литературного языка старшего периода, М.—Л., 1946. стр. 8.

[10] Там же.

древнерусского литературного языка. Это очень внушительно было показано уже А. М. Селищевым [11]. Для критического сравнительно-исторического сопоставления с взглядами С. П. Обнорского на историю древнерусского языка могли бы быть привлечены с большой наглядностью материалы из истории сербского языка вплоть до реформы Вука Караджича. Ведь С. П. Обнорский утверждал, будто русский литературный язык не ранее XIV в., т. е. с эпохи второго южнославянского влияния, подвергся «сильному воздействию южной, болгаро-византийской культуры». По словам С. П. Обнорского, «оболгарение русского литературного языка XV в. следует представлять как длительный процесс, шедший с веками crescendo» [12].

Концепция С. П. Обнорского стала оказывать решительное влияние на все статьи, брошюры и книги, посвященные разнообразным вопросам исторической грамматики и лексикологии древнерусского языка и появляющиеся у нас после выхода в свет его «Очерков» (П. Я. Черных, Ф. П. Филина и др.) [13].

Из близких к концепции С. П. Обнорского теорий лишь теория Л. П. Якубинского, более сложная, чем концепция С. П. Обнорского, открывала некоторые новые пути исследования проблемы церковнославянизмов в истории древнерусского литературного языка. Она вводила исторический принцип жанрового и стилистического функционального разграничения языковых явлений в церковнославянских и русских памятниках древнейшей поры. Опираясь, в основном, на те же памятники, кроме Моления Даниила Заточника, но с привлечением Новгородской летописи, Л. П. Якубинский пришел к выводу, что старославянский язык сыграл определяющую роль в самые первые моменты формирования древнерусского письменно-литературного языка, но уже во второй половине XI в. в нем начинает преобладать живая восточнославянская устно-речевая стихия. Отсюда у Л. П. Якубинского укрепляется тенденция к изучению жанрово-стилистических взаимоотношений и взаимодействий русизмов и славянизмов в памятниках древнерусского литературного языка [14].

В сущности, уже в этот первый период развития древнерусского славянского языка XI—XIII вв. началось постепенное обогащение его элементами народного «делового» языка. Известная исследовательница древнерусской литературы В. П. Адрианова-Перетц так писала об этом: «Изучая „деловой“ язык древней Руси, как он отражен прежде всего в памятниках чисто практического назначения, мы отмечаем в нем не только точность и ясность, но и особую выразительность (которая сейчас ощущается нами как своеобразная „образность“), характерно отличающуюся от специфической „сладости книжной“, но близко напоминающую выразительность устно-поэтического языка» [15]. Кроме того, объем и структура делового языка все более изменялись и расширялись. От деловой речи ответвлялись другие жанры.

Богатое содержание и широкий состав древнерусской письменности и литературы, которая уже в начальный период своей истории в XI—XIII вв. культивировала, кроме религиозно-философских, также повествователь-

[11] А. М. Селищев, О языке «Русской правды» в связи с вопросом о древнейшем типе русского литературного языка, ВЯ, 1957, 4 (перепечатано в кн.: А. М. Селищев, Избранные труды, М., 1968). Ср.: С. П. Обнорский, Русская Правда как памятник русского литературного языка, ИАН СССР, Серия VII — Отделение обществ. наук, 1934, 10.

[12] С. П. Обнорский, Русская Правда как памятник..., стр. 776.

[13] См.: В. В. Виноградов, Изучение русского литературного языка за последнее десятилетие в СССР, М., 1955.

[14] См.: Л. П. Якубинский, История древнерусского языка, М., 1953.

[15] В. П. Адрианова-Перетц, Древнерусская литература и фольклор, «Труды Отд. древнерусской литературы», VII, М.—Л., 1949, стр. 11.

ные, исторические и народно-поэтические жанры, свидетельствуют о быстром развитии древнерусского литературного языка на церковнославянской основе, но с многообразными включениями в его структуру элементов восточного словесно-художественного творчества и выражений живой бытовой речи. Конечно, в некоторых функциональных разновидностях деловой — бытовой и государственной — речи отдаленность их от книжно-славянского письменно-литературного языка была долгое время очень значительна. Но самобытность путей движения древнерусской литературы не могла не отразиться и на процессах развития разных стилей древнерусского литературного языка.

Быстрое и широкое распространение русского кириллического письма для практических нужд — в бытовой переписке (грамоты на бересте), в надписях на сосудах и т. п. (с начала X в.) — говорит о том, что народный язык деловой письменности играл заметную роль в X—XI вв. в восточнославянском общественно-бытовом обиходе. Но делать отсюда более или менее определенные заключения о степени литературности этой обиходно-бытовой письменной речи чрезвычайно трудно. А. И. Соболевский, признавая наличие в древней Руси двух языков — одного литературного, церковнославянского, другого живого делового, допускал их активное взаимодействие и синтезирование. «Конечно,— говорил он,— люди со слабым образованием часто писали свои литературные произведения на таком языке, где церковнославянские элементы ... были в меньшем количестве, чем русские, но все-таки они желали писать на церковнославянском языке и пускали в оборот весь свой запас сведений по этому языку. Таковы были, между прочим, наши летописцы...»[16]. Таким образом, в XII—XIII вв. возникают разные стили древнерусского литературного языка, характеризующиеся слиянием и смешением народнорусских и церковнославянских элементов.

Процессы распространения признаков «литературности» письма могли осуществляться в сфере деловой письменной речи и другими путями. Прежде всего — это путь обогащения языка грамот и вообще деловой речи поэтическими народными выражениями и фольклорными цитатами (например, формулами загадок). Такие «следы поэтической организации речи и элементы стихотворного ритма» Р. О. Якобсон и Н. А. Мещерский нашли в новгородской берестяной грамоте № 10 (XV в.)[17]. Исходя из предположения, что в древнерусском языке уже рано должны были сложиться некоторые различия в нормах народно-разговорной и книжно-славянской письменной речи (устойчивые типы словосочетаний, традиционные формулы начала, концовок, определенная система сложных и в особенности сложноподчиненных предложений, «что не свойственно бытовой речи»; использование отдельных церковнославянских слов и выражений др. под.), Н. А. Мещерский предлагает видеть в берестяных грамотах с книжнославянским наслоением (например, №№ 9, 10, 28, 42, 53) признаки литературной грамотности, а у авторов их показатели владения литературным языком. Пока это все очень субъективные, хотя и возможные, предположения[18].

---

[16] А. И. Соболевский, Русский литературный язык, «Труды Первого съезда преподавателей русского языка в военно-учебных заведениях», СПб., 1904, стр. 366.

[17] R. Jakobson, Vestiges of the earliest Russian vernacular, «Slavic Word», 1952, 1, стр. 354—355; Н. А. Мещерский, Новгородские грамоты на бересте как памятники древнерусского литературного языка, «Вестник ЛГУ», Серия истории, языка и литературы, 1, 1958, 2, стр. 101.

[18] См.: В. В. Виноградов, Основные проблемы изучения, образования и развития древнерусского литературного языка, М., 1958, стр. 22—24.

Старославянская и позднее церковнославянская лексика, проникавшая в древнерусский литературный язык из разнообразных книг разных славянских государств, была очень сложной. «Слова моравские и словинские,— писал Н. И. Соболевский,— легко могут оказаться в текстах несомненно болгарского или русского происхождения, слова сербские — в текстах происхождения чешского и т. д.» [19]. Н. К. Никольский допускал значительное западнославянское влияние на раннюю древнерусскую письменность [20], в частности на летописные памятники. Он призывал к тщательному исследованию «объема западнославянского влияния на древнерусскую письменность, времени его проникновения в нее, специфических черт его отслоений на языке, стилистике и тематике письменных памятников дотатарских столетий» [21].

Процесс перевода памятников южнославянских и западнославянских литератур, памятников византийских и западноевропейских, прежде всего латинской литературы, на русский церковнославянский язык сопровождался творчеством новых слов для передачи новых идей и образов, семантическим приспособлением старых общеславянских слов к выражению новых понятий или вовлечением восточнославянских народных, а иногда диалектных слов в систему русского книжнославянского языка. Так богат и сложен делался состав древнерусского литературного церковнославянского языка. Переводились сочинения церковнобогослужебные, догматические, исторические, научные, поэтические. По словам В. М. Истрина, «славянский язык, на долю которого выпало сразу воспринять такое накопленное веками наследство чужой культуры, вышел из этого испытания с большею для себя честью» [22].

Так церковнославянский язык русской редакции, очень сложный по своему составу, включивший в себя болгаризмы и другие виды или типы южнославянизмов, моравизмы, чехизмы и даже (очень редко) полонизмы, византийско-греческие и латинские воздействия, на восточнославянской почве стал проникаться русизмами или восточнославянизмами. Складывался и развивался особый вариант церковнославянского литературного языка. Воздействие восточнославянской народной речи быстро сказалось на его звуковом строе. Оно усилилось в связи с процессом утраты редуцированных и последующими явлениями ассимиляции и диссимиляции согласных, а также чередования *о* и *е* с нулем звука. В XIII в. был более или менее русифицирован морфологический строй церковнославянского языка, как утверждал П. С. Кузнецов и утверждает Б. Г. Унбегаун, в сфере лексических и семантических новообразований начали устанавливаться приемы и принципы сочетания и разграничения восточнославянских и церковнославянских морфем (например, *одиночество* в «Хронике» Георгия Амартола, *среда* и *середа*, *вредити* — в отвлеченном моральном смысле — в «Поучениях» Владимира Мономаха и *вередити* — о физическом членовредительстве и т. п.).

Специалисты по старославянскому языку и старославянской литературе (например, В. Ягич, Б. М. Ляпунов, В. М. Истрин) не раз подчерки-

---

[19] А. И. Соболевский, Материалы и исследования в области славянской филологии и археологии, стр. 121.

[20] Н. К. Никольский, Повесть временных лет как источник для истории начального периода русской письменности и культуры, 1, Л., 1930. См. также: А. В. Флоровский, Чехи и восточные славяне, Прага, 1935.

[21] Н. К. Никольский, К вопросу о следах мораво-чешского влияния на литературных памятниках домонгольской эпохи, «Вестник АН СССР», 1933, 8—9, стр. 5—6.

[22] В. М. Истрин, Очерк истории древнерусской литературы, Пг., 1922, стр. 72—73.

вали «диалектную пестроту в истории развития этого языка»[23], разнообразие его словаря, сложность его семантической системы, богатство синонимов и смысловых оттенков значений слов (например, *бѣдьнъ, достояние* и *наслѣдие* и др.). Однако до настоящего времени состав той старославянской и церковнославянской лексики, которая вошла в активный словарь древнерусского литературного языка с XI по конец XIV в., до периода второго южнославянского влияния, во всем его объеме и стилистическом разнообразии пока не определен. А между тем чрезвычайно важно исследовать проблемы: как протекал процесс соотношения и взаимодействия славянизмов и русизмов (например, слов ц.-слав. *участие* и русск. *участок*, которые сначала были синонимами, но затем семантически разошлись)? Что нового, своеобразного в семантическую сферу церковнославянизмов внесено восточным славянством? Какие принципы и нормы определяли строй древнерусской стилистики? и др. под.

Старославянский язык был очень богат синонимами. Это отмечали многие слависты, например, В. В. Ягич, С. М. Кульбакин при анализе лексики Хиландарских отрывков XI в. [24], А. Вайан в своих этимологических исследованиях [25] и др. Ср.: *вожделение* и *похоть*; *ударение* и *заушение*; *жьртва* и *трѣба*; *язык* и *страна*; *возвысити* и *вознести*; *алкати* и *поститися*; *искренний* и *ближний*; *книгочий* и *книжник*; *знаменати* и *запечатлѣти* и др. под.

В. М. Истрин указал на то, что в церковнославянском переводе «Хроники» Георгия Амартола одно и то же греческое слово передается серией синонимов: διαθαίνεσθαι — *мьнѣти, обоняти, разумѣти, съвѣдѣти, услышати, чути*; ἔννοια — *домысл, домышление, замышление, мысль, помыслъ, размышление, разумъ, разумѣние, смысл, умъ, чувьствие*; διενός — *зълъ, лихъ, лукавъ, лютъ* и др. [26].

Церковнославянизмы, вливаясь в речь древнерусского духовенства и других грамотных слоев древнерусского общества, создавали здесь модели для образования новых слов из восточнославянского лексического материала. Например: *негодование*, впервые отмеченное в языке «Хроники» Георгия Амартола, *одиночество* (ср. старославянизм *единачьство* в языке «Поучения» Владимира Мономаха). Активны и влиятельны были процессы слияния и отталкивания омонимов церковнославянских и русских (ср. ц.-слав. *наговорить* «убедить» и русск. *наговорить* «наклеветать»).

Несомненно, что семантическая структура синонимов той эпохи была иная, чем в современном русском языке (ср. *продолжение* и *пространство*) [27]. Любопытно, что среди диалектологов с историческим уклоном у нас тоже было распространено убеждение в большей синонимичности древнерусского языка по сравнению с языком современным (например, А. П. Евгеньева, Б. А. Ларин и некот. др.) [28].

Задача исследования синонимов церковнославянских и русских в эту эпоху (XI—XIV вв.), в сущности, еще не поставлена. Было бы целесообразно исследовать соотношения и взаимодействия, а также различия

---

[23] Б. М. Ляпунов, Этимологический словарь русского языка А. Г. Преображенского, ИОРЯС, 1925, XXX, 1926.

[24] С. М. Кульбакин, Лексика Хиландарских отрывков, ИОРЯС, VI, кн. 4, 1901, стр. 135, 137.

[25] A. Vaillant, Problèmes étymologiques, RÉSl, 34, 1957, и сл.

[26] В. М. Истрин, Хроника Георгия Амартола..., II.

[27] А. П. Евгеньева, Язык русской устной поэзии, «Труды Отдела древнерусской литературы», VII, стр. 206; Б. А. Ларин, Проект древне-русского словаря, М. —Л., 1936, стр. 52; Ф. П. Филин, Очерк истории русского языка до XIV столетия, Л., 1940, стр. 81—83.

[28] Ср.: В. Н. Бенешевич, Из истории литературы в Новгороде конца XV столетия, «Сб. статей в честь акад. А. И. Соболевского», Л., 1928.

этих двух синонимических серийных потоков. Вообще говоря, одной из самых трудных и неразработанных задач истории лексики русского литературного языка с XI по XIV в. является исследование закономерностей слияния русизмов и церковнославянизмов, омонимической дифференциации их, а также новообразований славянорусизмов. Ведь на основе разнообразных комбинаций церковнославянских и восточнославянских элементов вырабатываются новые слова и фразеологические обороты для выражения новых понятий и оттенков. Кроме того, одни и те же слова — иногда с почти одинаковыми или очень близкими значениями — могли употребляться и в церковнославянском языке и в живых восточнославянских говорах.

Очень интересная и ценная работа К. Тарановского «Формы общеславянского и церковнославянского стиха в древнерусской литературе XI—XIII вв.» [29] внесла существенный вклад в понимание взаимодействий старославянской (а позднее церковнославянской) языковой струи с восточнославянской в эту эпоху. Русский церковнославянский литературный язык уже при своем историческом становлении усваивает некоторые из предшествующих литературно-поэтических структур, например организационные системы молитвословного стиха. Молитвословный стих (в более узком понимании называемый кондакарным), по определению К. Тарановского,— это свободный несиллабический стих целого ряда церковных молитв и славословий, обнаруживающий наиболее четкую ритмическую структуру в акафестах. Восходит он к византийскому стиху, а в конечном итоге — к библейскому.

К. Тарановский так описывает стихотворную структуру молитвословного размера: «Основным определителем молитвословного стиха является система ритмических сигналов, отмечающих начало строк. В первую очередь в этой функции выступают две грамматические формы — звательная форма и повелительное наклонение, отличающиеся от всех остальных грамматических форм и образующие особый „сектор“ в нашем языковом мышлении: эти две формы не только сигнализуют установку на адресата;... В синтаксической просодии эти две формы также играют особую роль: они чаще всех других форм наделяются экспрессивным, т. е. более сильным ударением. Другим средством маркирования начала строки в молитвословном стихе является синтаксическая инверсия, т. е. постановка на первое место в строке прямого дополнения перед сказуемым. Такое отмеченное положение какого-нибудь члена предложения опять-таки является благоприятным условием для наделения его логическим ударением. И в речитативном исполнении молитвословного стиха начала строк фактически наделяются более сильными ударениями. Само собой разумеется, что такое сильное ударение может автоматизироваться и падать на начало строк, синтаксически не отмеченных. Итак, ритмическое движение молитвословного стиха в первую очередь строится на ожидании отмеченности начала строк. Регистрируя повторное наступление начального сигнала, мы ожидаем и дальнейшего его появления: речь как бы протекает в двух измерениях (от одной словесной единицы к другой и от строки к строке), т. е. становится стихотворной. Особой важностью начального сигнала в молитвословном стихе объясняется тяготение этого стиха к анафорическим повторам и к акростиху.

Молитвословный стих не знает так называемых междустрочных переносов: концы строк в этом стихе всегда совпадают с естественными интонационными сигналами типа антикаденции (с „интонацией побуждения“),

[29] «American contributions to the VI International congress of slavists», The Hague, 1968.

а концы строф или „строфоидов" — с сигналами типа каденции (с „интонацией завершения"). При этом начало строки, оканчивающейся каденцией, часто бывает и неотмеченным, и эта неотмеченность („нулевой знак"), в свою очередь, может сигнализировать наступление каденции, т. е. разрешения созданного ритмического напряжения» [30].

«Вообще синтаксический параллелизм в молитвословном стихе является основным структурным приемом в организации текста. Он также способствует протеканию речи в двух измерениях, подчеркивая соотнесенность смежных строк и вызывая ожидание повторности определенных ритмико-синтаксических фигур» [31].

Старейшим примером применения молитвословного стиха в оригинальном произведении древнерусской письменности является «похвала» князю Владимиру в «Слове о законе и благодати» митрополита Илариона. Разбить ее на строки не представляет большой трудности:

1 Въстани, о честнаа главо, от гроба твоего,
2 Въстани, отряси сонъ,
3 Нѣси бо умьрлъ, нъ спиши до обьщааго всѣмъ въстанїа
4 Въстанн, нѣси умерлъ
5 Нѣ бо ти лѣпо умрѣти,
6 Вѣровавъшу въ Христа, живота всему миру.
7 Отряси сонъ, възведи очи, да видиши,
8 Какоя тя чьсти господь тамо съподобивъ,
9 И на земли не беспамятна оставилъ сыномъ твоимъ.
10 Въстани, виждь чадо свое Георгїа,
11 Виждь утробу свою,
12 Виждь милааго своего,
13 Виждь, его же господь изведе от чреслъ твоихъ,
14 Виждь красящааго столъ земли твоеи,
15 И възрадуися и възвеселися... [32].

Славянский сказовый стих хорошо описан П. Слиепчевичем на сербском фольклорном материале, а на русском и сравнительном славянском Р. О. Якобсоном [33]. Очень интересны новые соображения и наблюдения К. Тарановского, относящиеся к разным видам структуры сказового стиха. «Стих этот основывается на синтаксической просодии. Как отметил Р. Якобсон, этот стих был наименее подвержен изменениям в отдельных славянских языках, ибо „синтаксическая структура является самым консервативным слоем славянских языков"» [34]. «В древнерусской литературе,— пишет К. Тарановский,— есть одно произведение, всецело построенное на синтактико-интонационной модели сказового стиха. Это — „Слово о погибели русской земли" (XIII в.— *В. В.*)» [35].

Членение «Слова» на строки, предлагаемое К. Тарановским, близко к разбивке текста, предложенной А. В. Соловьевым [36]:

1 О свѣтло свѣтлая | и украсно украшена |
1а земля Руская!
2 И многыми красотами | удивлена еси,
3 Озеры многыми | удивлена еси,
4 Рѣкамп и кладязьми | мѣсточестьными,
5 Горами крутыми, | холмы высокыми

[30] Там же, стр. 1—2.
[31] Там же, стр. 31.
[32] Эта часть текста печатается согласно Синодальному списку (Н. Н. Розов, Синодальный список сочинений Илариона — русского писателя XI в., «Slavia», XXXII, 2, 1963, стр. 169).
[33] П. Слијепчевић, Прилози народној метрици, «Годишњак Скопског филозофског факултета», I, 1930; R. Jakobson, Studies in «comparative Slavic metrics, «Oxford Slavonic papers», III, 1952; его же, Selected writings, IV, 1966.
[34] К. Тарановский, указ. соч., стр. 6.
[35] Там же, стр. 11.
[36] А. В. Соловьев, Заметки к «Слову о погибели Рускыя земли», «Труды Отдела древнерусской литературы», XV, 1958, стр. 88.

6 Дубровами частыми, | польми дивными,
7 Звѣрьми разноличными, | птицами бещисленными,
8 Городы великыми, | селы дивными,
9 Винограды обительными, | домы церковными,
10 И князьми грозными, | бояры честными,
10а вельможами многами и т. п.

«„Слово о погибели русской земли", — заключает К. Тарановский, — произведение риторическое, но не церковного, а светского типа. И поэтому его автор обратился к риторическим жанрам русского фольклора и проникся их ритмикой и образностью. Чтобы в этом убедиться, стоит только сравнить начало „Слова" со следующим местом свадебного приговора:

Ехать бы нам | путем дорогою,
Чистыми полями, | белыми снегами,
Крутыми горами, | быстрыми реками,
Черными грязями, | зелеными лугами, ||
шелковыми травами.

Общность ритмики и образности текста, созданного в тринадцатом веке, и текста, записанного в девятнадцатом, может свидетельствовать только об одном: об общем народном источнике обоих текстов, источнике, восходящем к глубочайшей древности»[37].

Итак, «Слово о погибели русской земли» XIII в. представляет с лингвистической и поэтической точки зрения самобытное гибридное произведение — народно-русское и вместе с тем церковнославянское. Оно наглядно показывает, какой сложный и глубокий процесс синтезирования народных восточнославянских и книжных церковнославянских элементов протекал в русском литературном языке с самых первых веков его развития. Вместе с тем по этим иллюстрациям можно судить, какие борозды литературности и стихотворной поэтичности прорезывали в разных направлениях систему древнерусского литературного языка, содействуя формированию и выделению из общей сферы литературно-письменной речи языка в собственном смысле литературного славянорусского.

Особенно важное значение в решении и постановке вопросов, касающихся формирования и развития древнерусского литературного языка, имеет «Моление Даниила Заточника». Недаром С.П. Обнорский включил его в число важнейших памятников древнерусского народно-литературного языка. Анализ К. Тарановского вносит новые черты в понимание этого произведения и его места в развитии древнерусской литературы и древнерусского литературного языка. К. Тарановский пишет: «„Моление Даниила Заточника" — произведение ритмизированное. Его текст, в общем, распадается на сопоставимые между собою интонационно-синтаксические отрезки, которые назовем строками. „Моление" — произведение риторическое, с установкой на адресата»[38]. «Моление» объединяет стиль и образы церковнославянского языка и языка народного русского.

В страстных «молитвенных обращениях» к князю автор «Моления» естественно прибегает к молитвословному стиху (т. е. к стиху церковнославянскому).

Тѣмь же вопию к тебѣ, одержимъ нищетою:
Помилуи мя, сыне великаго царя Владимера,
Да не восплачюся рыдая, аки Адамъ рая;
Пусти тучю на землю художества моего [39].

---

[37] К. Тарановский, указ. соч., стр. 13.
[38] Там же, стр. 14.
[39] Н. Н. Зарубин, Слово Даниила Заточника по редакциям XII и XIII вв. и их переделкам, Л., 1932, стр. 11.

Ср. также:

Княже мои, господине!
Яви ми зракъ лица своего,
Яко гласъ твои сладокъ, и образ твои красенъ;
Мед истачають устнѣ твои,
И посланіе твое аки раи с плодом.
Но егда веселишися многими брашны,
А мене помяни, сух хлѣбъ ядуща;
Или піеши сладкое питіе,
А мене помяни, теплу воду піюща от мѣста незавѣтрена;
Егда лежиши на мяккых постелях под собольими одѣяды,
А мене помяни, под единым платом лежаща и зимою умирающа,
И каплями дождевыми аки стрѣлами сердце пронизающе [40].

«Моление Даниила Заточника»—произведение не только риторическое, но и дидактическое. В своих поучительных сентенциях автор «Моления» прибегает к народному сказовому стиху гномического типа. Этот стих автор явно сознает как особую ритмическую систему и называет ее «мирскими притчами».

Глаголет бо ся в мирских притчах:
Ни птица во птицах сычь; | ни в звѣрех звѣрь еж; |
Ни рыба в рыбах ракъ; | ни скот в скотех коза;
Ни холоп в холопех, | хто у холопа работает;
Ни муж в мужехъ, | которыи жены слушает;
Ни жена в женах, | которая от мужа блядеть;
Ни работа в работех | Под женами повозничати [41]

Молитвословный и сказовый стих не противоречат друг другу. «Переход от одной ритмической структуры к другой фактически является переключением главного ритмического сигнала (сильного ударения) с начала строк на концы колонов и строк. В „серьезных местах", не окрашенных юмором, оба типа стиха могут свободно сочетаться» [42].

К. Тарановский приводит такой интересный пример комбинации двух ритмических структур в отрывке по Чудовскому списку:

Княже мои, господине!

Это типичная строка стиха молитьословного. За ней следуют четыре строки сказового стиха, с ясно выраженной звуковой фактурой, характерной для «заговоров и пословиц»:

Кому Переславль,| а мнѣ Гореславль;
Кому Боголюбиво,| а мне горе лютое;
Кому Белоозеро,| а мне чернѣе смолы;
Кому Лаче озеро,| а мне много плача исполнено... [43].

Последняя строка, отмеченная каденцией, как это часто бывает в молитвословном стихе, лишена четко выраженных ритмических сигналов («нулевой знак перед каденцией):

Зане часть моя не пропасте в нем [44].

«Молитвословный» и сказовый стихи в «Молении» могут не только сочетаться, но и противопоставляться друг другу. Такое противопоставление имеет место при резком переходе от одной тональности к другой, причем изменяется и ритмическая структура текста. К. Тарановский находит

[40] Там же, стр. 14—15.
[41] Там же, стр. 69.
[42] К. Тарановский, указ. соч., стр. 16.
[43] Н. Н. Зарубин, указ. соч., стр. 61.
[44] К. Тарановский, указ. соч., стр. 17.

яркий пример такого «переключения» в конце «Моления» по Чудовскому списку:

1 Может ли разумъ| глаголати сладка?
2 Сука не может| родити жеребяти;
3 Аще б(ы) родила,| кому на немъ ѣздит(и),
4 Ино ти есть| конья лодия,
5 И инъ ти есть| корабль,
6 А иное конь,| а иное лошед;
7 Ин ти есть умен| а инъ безуменъ.
8 Безумных бо | ни куют, ни льют
8а но сами ся ражаютъ.
9 Или речеши, княже:| солгалъ есми аки песъ,
10 То добра пса| князи и бояре любятъ.

Но далее на одиннадцатой строке автор заявляет о своем переходе от сказового стиха к стиху молитвословному, от «мирских притч» к церковно-торжественной поэзии:

Но уже оставимъ рѣчи и рцем сице.
12 Воскресни, боже, суди земли!
13 Силу нашему князю укрепи;
14 Ленивые утверди;
15 Вложи ярость страшливымъ в сердце.
16 Не дай же, господи, в полон земли нашеи
языкомъ, незнающим бога... [45].

Уже из этих иллюстраций ясно видно, какими острыми и сложными бывают в «Молении» сочетания, смены и противопоставления стилей церковнославянских и народно-поэтических, фольклорных.

И. Н. Жданов в заключение своей очень интересной статьи «Русская поэзия в домонгольскую эпоху», содержащей ценный материал для исследования взаимодействия церковнославянского литературного творчества с древнерусской народной поэзией, писал: «Наше обозрение указаний на древне-русские поэтические памятники было бы не полно, если бы мы не упомянули о притче. С этой формой народно-поэтического слова мы нередко встречаемся в памятниках древнерусской письменности. Самый обильный материал для изучения притчи находим в „Слове Даниила Заточника“» [46].

2

Вопросы слияния с церковнославянским древнерусским языком разновидностей восточнославяской народно-бытовой речи, фольклорных стилей и приказно-делового языка с XI до XIV в. требуют отдельного рассмотрения.

Приказно-деловой язык в силу характерной для него многообразной эволюции, направленной и в сторону живой народной, иногда диалектной и народно-поэтической речи, и в сторону разных церковно-книжных жанров древнерусской литературы, требует особого внимания и особого рассмотрения. «Самый процесс внедрения в литературу русского (народного — *В. В.*) языка в его разнообразных видах (просторечный, фольклорный, документальный, воинский и т. д.), формы борьбы и объединения его с выработанными нормами книжного церковно-славянского языка, причины преобладания то одной, то другой языковой стихии,— все это темы, подлежащие разработке»,— писала В. П. Адрианова-Перетц, определяя задачи исследований в области древнерусского языка и древнерусской литера-

[45] Н. Н. Зарубин, указ. соч., стр. 72—73.
[46] И. Н. Жданов, Сочинения, I, СПб., 1904, стр. 359.

туры. «В итоге должно быть представлено во всей полноте соотношение в литературном языке разных эпох обеих языковых стихий» [47].

Приемы и принципы взаимодействия и слияния восточнославянской — устной и письменной — бытовой речи с церковнославянским языком обнаруживались или в разных жанрах памятников русского церковнославянского литературного языка или в структуре разных частей его словаря. Так, И. П. Еремин в своем исследовании «Киевская летопись как памятник литературы» различает в составе этого произведения по стилю две жанровые части: погодные записи и рассказы — и повести. «Основное литературное качество погодного известия — документальность. Проявляется она вовсем: и в этом характерном отсутствии „автора", и в деловой протокольности изложения, и в строгой фактографичности» [48]. «Летописный рассказ в неменьшей степени документален, чем погодная запись». Он не претендует на литературность и преследует цели простой информации. Сказовые интонации «производят впечатление устного рассказа, только слегка окниженного в процессе записи». Например: *загорожено бо бяше тогда столпием, бе же тогда ночь темна, изблудиша всю ночь* и т. п. «Некоторые рассказы, в особенности же рассказы об Изяславе Мстиславиче, производят впечатление делового отчета, военного донесения» [49]. И тут преобладает живая восточнославянская речь.

Выразительны частые речи действующих лиц. Многие речи живо воспроизводят обычную восточнославянскую княжеско-дружинную фразеологию, например: *поиди, княже, к нам, хочем тебе; не лежи, княже, Глеб ти пришел на тя вборзе; не твое веремя, поеди прочь; мне отчина Киев, а не тобе* и др. под. Хотя речи действующих лиц носят явные следы некотомой литературной обработки, все же словарь летописи насыщен терминари быта, живыми отголосками разговорной речи XII в., например: *товар ублюдоша, полезоша на кони, присунушася к Баручю, ополонишася дружина, нетверд ему бе брод* и т. п.

В то же время в литературной повести много традиционных церковнославянских формул, литературных штампов. Здесь явственно проступают элементы агиографической стилизации, основные черты церковнославянского языка. Очень показательны эпитеты, которыми как ореолом окружено имя князя: *христолюбивый, нищелюбец, избранник божий, благоверный, в истину божий угодник, страха божия наполнен* и т. п. Цветистая риторическая фразеология, торжественные церковнославянизмы, книжнославянские формулы типичны для стиля повестей: *не помрачи ума своего пьянством, ризою мя честною защити, призри на немощь мою, о законопреступници, врази, всея правды Христовы отметници* и др. под.

Глубокое и тесное сплетение восточнославянизмов и древнеславянизмов характерно и для тех памятников древнейшей русской письменности, которые выдвигались С. П. Обнорским и его приверженцами в защиту единой восточнославянской народно-разговорной базы древнерусского литературного языка. Так, фразеология «Поучения» Владимира Мономаха нередко носит явный отпечаток византийско-болгарского языкового влияния. Например: *и слезы испустите о грѣсѣхъ своихъ* (ср.: *капля испусти слезъ своихъ*); ср. в «Житии Феодосия»: *плачь и сльзы изъочью испоущаахоу*; в Ипатьевской летописи: *слезы испущая отъ зѣницю*; в Лаврентьевской летописи: *жалостныя и радостныя слезы испущающе*; в Новгородской I летописи:

---

[47] В. П. Адрианова-Перетц, Основные задачи изучения древнерусской литературы в исследованиях 1917—1947 гг., «Труды Отдела древнерусской литературы», VI, 1948, стр. 12.

[48] «Труды Отдела древнерусской литературы», VII, 1949, стр. 69.

[49] Там же, стр. 72—73.

владыка Симеонъ... испусти слезы из очію и мн. др.; ср. греч. у Златоуста: πηγὰς ἠφίει δακρύων у Симеона Метафраста [50]; *пакости деяти* (ср. Матф. 26, 67: *и пакости ему дѣяша*) и др.; в письме к Олегу: *многострастный* (ср. греч. πολύτλας), ср. в Новгородских минеях XI в. [51] и др.; *възложивѣ на бога*; в Новгородских минеях XI в: на тѧ бо ѥдиноу *надеждоу въскладаѥмъ* (ср. греч. σοὶ γὰρ μόνῃ τὰ τῆς ἐλπίδος ἀνατίθημι) и др. под.

Историками древнерусской литературы все сильнее подчеркивается огромное организующее значение фольклора и его стилистики в развитии древнерусской литературы и древнерусского литературного языка. «При использовании в литературе живого русского языка создавалось иногда разительное сходство между литературным и фольклорным применением одних и тех же, свойственных языку в целом, выражений» [52]. Крепкая связь древнерусского литературного языка XI—XIV вв. с живой устной восточнославянской стихией коренилась в самом характере ранней древнерусской художественной литературы, в многообразии ее жанров.

Бросается в глаза общность между «Девгениевым деянием» и другими древнерусскими памятниками XII—XIII вв. не только в способе построения изобразительных сравнений, близких к стилю народной поэзии (при помощи *яко*), но «и в самом подборе материала для сравнения: это — преимущественно область мира животных (сокол, волк, лев, пардус, тур, орел и т. п.), явлений природы (дождь, снег)... Видимо, этот круг предметов сравнения был в значительной мере ходячим, общепринятым в той среде, которая дала нам и перевод „Д/евгениева/ д/еяния/" и Иосифа Флавия», „Сл. о п. И.", и нашу южную летопись XII—XIII вв.» [53].

См. сравнения в «Девгениевом деянии»: *яко сокол дюжій*; *яко скоры соколъ*; *яко орелъ*; *яко добрый жнецъ траву сѣчетъ*; *яко заица в тенета яти* и др. Ср. в «Истории» Иосифа Флавия: *вьюще акы вълци радощами*[54]. Ср. в Галицко-Волынской летописи (изд. 1871 г.): *устремил бо ся* (князь Роман) *бяше на поганыя, яко и левъ*; *сердитъ же бысть, яко и рысь, и губяше, яко и коркодилъ, и прехожаше землю ихъ, яко и орелъ, храбръ бо бѣ, яко и туръ.*

Однородный словарный и фразеологический материал используется в стиле «Девгениева деяния», «Истории» Иосифа Флавия: *борзо, в борзѣ, бръзость*; *главу свою* (или *главы своя*) *положити*; *голка*; *горазд*; *дружина*; *думу думати*; *играти оружием* (*мечем, копьем*); *исполчитися*; *иноходный*; *кликнути*; *кожух*; *конюх*; *кормилица*; *кудрявый*; *лов, ловы*; *милый, нарядити*; *паволока*; *погнати*; *поскочити*; *похупатися, хупатися*; *приспѣти*; *прост*; *пустити* «послать»; *рудный* «окровавленный»; *рыкати*; *свадьба, сват*; *стрый*; *сумежие*; *шатер*; *шелом*; *шурин* и т. п.

Точно так же эпитеты народно-поэтического стиля роднят Галицко-Волынскую летопись, «Историю» Иосифа Флавия и «Девгениево деяние». В «Девгениеве деянии»: (*звѣрь*) *лютый*, (*сокол*) *дюжий, скоры*, (*злато*) *сухое*, (*струны*) *златыя* и др. Ср. у Флавия: *от лютаго сего звѣри, двери... соуха, злата, фиалы всѣ соухымъ златомъ строена* и др. В Галицко-Волынской летописи: *конь свой борзый сивый, острый мечю, борзый коню, како милаго сына* [55].

---

[50] И. М. Иваким, Князь Владимир Мономах и его поученне, ч. 1, М., 1901, стр. 112.

[51] Там же, стр. 286, 290.

[52] В. П. Адрианова-Перетц, Древнерусская литература и фольклор, стр. 12.

[53] М. Н. Сперанский, Девгениево деяние, Пг., 1922, стр. 61.

[54] См.: Н. А. Мещерский, История Иудейской войны Иосифа Флавия в древнерусском переводе, М. —Л., 1958, стр. 72—132.

[55] Примерно взяты из работы М. Н. Сперанского о «Девгениевом деянии», стр. 61—76.

Близость к народно-поэтическому стилю сказывалась и в последующей судьбе рукописного текста «Девгениева деяния». М. Н. Сперанский пишет о том, что на своеобразный стиль старой воинской повести под пером позднейшего переделывателя, взглянувшего на повесть, как на близкое к сказочным и устнонародным произведение, налег слой переделок стиля, отчасти деталей в содержании, сближавший эту повесть с народно-устными произведениями.

Говоря о фольклорно-художественных элементах стиля в некоторых древнерусских литературных жанрах, нельзя отделять их от широкой струи живой восточнославянской речи. Выражения и образы обычного права, юридические формулы и термины, фразеологические обороты государственного делопроизводства, тесно связанные с традициями живой восточнославянской речи, не могли не приспособить церковнославянской системы литературного языка для своего закрепления. Они используются в литературных произведениях и подвергаются стилистической обработке.

А. С. Орлов отметил «отзвуки» народной песни и живого просторечия в языке и стиле воинских повестей эпохи позднего феодализма. В русской исторической беллетристике XVI в., по словам А. С. Орлова, создавался «стиль, который объединил всю пестроту предшествующих приемов книжного повествования в однородную, цветистую одежду, достойную величавых идей третьего Рима и пышности всероссийского самодержавства... Сознание преимущества своей национальности заставляло книжников не так уже сторониться своей народной песни. И вот ее мотивы и образы вошли в этикетную речь XVI века» [56].

Например, в «Истории о Казанском царстве»: *поля и горы и подолия*; враги — *гости не милые*. Встречаются присловия и поговорки: Казань — *котел, златое дно*; *придавит аки мышей горностай*; *приест аки кур лисица* и др. Видны следы влияния былинного стиля и боевых повестей.

Эпитеты устной поэзии рассыпаны по всей «Истории»: поле там *чистое* (98, 32, 115); девицы — *красные* (77, 143), кони — *добрые* (180), *удачные* (40); теремы — *златоверхие* (168); светлицы — *высокие*. Еще ярче отголоски живого просторечия: *стар да мал* (40); *брань не худа* (117); *наехати далечь в поле* (37); *живут, в сумежницах по суседству* (151) и др. Правда, живым словам часто придана книжная окраска; например, *побегоша, не знающе, куды очи несут*.

Старинные выражения иногда искажаются: *лучше живота смерть вменяху* (155). Выделяются некоторые образы и выражения, напоминающие риторику Киевского периода: *И на костѣхъ вострубиша* (8); *Возмутишася нагаи, аки птичья стада* (25); *И много секъшеся казанцы, и многих вой руских убиша, и сами ту же умроша, храбрыя, похвално на земле своей* (160). По словам А. С. Орлова, «в языке также выразилась намеренная архаизация, при неумении справиться с требованиями старой грамматики» [57].

В середине XVII в. в традиционную книжную культуру речи врывается сильная и широкая струя живой устной речи и народно-поэтического творчества, двигающаяся из глубины стилей демократических слоев общества. Обнаруживается резкое смешение и столкновение разных стилей в кругу изысканного литературного выражения. Начинает коренным образом изменяться взгляд на состав литературного языка. Демократические круги общества несут в литературу свою живую речь, с ее диалектизмами, свою лексику, фразеологию, свои пословицы и поговорки. Так, старинные сборники устных пословиц (изданные П. К. Симони и обследованные В. П

[56] А. С. Орлов, О некоторых особенностях стиля великорусской исторической беллетристики XVI—XVII вв., ИОРЯС, 1908, XIII, кн. 4, 1909, стр. 346.

[57] Там же, стр. 361 и др.

Адриановой-Перетц) составляются в среде посадских, мелких служилых людей, городских ремесленников, в среде мелкой буржуазии, близкой к крестьянским массам. Ср., например, такие пословицы: *Кабалка лежит, а детинка бежит*; *голодный и патриарх хлеба украдет*; *казак донской, что карась озерской — икрян да сален* (характеристика донской «вольницы»); *поп пьяный книги продал, да карты купил*; *красная нужда — дворянская служба* (насмешка над привилегированным положением высших сословий); *не надейся попадья на попа, имей своего казака* и т. п. Лишь незначительная часть пословиц, включенных в сборники XVII — начала XVIII в., носит в своем языке следы церковно-книжного происхождения. Например: *Адам сотворен и ад обнажен*; *жена злонравна мужу погибель* и др. «Огромное же большинство пословиц, даже и выражающих общие моральные наблюдения, пользуются целиком живой разговорной речью, которая стирает всякие следы книжных источников, если таковые даже в прошлом и были» [58].

Таким образом, стилистика народной поэзии была крепкой опорой развития древнерусской литературно-художественной речи. Язык народной поэзии явился важным цементирующим элементом в системе развития литературного языка великорусской народности, а затем и нации.

В стиле народной поэзии представление об общерусской, языковой норме и тяготение к ней ярко обнаруживаются в такого рода «глоссических» сборотах:

Выедешь ты на шеломя на окатисто,
а по Русскому — на гору на высокую [59].

В значительной степени свободные от местной, областной исключительности, стили народной поэзии, выражая рост национального самосознания в XVI—XVII вв., ускорили процесс формирования русского национального литературного языка.

Специфические свойства художественной речи обнаруживаются в таких жанрах, как жития святых, путешествия («хождения») и т. д. и далеко не всегда в связи с фольклорными мотивами. Нельзя забывать и о стихотворениях на древнецерковнославянском языке.

Вообще же наука о развитии художественной речи и языка художественной литературы имеет свои задачи и свой круг понятий и категорий, отличных от тех, которыми оперирует история литературного языка и общенародной разговорной речи.

В литературе некоторых областных центров связь церковнославянского литературного языка с живой разговорной и письменно-деловой речью была особенно живой и непосредственной. Таков, например, был Новгород. И. И. Срезневский отметил более разговорную, народную окраску языка в новгородских летописях до XV в. («Очевидно, что летописец, не настроенный слогом книг, мог легче соблюдать в своем изложении простоту рассказа, не удаляясь от простого разговорного языка общества. Конечно, вследствие навыка описывать события должны были образоваться особенные условия летописного слога; но эти условия не могли мешать свободе употребления форм народного языка, а только сдерживали его в определенных границах» [60]) и сильную примесь в них областных севернорусизмов.

По наблюдению Б. М. Ляпунова, «новгородская летопись XIII—XIV вв. кишит полногласными формами» [61]. Д. С. Лихачев в работе «Новгород

[58] В. П. Адрианова-Перетц, К истории русской пословицы, «Сб. статей к сорокалетию ученой деятельности академика А. С. Орлова», Л., 1934.

[59] Песни, собранные П. В. Киреевским, вып. 3, М., 1861, стр. 46.

[60] И. И. Срезневский, Статьи о древних русских летописях, СПб., 1903, стр. 24—25.

[61] Б. М. Ляпунов, А. А. Кочубинский и его труды по славянской филологии. Критико-биографический очерк, Одесса, 1909, стр. 65.

Великий» писал: «На всем протяжении XIII—XIV вв. новгородскую летопись характеризуют крепкое бытовое просторечие и разговорные обороты языка, которые придают ей тот характер демократичности, которого мы не встречаем затем в московском летописании, ни перед тем — в южном...» [62].

Стилистические традиции, остро давшие себя знать в языке Новгородского летописания и связанном с ним методе художественного изображения, были распространены и на другие жанры новгородской литературы и письменности. Так, о языке и стиле «Жития Михаила Клопского» (XV в.) А. С. Орлов писал: «Это житие замечательно и как красочный отзвук исторической действительности и как художественный памятник живого языка, который своим строем напоминает лаконическую речь посадника Твердислава, как она передана Новгородской летописью XIII в.» [63].

В языке «Жития Михаила Клопского» отмечены разговорные выражения диалектного (новгородского и псковского) характера. Например: *жары* «поля под паром» (*Не пускай коней да и коров на жары*), *тоня* «рыбачья сеть», *сугнать* «догнать», *упруг* «сила» (*вода ударится с упругом*) и др. под. «Помимо слов диалектного характера, со всей очевидностью свидетельствующих о местном происхождении рассказов (и легенд, относящихся к жизни Михаила Клопского.— *В. В.*), об их устной основе, очень часто в житии употребляются слова и обороты, характерные именно для разговорной, устной речи: *сенцы* (сени), *содрать*, *влезши* (войдя),.. *назем* (навоз), *и с тех мест* (с той поры), *ширинка* и т. п.» (ср. поговорочные выражения: *хлеб, господа, да соль*; *то у вас не князь — грязь* и др. под.) [64].

3

История русского церковнославянского литературного языка не может быть оторвана от истории русской письменно-деловой речи. Состав и функциональные разновидности русской письменной речи в ходе истории подвергались значительным изменениям. Для эпохи, предшествовавшей образованию национального языка (особенно для истории русского языка XIII—XVI вв.), существенную роль играет проблема развития и взаимодействия диалектно-областных вариантов письменно-деловой речи. Изучение таких вариантов на широком фоне истории народных русских говоров поможет определить диалектно-областные вклады в развитие русского литературного языка.

Вопросу о роли письменно-деловой речи в развитии русского литературного языка древнейшего периода в последнее время придается большее значение. Колебания мнений касаются лишь вопросов о путях развития и взаимодействия этих двух сфер (двух основных видов или стилей древнерусского письменно-литературного языка)—по выражениям некоторых авторов еще с первой четверти XIX в. Но в понимании самой «деловой» речи у нас обнаруживается двойственность. С одной стороны, это язык грамот и граматиц, язык делопроизводства, законодательства и судопроизводства; с другой стороны, это язык публицистики, посольских донесений, хожений и т. п.

В силу традиционности многих жанров письменности одни и те же закостеневшие сочетания и формулы, фразеологические обороты передаются из столетия в столетие. Так, например, московские грамоты XIV—

[62] Д. С. Лихачев, Новгород Великий, Л., 1945, стр. 40.
[63] А. С. Орлов, Древняя русская литература XI—XVII вв., М.—Л., 1945, стр. 194.
[64] «Повести о житии Михаила Клопского». Подготовка текста и статья Л. А. Дмитриева, М. — Л., 1958, стр. 50—51.

XV вв. во многом продолжают традиции древнего Киева и Новгорода.

Языком обычного права был живой народный язык восточных славян. Он нашел свое отражение и выражение в древнейшем законодательном своде русского права, в «Русской правде» XI в. (списки этого памятника дошли до нас с XIII в.). Таким образом, распространение древнеславянского или церковнославянского языка в древней Руси почти не коснулось области законодательства и судопроизводства. Термины и формулы обычного права были перенесены на письмо в их прежнем «до-церковнославянском» виде и продолжали существовать и развиваться на этой базе и после крещения Руси. Язык «Русской правды», как показали исследования (А. А. Шахматов, Е. Ф. Карский, С. П. Обнорский), является чисто русским и, за исключением единичных выражений, совершенно свободным от церковнославянского влияния. Любопытно, что некоторые книги византийских законов были переведены на древнеславянский язык еще в IX в. и во многих списках были хорошо известны в древней Руси (например, «Закон судный людем», «Номоканон Иоанна Схоластика»). Однако влияние этих переводных памятников византийского законодательства не сказалось определенно ни в сфере древнерусского юридического языка, ни в сфере русской юридической мысли. Б. Г. Унбегаун, написавший очень интересное исследование о языке русского права [65], указал на то, что в «Русской Правде» нет церковнославянских слов, нет их и в судебниках 1497, 1555 и 1589 годов, как нет их и в Уложении 1649 года. Правда, некоторые термины — очень немногие — в силу теснейшей связи обозначаемых ими понятий с религиозными обрядами и христианскими обязанностями государства и граждан (например, *целовать крест*, *крестное целование*, *об искуплении пленных* и др.) были неизбежно церковнославянскими словами и выражениями. Но в технической части юридических статей пленные обозначены чисто русским словом *полоняники*. Церковнославянские термины (например, в Уложении: *небрежение*, *напрасно*, *человек бродящий*; в судебниках: *свидетель*, *грабитель* и т. п.) всегда составляли ничтожное исключение и не нарушали чисто русского характера юридического языка допетровской Руси. Особенно важно то, что применение русского языка не ограничилось областью права. «На нем писались и все документы, частные и общественные, имевшие какую-либо юридическую силу, т. е. все то, что вплоть до XVII века носило название „грамот“ — купчие, дарственные, меновые, рядные, вкладные и т. п. Княжеская и городская администрация,— продолжает Б. Г. Унбегаун,— пользовалась тем же языком для своих указов и распоряжений, а также и для дипломатических сношений. Таким образом, с самого начала язык права сделался в полном смысле этого слова государственным административным языком и остался им вплоть до XVIII в.» [66].

В концепции Б. Г. Унбегауна, касающейся языка русского права, новые соображения относятся к изображению процесса слияния русского административного языка с «церковнославянским» литературным языком. До сих пор реформа административного или приказно-делового языка или иначе говоря, включение его в строй и нормы русского национального литературного языка не подвергались специальному детальному историческому исследованию, тем более что многие филологи, например, Д. С. Лихачев, В. В. Данилов и некоторые другие, считали этот процесс очень сложным, изменчивым и длительным. В их представлении объем административного или приказно-делового языка в дрейней Руси иногда расширялся до пределов языка публицистики, или языка публицистического. Так,

[65] B. O. Unbegaun, Язык русского права, Selected papers on Russian and Slavonic philology, Oxford, 1969.

[66] Там же, стр. 313—314.

Д. С. Лихачев в работе «Повести русских послов как памятники литературы» писал: «Деловая письменность всегда в большей или меньшей степени вступала в контакт с литературой, пополняя ее жанры, освежая ее язык, вводя в нее новые темы, помогая сближению литературы и действительности. Особенно велико было значение деловой письменности для литературы в первые века развития литературы, в период перехода от условности церковных жанров к постепенному накапливанию элементов реалистичности. С самого начала развитие литературы совершалось в тесной близости к деловой письменности. Литературные и „деловые" жанры не были отделены друг от друга непроницаемой стеной». Правда, общее понимание деловой письменности не совпадает с понятием «административного языка» в том очень узком терминологическом смысле, который обычно придает ему проф. Б. Г. Унбегаун. «К „деловой" письменности,— утверждает Д. С. Лихачев,— частично относится летопись, особенно новгородская. Это были сочинения исторические, документы прошлого, иногда материал для решения генеалогических споров в княжеской среде и т. п. К „деловой" письменности относится „Поучение" Владимира Мономаха, развивающее форму „духовных грамот"-завещаний и самим Мономахом названное ,,грамотицей"... Практические, а отнюдь не литературные цели ставило себе и „Хожение за три моря" Афанасия Никитина» [67].

Б. Г. Унбегаун изображает переход административного языка с позиций «сосуществования» на роль «варианта единого национального языка» упрощенно, относя его к XVIII в. Он пишет об этом так: «Основой литературного языка остался церковнославянский язык, уже русифицировавшийся морфологически в XVII веке. В XVIII веке он до известной степени русифицировался и в своем словаре, впитав русские слова и выражения. Сосуществование двух письменных языков разного происхождения и с разными функциями прекратилось в XVIII веке, и русифицированный литературный церковнославянский язык был принят также и в администрации, законодательстве и судопроизводстве... Для языка литературы слияние означало сохранение старой церковнославянской традиции и обогащение словаря русскими элементами. Для языка права перемена была более радикальной: он должен был изменить самую свою сущность, т. е. превратиться из русского в русифицированный церковнославянский язык. Все же он смог многое сохранить из своей допетровской терминологии... (ср. *суд*, *судья*, *судебный*, *третейский суд*, *обвинить*, *оправдать*, *присудить*, *сыск*, *сыщик*, *тяжба*, ..*допрос*, *приговор*, *истец*, *ответчик*, *очная ставка* и мн. др.)» [68]. Остается непонятным, что Б. Г. Унбегаун понимает под «изменением самой своей сущности» языка, а следовательно, и под «превращением его из русского» в другой («в русифицированный литературный церковнославянский язык»). Из последующего изложения ясно, что весь этот процесс — исчезновения старорусского языка права сводится к изменениям в области правовой терминологии.

Большое количество древнерусских терминов вообще к тому времени вышли из употребления, например, *посул* «взятка», *душегубство* «убийство», *торговая казна* — «публичное битье кнутом» и т. п. «Многие термины были заменены церковнославянскими выражениями», например, *убойца*, *убойство — убийца*, *убийство*; *лихое дело*, *дурно—преступление*; *лихой человек — уголовный преступник*; *ябедник — клеветник*; *розыск — следствие*; *рухлядь — движимое имущество* и т. п.

---

[67] «Путешествия русских послов XVI—XVII вв. Статейные списки» Ми.—Л., 1954, стр. 319—320.

[68] В. О. Unbegaun, указ. соч., стр. 315.

«Язык права смог обогатиться таким существенным термином как *закон*»[69] (раньше закон божеский) и сложными с ним или производными от него: *законодатель*, *законоустройство*, *беззаконный*, *незаконный*. Возникли и такие термины, как *обвинительный*, *оправдательный*, *судимость*, *движимость*, *недвижимость*, *обязательство*, *собственность*, *разбирательство*, *злоупотребление* и т. п.

Много юридических терминов заимствовано из иностранных языков: *юрист*, *адвокат*, *прокурор*, *компетенция*, *инстанция*, *кодекс*, *протокол*, *контракт* и т. д.

Свою статью «Язык русского права» Б. Г. Унбегаун заключает такими выводами: «В результате своего своеобразного развития современная терминология русского права состоит из трех пластов: 1) во многом уцелевшей традиционной древнерусской терминологии; 2) церковнославянской терминологии, возникшей в XVIII и XIX веках, благодаря слиянию церковнославянского литературного языка с русским административным языком; и 3) иностранных терминов, заимствованных в XVIII —XX веках. Этапы создания этой сложной терминологии еще не изучены, как не изучен, по крайней мере, лингвистически, ни один из составляющих ее трех пластов» [70]. Однако ни процесс сосуществования и параллельного развития двух языков — народно-русского административно-правового и литературно-славянского на русской почве, ни их «слияние» в статье Б. Г. Унбегауна не исследуются; в ней даже не воспроизведена полностью история правовой терминологии.

В представлении же историков древнерусской литературы деловая речь в некоторых жанрах постепенно расширяет свои функции, «олитературивается», даже поэтизируется и тесно смыкается с литературным древнерусским языком.

«Тесные связи литературы с деловой письменностью отнюдь не уводили историко-литературный процесс вспять. Художественная литература постепенно отдаляется от деловой письменности». Но вместе с тем художественная литература «постоянно черпает новые формы, новые темы из письменности деловой. Однако процесс идет неравномерно. В периоды, когда литература особенно остро откликается на классовую и внутриклассовую борьбу своего времени, литература вновь и вновь обращается к деловой письменности, чтобы набираться новых тем, обновлять язык и сбрасывать выработавшиеся условности. Особенно велика роль деловой письменности в XVI и XVII вв. XVI век — как раз то время, когда в публицистике развиваются новые темы... Публицистика черпает отовсюду новые формы. Она вступает в тесные взаимоотношения с деловой письменностью. Отсюда необычайное разнообразие форм и жанров: челобитные, окружные и увещательные послания, повести и пространные исторические сочинения, частные письма и дипломатические послания» [71].

«В публицистике XVI в. иногда трудно решить — где кончается публицистика и начинается деловая письменность; трудно решить, что претворяется во что: в деловую ли письменность проникают элементы художественности или в художественной литературе используются привычные формы деловой письменности. Иван Пересветов пишет челобитные, но эти челобитные — отнюдь не произведения деловой письменности, и очень сомнительно, чтобы они предназначались только для приказного делопроизводства. Это литературно-публицистические произведения в самом подлинном смысле этого выражения. Замечателен также „Стоглав“. В „дея-

[69] См. там же, стр. 316.
[70] Там же, стр. 317—318.
[71] Д. С. Лихачев., Повести русских послов.., стр. 320.

ния" Стоглавого собора внесена сильная художественная струя. „Стоглав"— факт литературы в той же мере, как и факт деловой письменности. „Великие Четьи-Минеи" митрополита Макария называют „энциклопедией" всех читавшихся книг на Руси, но в эту энциклопедию вносится и деловая предназначенность и сильная художественная и публицистическая направленность. Между деловой письменностью и художественной литературой стоит „Домострой". Дипломатическая переписка Грозного склоняется то ближе к литературе, то к письменности чисто официальной. В литературу вносится язык деловой письменности, близкий живой, разговорной речи и далекий языку церковнославянскому. В XVII в. формы деловой письменности широко проникают в литературу демократических слоев посада. На основе пародирования этих форм возникает литература сатирическая: все эти „Калязинские челобитные", „Азбуки о голом и небогатом человеке", „Лечебники как лечить иноземцев", „Шемякин суд" и „Повесть о ерше", пародирующие московское судопроизводство, форму лечебников или форму учебных книг. Немало литературных произведений выходит из стен приказов— в первую очередь приказа Посольского, своеобразного литературного центра XVII в.» [72].

В таком широком понимании «деловая письменность» не соотносительна с понятием «официально-деловой речи» и даже вообще с термином «деловой язык». Язык таких произведений, как летопись (в том числе и новгородская), как «Хожение Афанасия Никитина» и т. п., не может отождествляться с языком канцелярий, с языком делопроизводства, и понятие «делового» к нему применимо лишь в очень условном смысле. Да и сам Д. С. Лихачев, подчеркивая близость деловой речи к языку художественной литературы или — наоборот — языка литературы к письменно-деловому и даже устно-деловому языку, полагает, что целый ряд жанров древнерусской деловой письменности глубоко внедряется в сферу литературы в собственном смысле этого слова уже при самом «возникновении» русской литературы.

Указания на роль деловой письменности в развитии языка древнерусской художественной литературы обычно не сопровождаются анализом состояния и путей развития самой письменно-деловой речи. В повествовательных, нравоучительных, исторических и публицистических памятниках, которые Д. С. Лихачев относит почему-то к «деловой письменности», и в грамотах — вкладных, купчих, дарственных, духовных и т. п., степень «литературности» и «нелитературности» языка бывает очень различна, иногда качественно несоотносительна.

По мнению В. М. Истрина, язык богословских, богослужебных и церковных памятников XI—XIII в. был стереотипным: чисто русскому элементу там почти не было места. Русизмы явственно выступали в памятниках, написанных на церковнославянском языке, лишь там, где приходилось касаться сфер общественной, бытовой, профессиональной, особенно военной.

Есть явные признаки того, что с XV, а особенно с XVI в. письменно-деловая речь, по крайней мере в некоторых своих жанрах и вариантах, тесно приближается к литературному церковнославянскому языку и врастает в его стилистику.

В публицистическую литературу XVI в. настойчиво проникают элементы стилистики деловой письменности. На использовании памятников деловой письменности в значительной степени было основано и официальное летописание [73]. Приемы делового письма, его типические обороты

---

[72] Там же, стр. 320, 321.

[73] См.: Д. С. Лихачев, Русские летописи и их культурно-историческое значение, М. — Л., 1947, стр. 370 и сл.

широко используются царем Иваном Грозным как писателем. Знание приказного делопроизводства, его стилистики позволило Грозному свободно и разнообразно применять, иногда даже с сатирической целью, речевые формы различных деловых документов [74].

В литературной обработке разных видов деловой речи важную роль в XVI и особенно в XVII в. сыграли служащие Посольского приказа. «Некоторые дипломатические грамоты XVI в. были уже сами по себе довольно „литературны", однако их назначение не выходило за границы чисто деловой письменности. Но наряду с ними в XVI в. появляются послания и челобитные, которые, помимо деловой цели, преследовали цель литературную. Таковыми являются челобитные Пересветова, в какой-то степени произведения Ермолая Еразма и особенно дипломатические послания Грозного» [75]. Сюда же примыкает и возникшая под несомненным влиянием стиля Ивана Грозного легендарная переписка Ивана IV с турецким султаном.

Отличие произведений XVII в., в частности «Повести о двух посольствах», в том, что форма деловых документов теряет в них всякий практический смысл, сохраняет значение только как литературный прием. Элемент деловой письменности в содержании произведения почти полностью вытесняется элементом литературным, художественным. Произведения XVI в., связанные с формой деловой письменности, как правило, писались авторами от своего имени. В XVII в. авторы подчас пишут от имени известных исторических лиц.

Интересные формы и приемы литературной обработки приказно-деловой речи, ее формул, конструкций деловых документов наблюдаются в стиле Азовских повестей XVI в. Любопытно, что послужившие для них материалом отписки донских казаков, а среди них — те, в которых говорится («доносится») о событиях, связанных с военными столкновениями с турками у донских казаков и с даурами — у сибирских, и сами, в свою очередь, нередко опирались на традиционную стилистику военных повестей древней Руси [76]. Литературность казачьих отписок дала основание авторам Азовских повестей использовать язык и стиль этих документов, а также характерную для них манеру изложения событий.

Для исторической стилистики деловой речи представляет большой интерес статья В. В. Данилова «Некоторые приемы художественной речи в грамотах и других документах Русского государства XVII в.». Здесь подчеркивается усиление литературного мастерства среди подьячих, «дьячков от письма книг» и земских писарей в XVI и особенно в XVII в., вызванное крупными культурно-общественными, социально-экономическими и государственными изменениями в истории русского народа. «Среда профессионалов „дьячьей избы"... впитывала в себя представителей различных социальных слоев и по необходимости должна была совершенствовать свое

[74] См., например: С. О. Шмидт, Заметки о языке посланий Ивана Грозного, «Труды Отдела древнерусской литературы», XIV.

[75] М. Д. Каган, Легендарная переписка Ивана IV с турецким султаном как литературный памятник первой четверти XVII в., «Труды Отдела древнерусской литературы», XIII, 1957, стр. 262.

[76] См.: А. Н. Робинсон, Из наблюдений над стилем поэтической повести об Азове, «Уч. зап. [МГУ]», 118. Труды кафедры русской литературы, кн. 2, 1946; его же, Жанр поэтической повести об Азове, «Труды Отдела древнерусской литературы», VII. Ср. также: А. С. Орлов, Особая повесть об Азове, М., 1907; его же, Древняя русская литература XI—XVII вв., М.—Л., 1945, стр. 330; Н. И. Сутт, Повести об Азове, «Уч. зап. [МГПИ]», Кафедра русской литературы, 2, 1939. Изучению языка, главным образом, лексики и фразеологии азовских повестей, посвящены работы: Дж. А. Гарибян, Лексика и фразеология Азовских повестей XVII века. Автореф. канд. диссерт., М., 1958; ее же, Из истории русской лексики, «Уч. зап. [Ереванского Гос. русского пед. ин-та им. А. А. Жданова]», VI, 1956; ее же, Несколько лексических уточнений, «Изв. АН Армянской ССР», № 11, 1956.

мастерство, как это свойственно всякой профессии, и из нее выходили настоящие писатели XVI столетия (историограф „Смутного времени", автор „Временника", дьяк Иван Тимофеев, а во второй половине того же века — Григорий Котошихин)» [77].

Таким образом, справедливо и исторически обоснованно отмечаются изменения в объеме функций и в стилистических качествах деловой речи с XVI—XVII вв.

В грамотах и других деловых документах XVII в. обнаруживаются своеобразные приемы художественно-литературной обработки языка. «К таким осознанным художественным формам в грамотах относится рифмованная речь в распространенном изложении, к которой любили прибегать авторы исторических повестей и мемуаров XVII в., вставляя ее в прозаический текст. Обыкновенно авторы грамот пользуются рифмой морфологической, чаще всего глагольной... благодаря одинаковым глагольным окончаниям создавалась рифмованная неметрическая речь. Грамоты пользуются ею не безразлично. Большею частью рифма появляется в грамотах в случаях, когда она становится средством эмоционального воздействия» [78]. Происходит насыщение языка грамот синонимическими словами и выражениями, которые, подкрепляя мысль, ведут к ее более красочному словесному оформлению. «Из грамот можно выбрать несколько десятков синонимов, имеющих целью усилить впечатление от сообщения, сделать более веским приказание, более строгим выговор, глубже разжалобить лицо, которому адресована челобитная».

Например: *Зело оскорбися и опечалися* (гр. 1567 г.); *скорбите и жалеете* (гр. 1613); *для смуты и шатости* (гр. 1614 г.); *бережно и усторожливо* (гр. 1625 г.); *в покое и в тишине* (гр. 1625 г.); *свободны и вольны, куда хотят* (гр. 1627 г.); *бедны и скудны* (гр. 1627 г.); *не боясь и не страшася никого ни в чем* (гр. 1635 г.); *стройно, смирно и немятежно, в покорении и в повиновении* (гр. 1640 г.) и др. под. [79].

Любопытно, что В. В. Данилов выдвигает такое требование: «Говоря о приемах художественной речи, которые можно рассматривать как формы сознательной профессионально-литературной обработки текста грамот, необходимо установить отличие их от тех художественных форм, встречающихся в грамотах, которые отражают художественную стихию народного языка...» [80].

Таким образом, с XV в., а особенно в XVI и XVII вв. все усиливаются процессы литературно-языковой обработки разных форм приказно-деловой речи, и деловая речь, по крайней мере в известной части своих жанров, уже выступает как один из важных и активных стилей литературного языка. Вместе с тем все возрастает роль этого делового стиля в языке художественной литературы. Кроме того, с расширением круга производств и ремесел, с развитием техники и культуры все расширяются функции деловой речи.

В XVI и особенно в XVII в. происходит литературное распространение, развитие и закрепление новых народных форм синтаксической связи (например, проникавших с конца XV в. из живой народной речи составных причинных союзов относительного типа вроде *потому что, оттого что* и др.— вместо *яко, зане* и др. под.).

В XVII в. наблюдается также перераспределение сфер употребления разных синтаксических конструкций в стилях литературного языка. Так,

---

[77] «Труды Отдела древнерусской литературы», XI, 1955, стр. 210.
[78] Там же, стр. 212.
[79] Там же, стр. 213—214.
[80] Там же, стр. 210—211.

в XVI в. условные предложения с союзом *аще* применялись в произведениях высокого слога (например, в Степенной книге, в словах митрополита Даниила и др. под.), а условные обороты с союзами *будет* и *коли* характеризовали письменность делового характера, юридические и хозяйственные документы. Предложения с союзом *если* в XVI в. наблюдаются лишь в языке отдельных сочинений, относившихся к историческому и публицистическому жанрам (например, в языке публицистических произведений И. Пересветова). В русском литературном языке XVII в., особенно в концу его, предложения с союзом *если* получают очень широкое распространение.

Никакой специализации в кругу переводческого дела не было. И приказные и духовные лица переводят все, что им велят. Но переводчики Посольского приказа пользуются преимущественно русским письменно-деловым стилем, монахи — славяно-русским. В зависимости от профессионально-речевых навыков переводчика сочинения, относящиеся к военному искусству, анатомии, географии, истории или другой области науки, техники или даже к разным жанрам художественной литературы, оказываются переложенными то на славяно-русский, церковнославянский язык, то на русский письменно-деловой стиль [81]. Сосредоточение переводческой деятельности в Москве содействовало унификации основных стилей переводной литературы.

Особенного внимания заслуживает процесс формирования в XV—XVI вв. норм московской государственно-деловой речи, в состав которой мощной стихией вошла и разговорная речь и традиция славяно-книжного языка. Интересны наблюдения и над поглощением местных слов «московизмами», т. е. будущими общерусизмами, и над принципами и мотивами московской канонизации областной лексики, за которой, таким образом, признавалось право на включение ее в общенациональную словарную сокровищницу.

Среди вопросов, связанных с изучением истории древнерусской письменно-деловой речи, особенно важны три: 1) вопрос о способах литературной обработки письменно-деловой речи и превращения ее в особую функционально-стилевую разновидность русского литературного языка (приблизительно с XV—XVI вв.); 2) вопрос о приемах и сферах употребления деловой речи в разных жанрах древнерусской литературы и 3) вопрос о диалектных различиях письменно-деловой речи в ее разных социальных культурно-государственных локальных функциях и профессиональных вариациях.

Проблема диалектной речи и ее роли в истории русского литературного языка была выдвинута с наибольшей силой И. И. Срезневским в «Мыслях об истории русского языка и других славянских языков». Позднее она оживленно обсуждалась и разрабатывалась в трудах П. А. Лавровского, А. И. Соболевского, А. А. Шахматова, Н. Н. Дурново и др.

А. И. Соболевский, а вслед за ним и В. М. Истрин [82], и Б. М. Ляпунов придавали очень мало значения диалектным расхождениям восточнославянской письменно-деловой речи в древнейшую эпоху. Специфика речи именно деловых памятников, грамот, актов и т. п. их почти не интересовала; исключением являются исследования А. А. Шахматова о новгородских и двинских грамотах, его анализ «формуляра», схемы построения грамот.

Замечания о диалектных расхождениях в древнерусской лексике, собранные в книге Ф. П. Филина «Очерк истории русского языка до XIV столетия», являются довольно случайными и неточными.

---

[81] См.: А. И. Соболевский, Переводная литература Московской Руси XIV—XVII вв., СПб., 1903, стр. 42—44.

[82] В. М. Истрин, Очерк истории древнерусской литературы, стр. 82.

Лексические различия между древнерусскими диалектами очень мало исследованы. И. Панькевич в своей рецензии на исследование Ф. П. Филина «Лексика русского литературного языка древнекиевской эпохи (по материалам летописей)» (Л., 1949) справедливо упрекал автора в том, что тот неправильно ограничивает территорию употребления многих диалектных слов и тем самым приходит к ложному выводу о «больших расхождениях племенных или территориальных диалектов древнерусского языка в эпоху родового строя и в эпоху Киевской Руси». «Выводы Ф. П. Филина о раздробленности восточно-славянской группы языков на большое число диалектов при недостаточном количестве приведенного им сравнительного материала оказываются недостаточно убедительными» [83].

В исследованиях по истории русского литературного языка очень мало работ, которые затрагивали бы и разъясняли проблему взаимодействия словаря литературного языка как Киевской, так и Московской Руси со словарями других областных древнерусских культурных центров. Соотношения северновеликорусской и южновеликорусской стихий в составе лексики государственно-деловой и разговорной речи допетровской Руси не раскрыты.

И все же вопрос о диалектных различиях письменно-деловой речи, особенно усилившихся в период феодальной раздробленности, необыкновенно важен как для характеристики внутреннего существа самой деловой речи, так и ее отношения к литературному языку.

Характерно, например, что даже в таком замечательном памятнике, как «Слово Даниила Заточника», обычно относимом к литературе Северо-Восточной Руси XIII в. (к северному Переяславлю), исследователи находили словарные черты, позволяющие искать родину его в пределах Южной Руси; например, ссылались на такие слова и выражения: *на бразнах жита* (ср. совр. укр. *борозна*); *крапли с небеси идуть* (ср. совр. укр. *крапля*); *лѣпше, лѣпши, лѣпшии* (ср. совр. укр. *ліпше, ліпши, ліпший*); *утинаютъ от вѣтвь* (ср. укр. *утинати, утнути, утяти*) и некот. др. [84].

Летописно-проложное «Житие Владимира», появившееся в северно-русской письменности XIV в., особенностями лексики резко отличается от языка ранних летописей киевского периода. Например, летописному *тети* соответствует в житии *бити*, летописному *рѣнь* — в житии *берегъ, гора* и т. п. [85].

В литературных памятниках, переписываемых в разных местностях, естественно, сталкивались самые разнообразные диалектизмы русской речи. Так, в «Речи тонкословия греческого» (т. е. в «греко-византийских разговорах») по спискам XV—XVI вв. заметны народные севернорусизмы: *моль* «мелкая рыба»; *ужина* «ужин»; *опашень* «род верхней одежды»; *вступки* «башмаки» [86] и т. п. Но тут же наблюдаются и отражения украинских народных говоров, говоров Галиции и вообще Западной Украины. Например: *кордованци* (ср. галицк. *кордован, кордованец* «сафьянный сапог»), *погавиця дорожня* («дороговизна»; ср. Гринченко, I, 426); ср. также *ковальня, ковачь, кокошь* [87] и др. под.

[83] «Slavia», XXV, 1, 1956, стр. 98.

[84] Д. И. Абрамович, Из наблюдений над текстом «Слова Даниила Заточника», «Сб. статей к сорокалетию ученой деятельности академика А. С. Орлова», стр. 140—141.

[85] Н. Серебрянский, Древнерусские княжеские жития, М., 1915, стр. 62. См. также: А. И. Соболевский, Год крещения Владимира Св., «Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца», Киев, 1888, отд. II, стр. 11.

[86] M. Vasmer, Ein russisch-byzantinisches Gesprächbuch. Beiträge zur Erforschung der älteren russischen Lexicographie, Leipzig, 1922.

[87] Г. Ильинский, [рец. на кн.] M. Vasmer, Ein russisch-byzantinisches Gesprächbuch, ИОЯРС, 1924, XXIX, 1925, стр. 395—396.

4

В истории древнерусского литературного языка XIV—XVI вв. наблюдаются свои закономерности.

Для характеристики взаимоотношений между церковнославянским языком и русской письменно-деловой и разговорно-бытовой речью очень ценны такие факты, как помещение в Новгородском словаре XIII в. (по списку Московской Синодальной кормчей 1282 г.) таких обозначенных, как «неразумные на разум» слов и выражений: *бисер* (*камень честьнъ*), *зело* (*вельми*), *исполинъ* (*сильный*), *рог* (*сила*), *хам* (*дързъ*) и т. п.; или в Новгородском словаре XV в. (по списку Новг. 1431 г.): *доблесть*, *душевный блуд* (*ересь и нечьстие*), *жупел* (*сѣра*), *качьство* (*естество, каковому есть*), *количьство* (*мера есть колика*), *кычение* (*высокоречие славы ради*), *свойство* (*кто имать что особно*), *смерчь* (*облакъ дъждевенъ*), *суетно*, *художьство* (*хитрость*) и др. под.

Общеизвестно, что в Северо-Восточной Руси продолжались южнорусские традиции развития книжно-славянского русского литературного языка. Так, они обнаруживаются в общности лексико-фразеологических формул северо-восточной агиографии с домонгольской (со второй половины XII в.— иногда до XVI в.), ср., например, указания В. О. Ключевского в его исследовании «Древнерусские жития святых» на то, что в «Житии Авраамия Смоленского» (XIII в.) отразился искусственный стиль киевской письменности, что в «Житии Александра Невского» заметно «литературное веяние старого киевского и волынского юга» и т. п. С. А. Бугославский в статье «Литературная традиция в северо-восточной русской агиографии» отмечает близость оборотов и форм севернорусских житий к стилистике «Сказания о Борисе и Глебе», «Слова о законе и благодати» митрополита Илариона и других памятников киевской литературы.

Южнославянские реформаторы церковнославянского языка в XIV — в начале XV в. готовы были признать конструктивной основой нового общеславянского церковно-книжного языка именно русскую церковнославянскую его редакцию. Так, Константин Костенческий в «Сказании о славянских письменах» выдвигает на первое место «тончаший и краснейший русский язык».

Показательно, что сделанные в период второго южнославянского влияния «в XIV—XV вв. переводы с греческого, безразлично кем бы они ни были сделаны и каков бы ни был их текст (наполнен болгаризмами или нет), обыкновенно называются в русских списках переводами на русский язык» [88] (например, повесть о Стефаните и Ихнилате переведена «з греческих книг на русский язык» и т. п.)

Термином «второе южнославянское влияние» устанавливается предел между двумя периодами в истории церковнославянского русского литературного языка: первый — с X по конец XIV в., второй — с конца XIV — начала XV в. по середину или конец XVI в. В эпоху второго южнославянского влияния церковнославянский язык подвергается сильным изменениям. В него проникают кальки с греческого, греческие слова, а иногда и построенные по типу греческой конструкции обороты. Приводились в движение и становились в новые соотношения и элементы старой системы церковнославянского языка.

Любопытно, что в так называемой Тучковской редакции «Жития Михаила Клопского» (1537 г.), связанной со стилистическими традициями второго южнославянского влияния, уже нет слов и словообразований русского

---

[88] А. И. Соболевский, Переводная литература Московской Руси..., стр. 36.

диалектного характера. Точно так же устранены отражения разговорной речи. Слова с экспрессией разговорности или с диалектной окраской заменяются книжными оборотами. *Сенцы* уступают место слову *преддверие*. Вместо слова *своитин* у Тучкова читаем: *Сей старець сродъствия съузом нам приплетается*. Фраза *пойде вода и ударится с упругом из земли* у Тучкова читается так: *изыде вода выспрь, яко трубою*. Вместо *тоня*, *налога*, *ширинка* употреблены слова *мрежа*, *нужа*, *убрус*. «Целый ряд слов и выражений, встречаемых в первоначальном тексте произведения и во второй редакции, Тучков опускает совершенно. Мы уже не встретим у него таких слов, как *молвит*, *жары*, *досягати*, *назем*, словосочетания *с тех мест* в значении «с той поры», и целого ряда других» [89].

Новый витийственный стиль «плетения словес» был основан на резком обострении внимания к звуковой, морфологической, народно-этимологической и семантической стороне церковнославянских слов и словосочетаний. Возрождались обветшалые славянизмы и создавались новые слова, производные и составные, нередко калькированные с греческого. Язык высокой литературы возводился в ранг священного, он становился абстрактно-риторическим, экспрессивно нормированным и описательно-перифрастическим. «Из высоких литературных произведений по возможности изгоняется бытовая, политическая, военная, экономическая терминология, названия должностей, конкретных явлений природы данной страны... и т. д.» [90]. Ср. вместо *посадник — вельможа некий*, *старейшина*, *властелин граду тому* и т. д. Избегаются слова «худые» и «грубые», «зазорные», «неухищренные», «неустроенные», «неудобренные» и т. п. Происходит сознательное отталкивание от соответственных слов и выражений. Вместе с тем внутри самого книжно-славянского типа речи разрабатывается тонкая и сложная синонимика славянских слов и оборотов, придающая стилю повышенную экспрессивность. Синонимы выстраиваются в цепи присоединений и перечислений. Парные сочетания синонимических выражений демонстрируют изобилие образов и риторической экспрессии. В том же плане развиваются повторы, усилительные сочетания однокоренных слов. Обостряется интерес к семантическим тонкостям речи, к афористичности и звуковой симметрии выражений. Возникает множество неологизмов, из которых некоторые недолго сохраняются в активной системе литературного словаря. Перечни синонимических или же относящихся к одной и той же семантической сфере слов и перифраз создают словесную «сытость» или полноту стиля (ср. в «Житии Стефана Пермского»: *кумиры глухии*, *болваны безгласныи*, *истуканы бессловесные* и т. п.).

Подбираются высокие составные эпитеты, тавтологичные или контрастные по отношению к определяемым словам. Эти эпитеты одновременно эмоциональны и религиозно или этически возвышенны (*радостнотворный плач*, *тленная слава* и т. п.).

Это широкое литературно-общественное (культурно-общественное) движение способствовало обогащению и стилистическому развитию церковнославянского литературного языка. «Новый стиль заставлял внимательно относиться к значению слов и к оттенкам этого значения, к эмоциональной стороне слова, к ритмике речи, к ее звучанию, обогащая язык неологизмами, новыми заимствованными словами, разнообразными прилагательными, дав обильное количество новых сочетаний слов, новых эпитетов, развив формы прямой речи, монологической и диалогической, расширив эмоциональную выразительность языка» [91].

---

[89] «Повести о житии Михаила Клопского», стр. 80.

[90] Д. С. Лихачев, Некоторые задачи изучения второго южно-славянского влияния в России, М., 1958, стр. 28.

[91] Там же, стр. 64.

В период второго южнославянского влияния возникает ряд теорий словесно-художественного творчества, направленных на подъем стилистической культуры древнерусского литературного языка. Одна из этих теорий, связанная с именем Епифания Премудрого, в которой говорилось о святости предмета изображения, о его неизреченности, недосягаемости, «побуждала писателя к тщательной работе над языком, к стилистическому новаторству, к словотворчеству». Обычное, обыденное слово бессильно воспеть деяния героя. Необходимы «витийства словесные». «Пышность» стиля «так же необходима для возвышенного сюжета, как необходим драгоценный оклад на особо чтимой иконе» [92]. В витийстве с его сложным и нечетким синтаксисом, в перифразах, в нагромождении однозначных или сходных по значению слов и тавтологических сочетаний, в составлении сложных многокоренных слов, в любви к неологизмам, в ритмической организации речи и т. д.— во всем этом нарушалась «двузначная» символика образа, на первый план выступали эмоциональные и вторичные значения [93]. На основе южнославянской манеры письма вырабатывалась «лингвистическая каноничность» литературного изложения [94]. Это был чрезвычайно важный этап в истории русского литературного языка. Без правильной оценки его становится непонятным то большое количество церковнославянских элементов, слов и оборотов, которые до сих пор существуют в русском литературном языке.

В период второго южнославянского влияния не только активизировалась и во многих отношениях претерпела изменения масса прежних, унаследованных от старославянского языка слов и выражений, но появилось много новых южнославянизмов. Под их влиянием укоренились новые методы книжного словообразования. А. И. Соболевский, А. А. Шахматов, а за ними В. А. Богородицкий и Л. Л. Васильев указывали, что во время второго южнославянского влияния происходила искусственная славянизация привычных слов.

А. И. Соболевский отметил следы церковно-книжного смещения ъ и ь, присущего памятникам XV—XVI вв., в словах *стогна* (до конца XIV в.— *стъгна*, *стегна*; ср. *стъзя*, *стезя*, *до-стигати* и т. п.); *зодчий* (старинное славянское *зьдчий*), *брение*, *бренный* (при старом — до конца XIV в.— *бърние*, *берние*, *бърньнъ* и т. п.) и некот. др.

Не подлежит сомнению, что именно в период второго южнославянского влияния возобладало начальное *ю-* над *у-* в таких словах, как *юноша*, *юность*, *юница*, *юдоль* (при *оудоль*), *юг*, *юродивый*, ср. *союз* [95] и т. п.

Ср., например, ряд слов, укрепившихся в русском литературном языке в эпоху второго южнославянского влияния: *имущ-ест-во*, *пре-имущ-ество*, *могущ-ество*; ср. *существо*.

В русском литературно-книжном языке XVI—XVII вв. некоторые разряды славянизмов носили на себе отпечаток торжественной, несколько старинной экспрессии. Азбуковники рассматривали их среди ученых и ма-

---

[92] О. Ф. Коновалова, К вопросу о литературной позиции писателя конца XVI в., «Труды Отдела древнерусской литературы», XIV, 1958, стр. 211, 206.

[93] См.: Д. С. Лихачев, Средневековый символизм в стилистических системах Древней Руси и пути его преодоления, сб. «Акад. В. В. Виноградову к его шестидесятилетию», М., 1956, стр. 170.

[94] См.: А. И. Яцимирский, Григорий Цамблак, Очерк его жизни, административной и книжной деятельности, СПб., 1904, стр. 388.

[95] Ср. замечания А. В. Михайлова о различии списков книги Бытия XIV—XVI вв. в этом отношении: А. В. Михайлов, Опыт изучения текста книги Бытия пророка Моисея в древнеславянском переводе, ч. 1, Варшава, 1912, стр. X.

лопонятных для широкого круга читателей иностранных слов. Таковы, например, были: *жупел*, *изваянный*, *истый* (*праведный*, *подлинен*), *ков* (*лесть*), *клеврет* (*сработник*), *кормило ветреное* (*парус*), *нарекание* (*роптание*) и т. п.[96].

М. Н. Сперанский отмечал активизацию специфических приемов словообразования и словосложения, развившихся у нас под вторым южнославянским влиянием, например, образования на *-ствие*, отвлеченные имена существительные сложного типа, новые формы словосложения и т. д.[97].

Вопрос о разных типах словосложения, распространившихся в древнерусском языке под влиянием старославянского языка, еще недостаточно исследован. В период второго южнославянского влияния процесс образования сложных слов в книжно-славянском древнерусском литературном языке активизируется, возникают и укрепляются новые виды словосложения[98]. По мнению И. И. Срезневского, в русском литературном языке XV—XVI вв. по южнославянским образцам «составлялись новые слова производные и сложные». Число этих слов увеличило с течением времени состав книжного языка на третью долю, если не более[99]. М. И. Сухомлинов указывал на рост отвлеченной лексики в русском литературном языке с XV в., т. е. в период второго южнославянского влияния. «Отвлеченность выражения рано проникает в язык и долго, весьма долго выражается в нем»[100]. Во многих разрядах слов устанавливаются новые формы соотношения лексических частей словосложения. На это обратил особенное внимание М. Н. Сперанский, а по отношению к стилю исторической беллетристики XVI в.— А. С. Орлов (ср. в «Повести о Динаре»: *женочревство* вместо *ласкание жен*; в «Повести об осаде Пскова»: *злоусердый*, *гордонапорная* и т. п.). Такие слова, как *лицемерный*, *лицемерие*, были уже в древнерусском языке непонятны широкому кругу читателей. Характерно в «Златоусте» (по рукописи XVI в.) такое объяснение, следующее за употреблением выражения *нелицемерная любовь*: «Сие же лицемѣрство нарицается иже богатых дѣя стыдятся, аще неправду дѣют, а сироты озлобляти»[101].

М. Н. Сперанский, отмечая распространение разных типов сложных слов под влиянием южнославянской литературной школы XIV—XV вв., так характеризовал язык «Повести о Динаре», относимой им к XV—XVI вв.: сложные слова встречаются «преимущественно для обозначения отвлеченных понятий, причем текст особенно любит при их образовании суффикс *ство* (реже — *ствіе*); таковы: *великозлобство*, *звѣрообразство*, *властодержьство*, *властодержавство* (в значении как правления, так и страны), *женочревство* (значение не ясно; в цитате из нашей Повести в Казанском летописце заменено: *ласкание жен*), *работство* (но и: *рабство*), рядом: *звѣрозлобіе*, *властодержательница* (ср. у Миклошича, 67-*властодръжатель*), *властодержец*, *властодержавец*»[102].

В языке «Истории о Казанском царстве» ярко выражено тяготение к книжно-риторическим украшениям в стиле Макарьевской эпохи. Употреб-

---

[96] Ср.: «Сказания русского народа, собранные И. П. Сахаровым», II, СПб., 1885.

[97] См.: М. Н. Сперанский, Из истории русско-славянских литературных связей, М., 1960.

[98] Ср.: В. И. Пономарев, К истории сложных слов в русском языке (Сложные существительные в «Лексиконе» Федора Поликарпова 1704 года), «Докл. и сообщ. [Ин-та языкознания АН СССР]», IV, 1953.

[99] И. И. Срезневский, Мысли об истории русского языка, стр. 78.

[100] М. И. Сухомлинов, Исследования по древней русской литературе, СПб, 1908, стр. 530.

[101] Там же, стр. 429.

[102] М. [Н.] Сперанский, Повесть о Динаре в русской письменности, ИОРЯС, XXXI, 1926, стр. 51.

ляются новые звучные книжные слова: *грямовоение*, *звяцание* и т. п. Образуются искусственные неологизмы по архаическим образцам: *от страха сильного грянутия* (152); *умысли убегжеством сохранити живот свой* (71); *изведоша его воины... на секательное место* (72) и др. под.

В русском литературном языке XVI в. в высокопарном стиле Макарьевской эпохи распространяется прием искусственного словосложения, нередко объединяющего синонимические основы. Например, в «Повести о прихождении короля Литовского Стефана Батория в лето 1577 на великий и славный град Псковъ»: *храбродобропобѣдный*, *мертвотрупоты*, *каменнодѣльный* «оградный»; ср. *доброуветливый*, *благоздравие* и т. п. [103].

Быть может, волной второго южнославянского влияния занесены в русский литературный язык такие слова, как *суевер*, *суеверие*, *суеверный* (ср. старославянизмы: *суеслов*, *суесловие*, *суемысл*, *суемудрый* и т. п. Срезневский, Материалы, III, 610 и Дополнения, 250—251; Востоков, Словарь ц.-слав. языка, II, 193); *хлебодар* (ср. Академический словарь 1847 г., IV, 403; в монастырях: «раздаватель печеного хлеба братии». Акты Юридич., 152: *При хлебодаре старца Галактиона* — Словарь Академии Российской, VI, 558; ср. у Державина в оде «На рождение царицы Гремиславы», I, 500, 14: «Ты сердцем — стольник, хлебодар»); *рукоплесканье* (ср. в древнерусском языке *плескати* и *плеснути руками*, но ср. отсутствие слова *рукоплесканье* в Лексиконе треязычном 1704 г.); *гостеприимство*, *вероломство*; *земнородный* (ср. Срезневский, Материалы, I, 975, Сборн. Кир. Белозер. XII в.); *подобострастный* (Срезневский, II, 1040, чин избр. по списку 1423 г.); *громогласный* (Срезневский, I, 597, Стихирарь, XVI в.); *любострастный*; *первоначальный* (Срезневский, II, 1764, поуч. митр. Фот. 1431 г.); *тлетворный* (Срезневский, III, 1078, Менандр XV в.) и др. под. В русском литературном языке XVII в. указаны новые виды словосложения, иногда тройственного (в языке Епифания Славинецкого, Кариона Истомина, Федора Поликарпова и др.) [104].

До сих пор еще не произведено сопоставления русских сложных слов с южнославянскими, примеры которых приводились исследователями среднеболгарской литературы и языка XIV—XV вв. (например, П. А. Сырку [105], А. И. Яцимирским, М. Н. Сперанским и др.).

Очень трудно, почти невозможно пока определить даже приблизительно лексический фонд, которым обогатился русский литературный язык в период второго южнославянского влияния. Размеры пришлой с славянского юга литературной продукции были настолько велики, что исследователи второго южнославянского влияния (например, А. И. Соболевский) считают возможным говорить о расширении состава письменности почти вдвое.

5

Русский литературный язык донациональной эпохи в двух своих видах, а затем и в трех стилях был подчинен разным нормам. Степень обязательности этих норм была различна. Она была сильнее и крепче в славянизированном типе языка и его стилевых оттенках или разновидностях. Но изменения ее здесь были более медленными, хотя иногда и более многообраз-

---

[103] А. С. Орлов, О некоторых особенностях стиля великорусской исторической беллетристики XVI—XVII вв., ИОРЯС, XIII, кн. 4, 1908, стр. 362—363.

[104] См.: С. Н. Браиловский, Один из пестрых XVII столетия, СПб., 1902; его же, Федор Поликарпович Поликарпов-Орлов, ЖМНП, 1894, октябрь, ноябрь.

[105] П. А. Сырку, Евфимия патриарха Терновского служба преподобной царице Феофане, СПб., 1900.

ными. Вызывались они не только внутренними тенденциями развития этих видов литературной речи, но и влиянием народного языка, его диалектов и его стилей. Нормализация же простой речи была гораздо более тесно связана с процессами формирования произносительных и грамматических, а отчасти и лексико-фразеологических норм общенародного разговорного русского языка. Здесь колебания норм до образования национального языка были особенно широкими и вольными.

Одной из важнейших задач истории русского литературного языка, который даже в своей народной основе — явление не столько историко-диалектологическое, сколько культурно-историческое, должно стать всестороннее изучение того процесса, в результате которого развитие и взаимодействие двух видов древнерусского литературного языка — книжно-славянского и народного олитературенного, обработанного — привело к образованию трех стилей с единым структурно-грамматическим и словарным ядром, но с широкими расходящимися кругами синонимических и иных соответствий между ними — звуковых, грамматических и лексико-фразеологических.

В русских риториках начала XVII в. уже намечаются функциональные разновидности литературной речи, «роды речей» (например, научающий, судебный, рассуждающий и показующий). Описываются отличия риторической украшенной речи от речи простой, естественной, деловой. В связи с этим риторика противопоставляется диалектике. «Диалектика простые дела показует, сиречь голые. Риторика же к тем делам придает и прибавляет силы словесные, кабы что ризу честну или некую одежю» [106].

Глава «О тайных родах глаголания» в Риторике 1620 г. свидетельствует о том, что в русском литературном языке второй половины XVI — начала XVII в. уже обозначались общие контуры системы трех стилей, трех «родов глаголания». В 1706 г. Феофан Прокопович включил эту главу в расширенном виде в свою риторику. Ломоносов на основе этих материалов разработал свое известное учение о трех «штилях» [107].

В этой Риторике 1620 г. уже явственно выступает учение о трех стилях языка. Риторика заканчивается главой «О тройных родах глаголания». В ней перечисляются три рода: смиренный, высокий и мерный. Смиренный род соответствует простому слогу, или «низкому штилю» в системе стилей русского литературного языка XVIII в. «Смиренный род» — это речь, которою пользуется народ в повседневной жизни. «Род смиренный есть,— пишет автор риторики,— который не восстает над обычаем повседневного глаголания» [108]. «Род высокий»— это система искусственной, украшенной речи, далекой от обиходного языка. «Род высокий есть,— учит Риторика,— который хотя большею частию содержится свойственным гласом, и потом паки еще часты имеет метафоры и от дальных вещей приятых, достаточну размножает. И придав всяких видов, что от разума своего объявляет и показует украшение глагола». К мерному роду относятся обработанные формы письменной речи, послания, грамоты и публицистические произведения: «...таков есть Овидиуш и письма, грамоты и глаголы Кикероновы» [109]. Любопытно, что в компилятивной обработке старых риторик в конце XVII в. выделяется также три рода речей — смиренный, средний и высокий.

Московское государство, естественно, должно было насаждать в присоединенных областях свои нормы общегосударственного письменного языка, языка правительственных учреждений московской администрации,

[106] Д. С. Бабкин, Русская риторика начала XVII в., «Труды Отдела древнерусской литературы», VIII, 1951, стр. 333.
[107] Там же, стр. 353.
[108] Там же, стр. 348.
[109] Д. С. Бабкин, указ. соч., стр. 348.

бытового общения и официальных отношений. Феодально-областные диалектизмы не могли быть сразу нейтрализованы московской приказной речью. В 1675 г. (от 25 марта) был даже издан указ, которым предписывалось: «будет кто в челобитье своем напишет в чьем имени или в прозвище не зная правописания вместо *о а*, или вместо *а*, *о*, или вместо ъ, ъ или вместо *ѣ* — *е*, или вместо *и i*, или вместо *о у*, или вместо *у о*, и иные в письмах наречения подобные тем, по природе тех городов, где кто родился и по обыклостям своим говорить и писать извык, того в безчестье не ставить и судов в том не давать и не разыскивать» [110].

К исходу XVI — к середине XVII в. общенародный разговорный и письменно-деловой язык, оформившийся на базе средневеликорусских говоров с руководящей ролью говора Москвы, приобретает качества общерусской языковой нормы. Это — яркое свидетельство начальных процессов образования общенационального разговорного языка.

В тесной связи с вопросами о народно-областных, фольклорных и народно-поэтических элементах в составе русского литературного языка находится и вопрос об общерусском разговорном народном словесном фонде. Само собой разумеется, что грани между областным, диалектным и «общим» в кругу лексики являются подвижными. Многое из того, что было свойственно лишь местным письменным диалектам — позднее получило общенациональное признание, стало общерусским. С другой стороны, трудно сомневаться в том, что некоторые слова и выражения, некогда бытовавшие в литературной речи и, следовательно, претендовавшие на народную всеобщность, оказались за пределами общерусского языка и стали областными, местными идиоматизмами. Некоторые из них позднее вновь включены были в систему общерусского языка (например, такие слова, как *смерч*, *притулиться*, *тризна* и мн. др.).

---

[110] «Полное собрание Законов Российских», I, 1830, № 597, стр. 960.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 6 1969

ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

Р. М. ЦЕЙТЛИН

О ЛЕКСИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЯХ ЯЗЫКА СТАРОСЛАВЯНСКИХ ПАМЯТНИКОВ

Предлагаемые заметки посвящены изложению предварительных результатов анализа некоторых лексических особенностей языка старославянских памятников. Понятие старославянского языка мы предельно ограничиваем. Это необходимо и по принципиальным соображениям и по задачам исследования. Старославянским мы называем литературно-письменный язык, которым владели книжники культурных центров Юго-Западной и Восточной Болгарии конца X—XI в. и на котором написаны древнеболгарские рукописи этого времени. Нам известно пятнадцать таких рукописей (в скобках приведены принятые в статье их сокращенные обозначения): Зографское евангелие (Зогр), Мариинское евангелие (Мар), Ассеманиево евангелие (Ас), Саввина книга (Сав), Охридские глаголические листки (Охр), Листки Ундольского (Унд), Синайская псалтырь (Син), Синайский евхологий (Евх), Синайский служебник (Служ), Клоцов сборник (Клоц), Рыльские листки (Рыл), Супрасльская рукопись (Супр), Хиландарские листки (Хил), Зографские листки (Зогр л. л.), Енинский апостол (Ен) [1].

Мы не занимаемся, таким образом, исследованием так называемого классического старославянского языка, т. е. языка конца IX — начала X в., на котором писали и создали первые славянские книги Кирилл и Мефодий и их непосредственные ученики (те славянские книги, которые не дошли до нас). Предметом нашего изучения не являются и древнеболгарские граффити X—XI вв., так как они более связаны с историей живого болгарского языка, нежели с историей СЯ как первого литературно-письменного (культурного) языка всех славянских народов. Мы не занимаемся также исследованием сохранившихся памятников этого и более позднего времени других, т. е. неболгарских, славянских редакций. Их мы называем церковнославянскими. К последним относятся, например, моравские Киевские листки, словенские Фрейзингенские отрывки, древнерусское Остромирово евангелие [2]. Это ограничение объекта анализа не означает, разумеется, что данные указанных и более поздних церковнославянских рукописей не должны учитываться при исследовании СЯ.

[1] В работе, помимо указанных, также приняты сокращения: СЯ — старославянский язык, СП — старославянский памятник (или памятники), ЦП — церковнославянский памятник (или памятники); для евангелий: Остр — Остромирово, Вук — Вуканово. В круглых скобках после старославянского слова указываются или памятники, в которых оно употребляется, или количество случаев его употребления, или и те и другие данные одновременно.

[2] Подробнее о терминах «старославянский язык» и соответственно «памятник старославянского языка» см.: Р. М. Цейтлин, О принципах составления Словаря старославянского языка, ВСЯ, 6, М., 1962, стр. 113—120.

Они используются в работе, но в качестве косвенных источников. Их назначение — подтвердить то, что имеется и наблюдено в самих СП.

Обычно словарный состав СП не изучается как отражение определенной языковой системы, т. е. литературно-письменного языка конца X—XI в. Лексика этих рукописей преимущественно исследовалась или с целью воссоздать тексты первых славянских переводов евангельских текстов, которые непосредственно в памятниках не сохранились (ср. многочисленные работы по реконструкции языка первых переводов евангелия на славянский язык) или для интерпретации изолированных фактов в истории отдельных славянских языков, преимущественно литературных. Между тем и для решения этих задач необходимо прежде всего синхронное и системное изучение лексики СЯ, ее парадигматики и синтагматики.

Объектом нашего исследования является лексика языка, на котором написаны древнеболгарские рукописи. Эти рукописи являются единственным непосредственным источником наших знаний о СЯ. Принципиально важно иметь в виду, что нельзя ставить знак равенства между понятиями «старославянский язык» и «язык старославянских памятников», хотя первое понятие включает в себя полностью второе. Это особенно существенно, когда исследуется лексика. Словарь СП ограничен экстралингвистически — до нас дошли далеко не все рукописи, написанные на СЯ. При этом более всего страдают наши знания в области лексикологии СЯ. Общеизвестно, что возможности построения лексикологии древнего языка значительно отличаются от определения фонетической или морфологической систем этого языка. Только для установления словарного состава языка на данном хронологическом срезе, не говоря уже о семантической характеристике, требуется несравненно больший и разнообразный языковой материал, чем для определения фонетики или морфологии этого языка, так как лексика, в отличие от них, незамкнутая система, и это ее специфическая особенность.

Громадная часть не зафиксированных в текстах слов и часть незафиксированных значений известных по памятникам в других значениях слов имеет косвенные свидетельства своего существования в парадигматике и синтагматике той части лексики СЯ, которая вошла в сохранившиеся рукописи. Восстановление утраченного требует особой методики исследования. Прежде всего изучение лексики СЯ предполагает реальную характеристику словарного состава СП. Этому последнему вопросу и посвящена данная статья.

Заметим, что в СП отсутствуют многие слова, которые в лингвистических исследованиях фигурируют как старославянские. Например: *бѣгъ*, *дѣверь*, *говѧдо*, *крава*, *кора*, *коуи*, *кръмило*, *мравии*, *зълъва*, *свекрь*, *синии*, *чрѣзъ* и мн. и мн. др. (возможные многочисленные ссылки на соответствующую литературу опускаем). Многие из таких слов, вероятно, были в СЯ, и это можно в ряде случаев обосновать анализом парадигматики и синтагматики соответствующих слов в СП, но немало имеется и таких, доказать существование которых в СЯ, на наш взгляд, не представляется возможным, например, сло́ва *дѣверь*, хотя и известно, что оно общеславянское. А. Мейе был прав, когда говорил о диалектном характере лексики СЯ [3].

При всех пропусках внешнего происхождения лексика наших пятнадцати памятников достаточно разнообразна и богата средствами выражения, в них многообразно отражен бытовой, общественно-политический и философский словарь эпохи.

Словник СП содержит 9616 слов. Из них инославянских — 1778 (среди

[3] А. Мейе, Общеславянский язык, М., 1951, стр. 395.

них преобладают существительные, а затем притяжательные прилагательные); славянских — 7838, в том числе глаголов — 2879, существительных — 2674. Эти данные получены в результате подсчетов по Садн. [4] с учетом того нового, что дает в словарном отношении Ен, еще не включенный в число источников этого труда. Цифры эти не совсем точны. При подсчетах здесь и далее учитываются лексикографические единицы — словарные статьи, а не лексикологические — слова (в спор о том, что считать отдельным словом, мы в данном случае не включаемся). Лексикографические и лексикологические единицы очень часто совпадают, но имеется и немало расхождений в зависимости от типа словаря и поставленной в нем лексикографической задачи, в зависимости от подхода к слову. Отсюда неточности в наших подсчетах в плане лексикологии. Они сравнительно невелики, а потому не мешают составить необходимое представление о реальном словарном составе СП. Отметим, что при подсчетах вслед за Садн. (для упрощения самой техники подсчета) в качестве самостоятельных слов нами не учитываются наречия на *-о* и частично на *-ѣ*, многие омонимы, глаголы невозвратных значений на *сѧ*, если имеется и соответствующий глагол без *сѧ*, многочисленные лексические варианты слов (в Садн. они включены в словарные статьи других слов). При подсчетах слов не учтены и обнаруженные нами случайные пропуски из разных СП в этом словаре: **вѣтитель**, **любодѣиць**, **петръ** («скала»), **съваждати**, **съвитъчьнъ**, **сѣнь**, **сѫпостатьнъ**, **троудьникъ** и некоторые другие, так как выявление этих слов еще не закончено. Наоборот, в качестве самостоятельных слов учтен ряд причастий, поданный в Садн. как отдельные словарные статьи.

Для того чтобы показать, как условно словарь отражает число слов в отобранных текстах (и в языке!), приведем данные по другому словарю — Сл. СП. На букву С в Садн.—1023 словарных статьи, в Сл. СП—1286, так как здесь поданы как самостоятельные словарные статьи все наречия, а также в виде специальных ссылочных статей многочисленные ошибочные написания слова, разуры, орфографические варианты. Само собой разумеется, что количество реальных слов в СП меньше, чем словарных статей в Сл. СП, и больше, чем их в Садн., тем не менее и эти данные не лишены интереса при характеристике словарного состава СП.

Во всяком случае можно утверждать, что в СП зафиксировано немногим более 10 000 слов (условно можно говорить о 10 000 слов). Количество слов в СЯ было, несомненно, во много раз больше.

Сама по себе эта цифра — 10 000 слов — еще мало о чем говорит. Она требует дальнейших комментариев, так как слова, употребляющиеся в СП, обладают весьма различными парадигматическими и синтагматическими связями, различными особенностями распределения по памятникам.

Подавляющее большинство инославянских слов — имена собственные и географические названия. Немало в числе неславянских слов различных терминов, особенно церковно-культовых. Значительно меньше среди них неспециальных слов, при этом последние, как правило, употребляются наряду со своими славянскими синонимами.

---

[4] Кроме фактов, почерпнутых непосредственно из СП (в их последних изданиях), в статье используются материалы следующих словарей: L. Sadnik, R. Aitzetmüller, Handwörterbuch zu den altkirchenslavischen Texten, 's-Gravenhage, 1955 (в дальнейшем: Садн.); «Slovník jazyka staroslověnského», 1—18 (А — М), Praha, 1958—1968 (в дальнейшем: Сл. ЧСАН); часть рукописи однотомного «Словаря языка старославянских памятников» (буквы Р—ОУ), подготовленная к печати автором настоящей статьи (в дальнейшем: Сл. СП). Греческие соответствия даются по Сл. ЧСАН. Греческий текст евангелия и псалтыри приводится соответственно также по книгам: «Novum testamentum graece cum apparatu critico curavit D. Eberhard Nestle, novis curis elaboravit D. Erwin Nestle», Editio vicesima, Stuttgart, 1950; A. Rahlfs, Septuaginta, II, Stuttgart, 1952.

По этимологической части Садн. (ч. III, стр. 211—341) установлено, что в СП было 1180 разнокоренных слов с точки зрения этимологии славянского слова (инославянские слова сюда не включены). С точки зрения наличия непосредственных семантических связей слова в самом СЯ этих слов несколько больше — немногим более 1200. Так, в СЯ уже не были непосредственно связаны между собой такие слова, как **искнъ, изъискнити, оуискнити** и **искра**; **блюсти, съблюсти** и некот. др. и **оубоудити, възбоудити** и некот. др.; **богъ, божии** и др. и **небогъ, оубогъ** и др.; **брысало, оуброусъ** и **събрысати**, которые авторы Словаря, занятые этимологическим исследованием, объединяют в одном гнезде.

Нередко в СП один корень представлен только одним словом, простым или производным. Таких слов около 350, этимологически по Садн. их 322. К разряду таких слов относятся, например: **баба, бедра, бисьръ, брады, бразда, бръвь, брына, брьвьно, бръзда, брѫцаникъ, лакъть, ланита, лакти, льнѣнъ, огавикъ, орѫдикъ, разботѣти, рана, рано, расцѣпити, тетъка.**

Обычно в словнике СП один и тот же корень находим в двух — пяти словах. Например: **бѣлъ, бѣлити, бѣлоризьць, оубѣлити; брада, брадѣти; брѣгъ, брѣжьнъ; дѣдъ, прадѣдъ, прѣдѣдъ; дома, домащитьнъ, домашьнь, домовитъ, домъ; голъ, оголити; гръдость, гръдъ, гръдыни, гръжденикъ, разгръдѣти, въгръждѣникъ; зима, зимьнъ; медоточьнъ, медъ; мѣчьнъ, млѣко; небо, небесьнъ, небесьскъ, подънебесьнъ, подънебесьскъ; пьшеница, пьшеничьнъ, пьшеньнъ; рашырити, рашырѧти, широкь, широта, оушырити.**

Встречаются и большие гнезда однокоренных слов. Например, **бити** со своими однокоренными образует гнездо в 39 слов; **бѣгати** — 26; **бѣда** — 18; **вечеръ** — 10; **вѣра** — 30; **новъ** — 15; **противъ** — 15; **кисти** — 29.

При обращении к лексике древнего языка, представленного только памятниками письменности, важен уже самый репертуар слов — установление словника, т. е. какие именно слова были известны в этом языке, содержатся в его памятниках. Для дальнейшего углубленного лексикологического изучения не менее существенно знать, как представлено каждое из зафиксированных памятниками слов контекстами, т. е. громадное значение имеет выявление синтагматических связей слова, определение степени их разнохарактерности, учет всех типов семантических отношений между словами. Это особенно важно, когда речь идет о таком языке, как СЯ, так как в СП обычно на отдельное слово приходится немного контекстов. В основном мы имеем дело с малоупотребительными словами.

Так например, на букву **Р** в Сл. СП имеется 436 словарных статей. Из них 24 слова употребляется более 10 раз каждое: **работа** (12), **рабыни** (12), **равьнъ** (20), **радъ** (12), **разарити** (16), **развратити** (12), **раздроушити** (19), **разити (сѧ)** (16), **разлѫчити (сѧ)** (13), **разоумьнъ** (18), **раи** (20), **рано** (12), **раскаити (сѧ)** (12), **распонъ** (11), **распѧтикъ** (19), **расточити** (19), **растрьѕати (сѧ)** (16), **расхытити** (13), **ратьникъ** (11), **ремень** (13), **римьскъ** (12), **ровъ** (19), **рогъ** (18), **розга** (14).

11 слов более 20 раз каждое: **раба** (25), **раждещи** (25), **раздьрати (сѧ)** (22), **разлѫчити (сѧ)** (22), **разоумѣвати** (21), **распѧтикъ** (24), **рать** (29), **родьство** (23), **рожденикъ** (23), **ръпътати** (23) **рѧдъ** (23).

7 слов более 30 раз: **работати** (37), **различьнъ** (34), **расти (сѧ)** (34), **рачити** (34), **рождьство** (31), **рѣснота** (36), **рѣчь** (32).

4 слова более 40 раз: **равви** (42), **развѣ** (45), **раздрѣшити (сѧ)** (49), **ржати (сѧ)** (43).

10 слов более 50 раз: **разбоиникъ** (95), **разгнѣвати сѧ** (51), **раздѣлити (сѧ)** (64), **разорити (сѧ)** (77), **разоумъ** (63), **рана** (53), **ребро** (54), **родитель** (75), **рыба** (86), **рѣка** (90).

10 слов более 100 раз: **рабъ, ради, радовати сѧ, радость, разоумѣти, распѧти (сѧ), риза, родити (сѧ), родъ, ржка.**

Более 1000 раз употребляется одно слово— **рєшти** (около 3000 раз) [5].

Таким образом, из 436 слов более 10 раз и чаще употребляется 66 слов; 370 слов — менее 10 раз каждое, при этом более 100 из них — по одному разу (правда, в их число в Словарь включены ошибочные написания слова, разуры типа **рѣла см. стрѣла** и тому подобные статьи, которые к лексике прямого отношения не имеют).

Примерно четвертая часть всех слов СП принадлежит к категории так называемых hapax legomena [6] (т. е. слов, которые известны только по одному единственному контексту), что весьма ограничивает наши непосредственные сведения о слове, а потому вынуждает исследователя специально изучать hap. leg., искать методику полнейшего использования различных косвенных данных о слове, так как прямых в громадном количестве случаев оказывается недостаточно. Следует иметь в виду, что hap. leg. это достаточно характерные и показательные факты лексики СП. Здесь группируются малоупотребительные в СЯ слова и сравнительно немного окказиональных образований. Последнее легко подтверждается сравнением hap. leg. в СП с соответствующей лексикой в ЦП.

К hap. leg. в СП относятся например, слова: **Раавь** (Супр), **работаникѥ** (Супр), **работьникъ** (Евх), **рабьскыи** (Супр), **рабьскы** (Супр), **Равъ** (Син), **равьнодоушьнъ** (Син), **равьночьстьнъ** (Супр), **равьнокстьствьнъ** (Супр), **радостьно** (Евх), **ражданикѥ** (Супр), **раждизаникѥ** (Супр), **разбогатѣти** (Син), **разбоискыи** (Клоц), **разбоиство** (Клоц), **разболѣникѥ** (Супр), **разботѣти** (Син), **разварити** (Супр), **развлачити** (Евх).

Заметим, что hap. leg. преимущественно встречаются в неевангельских текстах, особенно в самой большой по объему рукописи Супр, хотя имеются hap. leg. и в евангелиях (например, 31 нарицательное старославянское слово употребляется только в Мар и только по одному разу). Это объясняется внешними причинами — текст евангелия представлен в СП шестью рукописями, поэтому редкие слова, которые отмечены только в текстах этого содержания, обычно встречаются не один раз, а два — четыре раза.

Несмотря на обилие в СП hap. leg. и малоупотребительных слов, если учитывать количество всех употреблений каждого слова и во всех памятниках, то получится несколько сот тысяч конкретных словоупотреблений [7].

Достаточно своеобразно распределяются слова СП по отдельным памятникам. Здесь играют роль самые различные обстоятельства: объем текста, тема повествования, место и время создания как протографа, так и славянского перевода, принадлежность к определенной литературной (культурной) школе.

Назовем количество слов в каждом СП (подсчеты производились по индексам к отдельным памятникам В. Ягича, С. Северьянова, К. Мейера, С. Слонского, В. Н. Щепкина, Г. А. Ильинского, С. М. Кульбакина, Е. Ф. Карского, И. Гошева, А. Вайана и П. Лаврова, К. Мирчева и Хр. Кодова, А. Достала; подсчеты слов в Ас и Зогр произведены нами по Садн.): Супр — 5285; Мар — 2874; Зогр — 2756; Евх—2705; Ас-2603; Син—2358;

---

[5] Подробнее см: Р. М. Цейтлин, Из опыта работы над Словарем старославянского языка, сб. «Славянская лексикография и лексикология, М., 1966, стр. 227 и сл.

[6] В дальнейшем: hap. leg.— hapax legomena и hapax legomenon.

[7] Некоторое представление о частотности могут дать подсчеты П. Гильтебрандта, хотя они и производились не на старославянском материале. Так, П. Гильтебрандт указывает, что в его словаре к псалтыри — 23 416 словоупотреблений (П. Гильтебрандт, Справочный и объяснительный словарь к псалтыри, СПб., 1898), в словаре к Новому завету — около 95 000 словоупотреблений (П. Гильтебрандт, Справочный и объяснительный словарь к Новому завету, 1—6, Пг., 1882—1885).

Сав — 2198; Клоц — 1346; Ен — 898; Рыл — 441; Хил — 254; Зогр л.л.— 242; Унд — 215; Охр — 194.

Нет ни одного СП, в котором бы употреблялись все известные нам старославянские слова, но нет рукописи (кроме самых маленьких по объему текстов, представляющих собой при этом евангелия,— Унд и Охр), в которой бы не было слов, только в ней употребляющихся. Такие слова в громадном количестве имеются в Супр. В Зогр, Мар и Ас их около пятидесяти в каждом памятнике. Они имеются и в Зогр л. л., и в Хил. и в Служ и во всех остальных текстах (кроме Унд и Охр).

Среди слов, которые встречаются во всех памятниках или в большинстве из них, много служебных слов и таких чрезвычайно употребительных в языке СП, как **богъ, вѣра, глаголати, отьць, сътворити, сынъ, хлѣбъ** и т. п.

Если взять отрывок из любого старославянского текста, то прежде всего бросается в глаза обилие в нем редких для СП слов. Например: **ѡзоба І (виноградъ.—*Р. Ц.*) вепрь отъ лѫга. І инокъ дивь [е] І поѣлъ естъ.** Пс 79, 14 Син. Слова **вепрь, инокъ, озобати и лѫгъ**, употребленные в данном стихе, известны в языке СП только по этому контексту. Слово **лѫгъ** «роща, лес» имеет синонимы в других памятниках—**лѣсъ** в Евх и Супр, **дрѧзга** в Супр, **дѫбрава** в Супр (и во многих других псалмах Син), но в остальных старославянских рукописях слова с этим значением не встречаются. Только шесть слов из десяти этого стиха употребляется и в других СП: глагол **быти**, местоимение **и**, союз **и** известны во всех 15 рукописях, предлог **отъ** — в 14 (кроме Охр), каждое из них встречается по нескольку тысяч раз; **поѣсти** — в Л 9,54 Зогр и Мар и в Мк 9,49 Зогр (кроме того в Син имеется 8 контекстов с этим глаголом); **дивии** известно еще в 16 случаях — в Зогр, Мар, Ас, Сав и Супр, при этом в евангелиях только в сочетании **дивии медъ**, а в Супр применительно и к растениям и к животным. Не менее характерно, что четыре слова из данных шести — вспомогательный глагол, союз, местоимение и предлог.

Только в одном памятнике из пятнадцати употребляется 4677 слов (из общего числа 9616), т. е. почти половина всех слов, известных нам по СП. В числе их не только редкие, единичные употребления и hap. leg., но в ряде случаев и довольно часто встречающиеся в памятнике слова. Например, в Син находим слова **рѣснота** «истина, соответствие действительности, действительное положение вещей» и **сѫдьба** «суждение, решение (обычно справедливое)». Первое встречается 36 раз, второе — 29, т. е. довольно часто (ср. приведенные выше данные об употребительности слов). Другие СП знают в этих значениях только слова **истина** и **сѫдъ**. Интересно, что в Син эти слова также очень часто встречаются — **истина** — 20 раз, **сѫдъ** — 27. (**Рѣснота**, вероятно, моравизм, но вопрос о моравизмах в СП мы в данной статье опускаем).

Если слово употребляется в двух-трех памятниках, то это обычно, с одной стороны, четвероевангелия — Зогр и Мар, реже сюда присоединяется Ас, еще реже Сав. Это соотношение легко объяснить: тетры и краткие апракосы, при этом второй апракос—Сав, памятник—меньший по объему, чем Ас, и достаточно своеобразный по языку в кругу евангельских текстов. С другой стороны, если слово употребляется в двух-трех неевангельских текстах, это обычно объединение Супр с Евх, реже с Клоц, Син или Ен. Характерно, что Супр с евангелиями в данном случае обычно не соседствует. Если слово встречается и в евангелиях (особенно в тетрах) и в Супр, то, как правило, это слово общестаославянского распространения — оно известно и ряду других СП.

Изучение лексики СП невозможно без учета того, что целые группы слов были не только известны, предположим, встречаются по одному разу,

но и свойственны одним СП, и чужды, или совсем неизвестны другим. Под чуждым памятнику словом подразумеваем такое слово, которое употребляется в нем в единичных случаях и в искаженном виде; искажено может быть его написание, неверно употребление, т. е. непонято его значение и т. п.

Так, например, в тексте евангелия нет слов **мънихъ, чрьньць, чрьноризьць** или **манастырь, манастырьскъ, лавра, лаврьскъ,** имеющихся в других СП. Это имеет историческое объяснение. Эти слова не могли употребляться в тексте евангелия уже потому, что не сформировались соответствующие понятия, связанные со значениями этих слов. Евангельские тексты создавались в течение II—III вв., а монашество, для которого на первых порах было характерно именно отшельничество, возникло в течение III—IV вв. Слово **инокъ** засвидетельствовано в СП один раз в своем первичном значении «одиночка» (μονιος) в приведенном пс 79, 14 Син, где сочетание **инокъ дивии** следует понимать как «дикий зверь; зверь, живущий один» [8]. Слова **мънихъ** (Евх, 1); **мънишьскъ** (Евх, 4); **чрьница** (Евх, 2); **чрьньць** (Ас, 1, календарная часть апракоса; Евх, 6; Супр, 8); **чрьноризьць** (Супр, 9); **чрьноризьскь** (Супр, 1); **чрьноризьство** (Супр, 1); **чрьноризьчьскъ** (Супр, 2); **чрьньчьскъ** (Евх, 1), имеющие греческие соответствия μοναχος, 'αναχωρητης и их производные, сравнительно с **инокъ** в Син имеют если не всегда отчетливое новое значение, то во всяком случае новые семантические оттенки, из которых легко могли развиваться вторичные, более конкретные значения, связанные с обозначением анахоретства как подвига. Есть все основания предполагать существование в языке писца Супр сло́ва **инокъ** в значении «монах», так как ему были известны соответствующие понятия (ср. употребление в Супр слов **чрьньць и чрьноризьць**) и слова́ с этим корнем в соответствующих значениях — **иночьскъ** (1): **иночьскоѥ житиѥ вьзлюбивъ.** Супр 560, 22—23; **иночьство** (1): **розмысливъ о житии с⟨вѧ⟩тааго. и о иночьствѣ.** Супр 547, 19.

Совершенно очевидно, что **чрьница** в Евх (**Аште к' то чрьницѭ окрадетъ. в҃ лѣта да постит' сѧ о хлѣбѣ о водѣ.** Евх 105а9) и **чрьница** (συκαμινος) в Син (**Ізби градомь віна ıхъ. ı чрънıцѩ ıхъ сланоѭ.** Пс 77, 47 Син; второй раз — там же) — различные слова. Слова **чрьница** в значении «монахиня» не могло быть употреблено в тексте Ветхого завета.

По тем же причинам, что и в случае **инокъ**, не находим в евангельских текстах и в псалтыри слов **манастырь** и **манастырьскъ**, хотя они и употребляются в Евх и Супр: **манастырь** (Евх, 3; Супр, 59), **манастырьскъ** (Евх, 1; Супр, 5). Например: **житиѥ прѣподобънааго о[ть]ца нашего исаак҃и[а] моностыра далматъска'га.** Супр. 185; 25; **црънoризъцъ бѣ въ манастыри. с [вѧ]тааго апостола аньдреа.** Супр 119, 19; **приимъ деѧторо братиѧ... моностыръ сътвори тоу.** Супр 279, 16—17. Аналогично только в Супр встречаются слова **лавра** (17) и **лаврьскъ** (1).

Слово **обитѣль** (Зогр, Мар, Ас, Сав, Евх, Супр)— καταλυμα, μονη— и его производные в СЯ еще не являются синонимами к **манастырь** и его производным. **Обитѣль** означает «место жительства, жилище». Например: **іроди с҃нъ свои пръвѣньць. ı повитъ ı·ı положи ı вь ѣслехъ за н҃е не бѣ има мѣста обитѣльна.** Л 2,7 Зогр (**въ обитѣли** — Мар, Ас, Сав); **иже ни града ни вьси. ни храма ни обитѣли ни рода иматъ.** Супр 455,5.

Дифференциация лексики СЯ по памятникам не только связана с историческими обстоятельствами создания протографов, но и с существованием в древней Болгарии двух школ письменности, двух культурных центров общеславянского значения — Охридского и Преславского. Для

[8] Ср.: J. Zubatý, Studie a články, I. Výklady etymologické a lexikalní. Č. 2, Praha, 1949, стр. 361 и сл., а также статью *иног* во II томе «Этимологического словаря русского языка» М. Фасмера (М., 1967, стр. 133—134).

каждого из них были характерны свои, ставшие традиционными, особенности, в том числе и языковые. В СЯ поэтому не было единой лексической нормы, если под этой нормой понимать совокупность словарных особенностей, характеризующую данный язык, словоупотребление, принятое в этом языке. Уже на данном, предварительном, этапе исследования лексики СП можно говорить о двух типах словоупотребления, о двух лексических нормах СЯ, каждая из которых была свойственна определенному кругу СП.

Для дальнейших исследований чрезвычайно важно иметь в виду, что дифференциация, подобная лексической, имела место также в фонетической, морфологической и синтаксической системах СЯ.

В палеославистике известны лексические пары, в которых одно слово в такой паре связывается с Охридской традицией, другое — с Преславской. Как правило, исследователи не называют при каждом из таких слов конкретных рукописей. Обычно указывается, что «охридские» слова (в целом) свойственны одним памятникам, точнее — определенному типу СП и ЦП, «преславские» (в целом) — другим, т. е. иному типу СП и ЦП. Обычно ссылаются при этом на евангельские тексты; с одной стороны — на глаголические Зогр, Мар и Ас, с другой — на кириллические кодексы Сав и Остр. Значительно реже называются неевангельские памятники. Нередко при перечислении таких пар слов просто указывается, что охридские (иначе — македонские) слова, например, **вълаити сѧ, гоумьно, достоѣние, дрьколь, дрѧселъ, жрьтва, искони** и т. п., встречаются в глаголических памятниках, а текстуально соответствующие им преславские (иначе— восточноболгарские), например, **погрѫжати сѧ, токъ, наслѣдиѥ, жрьдь сѣтьнъ трѣба, испрьва** и т. п., — в кириллических памятниках [9]. Есть все основания для такого подхода к словарному материалу памятников, если цель исследования — установить набор отличительных лексических признаков для классификации протографов старославянских и церковнославянских рукописей. При таком подходе в центре внимания — особенности перевода, а не словоупотребления данной рукописи. Это классификация текстологическая, хотя и основанная на фактах лексики. Следует подчеркнуть, что лексикологи в долгу перед текстологами, они до сих пор, в основном, пользуются теми данными, которые добыты текстологами, и сами широко применяют методы текстологии в своей работе. Текстологические и лексикологические исследования взаимосвязаны, практически часто нераздельны, особенно, когда изучаются древние памятники, но они разнонаправлены, а потому ряд текстологических данных не может быть использован лексикологией как непосредственный материал, здесь необходим специфически лексикологический анализ. Тот факт, например, что кумранские рукописи, недавно ставшие достоянием мировой науки, позволяют иначе членить и, следовательно, иначе толковать знаменитое *глас вопиющего в пустыне* в первоначальных текстах Ветхого и Нового завета, не меняет смысла этого выражения в истории литературных языков мира [10].

К числу собственно текстологических в области старославянской филологии можно отнести, например, широко известное противопоставление **вълаити сѧ— погрѫжати сѧ**. Оба эти глагола известны в СП, но в разных значениях. **Вълаити сѧ** употребляется по два раза в глаголических евангелиях — Зогр, Мар и Ас — в значении «быть бросаемым, кидаемым волнами». Первый стих: **корабь же бѣ по срѣдѣ морѣ вълаѥмь сѧ вльнами.** Мт 14, 24 Зогр, Мар, Ас. В кириллическом Сав нет этого места. Этот стих

[9] См.: А. М. Селищев, Старославянский язык, ч. I, М., 1951, стр. 32.
[10] И. Д. Амусин, Рукописи Мертвого моря, М., 1961, стр. 241.

имеется в кириллическом ЦП — Остр, но там на месте **вълѣти сѧ** находим **погрѫжати сѧ**, что и послужило, несомненно, поводом для выделения данной пары слов. Второй стих: **И сьниде бѫрѣ вѣтрьна въ езеро. І исконьчаваахѫ сѧ и вълаахѫ сѧ**. Л. 8,23 Зогр, Мар и Ас. В Сав также нет этого места. В Остр — тот же глагол, что и в глаголических евангелиях. В греческом тексте здесь глагол βασανίζομαι «мучиться, страдать, подвергаться мучениям». Цитата из евангелия βασανιζόμενον ὑπὸ τῶν κυμάτων переводится обычно выражением «быть игралищем волн». Показательно, что в ряде древнерусских евангелий здесь вместо **вълѣти сѧ** находим **въ бѣдѣ бѣахоу** [11]. Еще более интересен «двойной» перевод в сербском евангелии конца XII. в. — в Вук: **и сьниде боура вѣтрьна вь кзеро. исконьчавахоу се и влаахоу се и вь бѣдѣ бѣхоу** (Л 8, 23, л. 86 а), но в Мт 14, 24 здесь **влаѣ се вльнами**, л. 49д. Эти данные несомненно существенны для определения непосредственного греческого протографа (или протографов!) славянского оригинала и для установления соотношений между славянскими списками евангельского текста. Для лексикологии СЯ эти глаголы не сопоставимы: они имеют разные значения; **вълѣти сѧ** — редкое слово, возможно, более свойственное древнейшему периоду СЯ; **погрѫжати сѧ** «погружаться (в воду)», в отличие от него, есть основания считать распространенным словом СЯ. **Погрѫжати (сѧ)** употребляется и в глаголических Зогр, Мар и Ас (в Л 5,7) и в кириллическом Супр (158, 24). В Сав нет этого места, а потому отсутствие одного из данных глаголов в этом памятнике и в данном случае непоказательно. **Погрѫзити (сѧ)** также употребляется и в глаголическом Евх, и в кириллическом Супр. Как свидетельствуют материалы по значительному количеству слов СП, уже сам факт употребления слова и в евангелиях и в Супр говорит о том, что перед нами общестаославянское слово, т. е. слово, свойственное СЯ в целом. Таким образом, перед нами текстологические дублеты, а не лексикологические. В языке Охрида были оба глагола — и **вълѣти сѧ и погрѫжати сѧ**, но в тексте евангелия, который создавался в Охриде, в определенных стихах был употреблен глагол **вълѣти сѧ** тогда, когда в Преславе эти же стихи были переданы с глаголом **погрѫжати сѧ**.

Подобно названным глаголам, лексикологически не сопоставимы и существительные **потокъ** и **отокъ** или **островъ** (ср., например, И 18, 1 в разных евангельских памятниках), так как это также слова с разными значениями. В то же время **потокъ** следует сопоставить с **водотѣчь**, а **отокъ** — с **островъ**.

В известных в палеославистике противопоставлениях «охридское слово—преславское слово» собственно текстологические дублеты встречаются значительно реже таких, которые представляют и лексикологический интерес. Анализ употребления каждой пары таких слов, сопоставимых по значению, показывает, то и в данном случае в эту текстологическую по происхождению и назначению классификацию с точки зрения лексикологии СЯ следует внести определенные уточнения. Рассмотрим несколько примеров из большого числа возможных.

Благодѣть — охридское по происхождению слово. Оно встречается в 11 СП (Зогр, Ас, Сав, Син, Евх, Клоц, Супр, Рыл, Зогр л. л., Хил, Ен), т. е. это общестаославянское слово. Оно не засвидетельствовано только в трех глаголических СП — Мар, Служ и Охр, при этом оно имеется во всех кириллических рукописях, кроме самой маленькой из них — Уьд. Слово это очень употребительное, только в одной Супр оно встречается 63 раза (тогда как **благодать** — 17 раз). **Благодѣть** известно в СП в пяти

[11] См.: V. J a g i č, Entstehungsgeschichte der kirchenslavischen, Sprache, Berlin, 1913, стр. 333; А. С. Л ь в о в, Очерки по лексике памятников старославянской письменности, 1966, стр. 73 и сл.

значениях; основное — «милость, благосклонность» (χαρις, χαρισμα и др.) — употребляется и в глаголических и в кириллических памятниках. Например: **не бои сѧ марие. обрѣте бо благодѣть отъ б[о]га.** Л. 1,30 Зогр, Ас (в Мар, а также в Остр — **благодатъ**); **помолихъ сѧо н҃еи. и аб'ѥ г[осподь] неѭ благодѣтиѭ нечистыи д[оу]хъ отиде оть н҃еѧ.** Супр. 525, 22. Второе, менее распространенное, значение «добро, благодеяние» (εὐεργεσία) — известно также и глаголическим и кириллическим рукописям. Например: **ї забышѩ благодѣть его.** Пс 77, 11 Син; **дарьствовавыї на многы и различьны благодѣти.** Супр 179, 15—16. То же относится и к третьему значению «прелесть, очарование» (χάρις): **излиѣ сѩ благодѣть оустънахъ твоіхь.** Пс 44, 3 Син; и **така словеса да износитъ. да дастъ благодѣть слышѧштиїмъ.** Супр 497, 22. Два же значения этого охридского слова засвидетельствованы только в восточноболгарском памятнике — Супр: «благодарность, благодарение» (χάρις), например, **благодѣть възда ти** Супр 339, 11 и «добродетель (ʼαρετή): **оуправивъ до коньца въздръжаньнѫ [нѫ]ѭблагодѣть.** Супр 171, 15 (то же Супр 272,1). **Благодѣтьнъ** употребляется по разу в Зогр, Ас и Сав, а также трижды в Евх и дважды в Супр. **Благодѣтель** — восемь раз в Супр и по одному разу в Зогр и Клоц. Таким образом, охридское по происхождению **благодѣть** и его производные и родственные с ним слова суммарно употребляются более 100 раз и в большинстве глаголических и кириллических СП независимо от происхождения славянского оригинала каждой из рукописей.

Соответствующее ему, преславское по происхождению, **благодать** и его производные и родственные ему слова употребляются суммарно 26 раз и только в трех СП: глаголическом Мар (4) и кириллических Супр (17) и Хил (1). **Благодать** известно в СП в двух значениях. Первое — «милость, благосклонность» (χαρις, χάρισμα). Например: **отрочѧ же растѣаше.... і благодать б[о]жиѣ бѣ на немь.** Л 2, 40 Мар (то же в Остр; в Зогр, Acbis и Cabbis — **благодѣть**); **абъѥ господьн҃ѫ благодатьѭ бѣса прог'на.** Супр. 518, 10. Второе значение—«добродетель» (hap. leg.):... **и благодати свьтѧ шти сѧ ꙗже на н҃емь.** Супр. 280, 7 (в этом же значении **благодѣть** также употребляется только в Супр).

В Мар **благодать** употребляется четыре раза в первом значении, в этом же кодексе находим **благодатьнъ** (Л 1,28; это же прилагательное — в Хил 1 bα 14—15), **благодатель** (hap. leg.) — Л 22,25 (в Зогр **благодѣтель**). Супр знает в этом же значении **благодатьникъ** (176,5—6 — hap. leg.).

Охридское по происхождению **жрътва** употребляется суммарно около 70 раз в девяти памятниках: Зогр, Мар, Ас, Сав, Син, Евх, Клоц, Супр, Ен. Оно означает «жертва, жертвенное животное, жертвоприношение» (θυσία, σπονδή, и др.). Например: **дати жрътвѫ по реченоумоу. въ законѣ г[осподь]ни.** Л. 2,24 Зогр, Мар, Ас, Сав; **тебѣ пожьрѭ жрътвѫ хвальнѫ.** Пс 115, 8 Син; **бѣсъ... жрътвъ и скваръ трѣбоуѥть.** Супр 158, 22. **Жрътвьнъ** (2) — только в Супр: **жрътвъно ꙗсти.** Супр 98,3; **коумирь жрътвъныи.** Супр 138, 25; **жрътиѥ** (hap. leg.)— также: **жрътиꙗ раді соуѥтъныимъ богомъ.** Супр 148, 30.

Соответствующее ему преславское по происхождению **трѣба** известно в этом же значении (θυσία), но употребляется только в трех СП: кириллических Супр (8) и Ен (1), и в глаголическом Евх (1). Например: **сице и с[вѧ]тыѧ пода ѥмоу трѣбы.** Супр. 420, 4; **жрѣти и трѣбы творити милостивыимъ богомъ.** Супр 147, 25; **благовъгодьнѣ трѣбѣ быти.** Евх. 60а 14.

Таким образом, **жрьтва** — общестарославянское слово, **трѣба**, в отличие от него, употребляется значительно реже и в ограниченном количестве памятников.

Аналогично охридское по происхождению **достоꙗнїе** «наследство, наследственная доля» (κληρονομία) употребляется 27 раз и в глаголических Зогр, Мар, Ас, Син и в кириллическом Ен, тогда как преславское **наслѣдїе**, известное в этом же значении, встречается только в одном глаголическом и в одном кириллическом памятниках и по одному разу (в Евх и Сав).

Послелог **ради** (охридское слово) употребляется в двенадцати СП более 600 раз. Соответственно **дѣла** (преславское) — только в двух кириллических — Сав (3), Супр (24). Вариант **дѣльма** — только в Супр (83) и Зогр л.л. (1). Ср. **ради** в Сав — 28 раз, в Супр — 199 раз.

Анализ употребления в СП лексических примет славянских протографов, относящихся к различным культурным школам (так называемых охридских и преславских слов), позволяет сделать несколько замечений общего характера. Во-первых, обычно одно слово из пары дублетов (как правило, охридское) является общестарославянским, оно употребляется в большинстве СП, в том числе не только в глаголических, но и в кириллических (названные школы письменности функционировали на одном языке и влияли друг на друга). Во-вторых, так называемые преславские, т. е. восточноболгарские памятники (применительно к СЯ это прежде всего Супр), оказываются лексически богаче так называемых охридских, т. е. македонских. В них значительно чаще употребляется оба слова дублетной пары и, более того, в ряде «охридских» слов зафиксированы значения, известные только по Супр. Супр считается по качеству перевода ниже евангельских текстов и некоторых других канонических памятников. В ней, действительно, немало темных мест, которые свидетельствуют о непонимании писцом в этих случаях греческого оригинала [12]. Но в то же время лингвистический, в частности, лексикологический анализ рукописи показывает, что язык, которым она написана, значительно богаче средствами выражения, чем язык, например, Зогр или Мар, он разнообразнее и в лексико-семантическом отношении и в стилистическом, он более оригинален, более славянский, в нем меньше грецизмов редкого употребления. Язык Супр и близких к нему памятников свидетельствует о том, что в нем не только сохранено свое, но и усвоено и развито то, что было почерпнуто у охридских писцов и их последователей. В-третьих, известная часть охридско-преславских дублетов имеет чисто текстологическое объяснение и значение, их нельзя противопоставлять друг другу в лексико-стилистическом плане.

Как показывает изучение словарного состава СП, дифференциация лексики по группам памятников не ограничивается двумя-тремя известными десятками слов типа **благодѣть — благодать**. Этих слов в СЯ значительно больше. При этом сюда входят не только отдельные слова, но и целые группы производных слов, выделяемые по словообразовательному признаку — префиксу или суффиксу.

В Супр и некоторых других СП сравнительно с евангельскими старославянскими памятниками — Зогр, Мар, Ас и Сав — наблюдается значительное количество новых слов, выступающих в тех же значениях, что и соответствующие «старые» слова. Последнее подтверждается данными ЦП, прежде всего евангельскими рукописями так называемой второй редакции евангельского текста (по терминологии Воскресенского [13]), к которой относится ряд древнерусских кодексов и сербское евангелие конца XII в. — Вук. Например: **боуи** (Зогр, Мар, Ас, Сав, Син, Евх, Клоц, Супр,

---

[12] См. хотя бы: K.-H. Meyer, Altkirchenslavische Studien. I. Fehlübersetzungen im Codex Suprasliensis, «Schriften der Königsberger Gelehrten Gesellschaft», Geisteswissenschaftliche Kl., 15/16, 2, 1939. См. также рецензию Й. Курца на эту работу («Byzantinoslavica», VIII, Praha, 1939—1946).

[13] Г. Воскресенский, Характеристические черты четырех редакций славянского перевода евангелия от Марка, М., 1896.

Ен) — **жродъ** (Супр, где имеется еще 9 слов с этим корнем, отсутствующих в других СП); **любодѣица** (Зогр, Мар, Ас, Сав, Евх, Супр, Ен) — **блжденица** (Евх, Служ, Супр); **рѣпикѥ** (Зогр, Мар) или **триволъ** (Ас) — **влъчьць** (Супр); **еврейскъ** (Мар, Сав, Евх, Клоц, Супр)— **жидовьскъ** (Евх, Клоц, Супр); **врьтъпъ** (Зогр, Мар) — **пештера** (Супр) в значении «притон, убежище (преступника)», в Сав **пештера** употребляется в другом значении; **користь** (Зогр, Мар, Син) «военная добыча, трофеи» — **плѣнъ** (Супр), **плѣнъ** в Син употребляется в другом значении; **сжпрь** (Зогр, Мар, Ас) — **сжпрьникъ** (Супр); **оутлъстѣти** (Зогр) и **отлъстѣти** (Мар)— **оудебелѣти** (Супр).

Легко заметить даже по данному ограниченному количеству приведенных примеров, что первый член пары — обычно общестарославянское слово, второй отмечен, как правило, в Супр и в ряде случаев в глаголических Евх и Клоц и в кириллическом Ен. Некоторые из пар слов этого типа известны специалистам, сопоставлявшим евангельские рукописи различных славянских редакций [14]. Считаем немаловажным подчеркнуть, что выделенная категория лексических дублетов характеризует не только определенные стихи в евангелиях первой и второй редакций текста, но свойственна СЯ, затрагивает различные по содержанию памятники, сформировалась именно в данном языке, а не в языке ЦП. По внешним причинам мы не располагаем евангельскими рукописями, адекватными по времени и условиям своего создания таким памятникам, как Супр и близкие к ней, а потому данное явление в лексике в пределах СЯ нашло свое выражение только в памятниках различного содержания (с одной стороны — евангелия, с другой—минея). Очень показательны в этом отношении цитаты из евангельского текста в Клоц и Супр в сравнении с соответствующими стихами в Зогр, Мар, Ас и Сав. Нередко лексически они идентичны, но имеется и немало расхождений типа только что отмеченных [15].

Соответственно особенностям распределения по памятникам отдельных слов типа **благодѣть — благодать** и типа **боуи — жродъ** в этих же группах СП наблюдается и своеобразный отбор некоторых типов производных слов.

Наряду с общестарославянскими типами производных слов, например, отглагольными существительными на **-никѥ** (в СП известно 753 таких слова) или именами на **-телѣ** (их в СП 69), имеется немало производных слов, одни из которых свойственны преимущественно старославянским евангельским рукописям, другие — Супр и близким к ней памятникам.

Приведем несколько примеров. Так, в СП имеется 31 слово (некоторые из них очень употребительны), образованное от прилагательных с суффиксом **-ота** (**-ета**). 30 из них имеет отвлеченные значения, это всегда субстантивация качества —**великота, вельлѣпота, высота, длъгота, доброта, красота, лѣпота, нагота, ништета, правота** и т. п. Одно слово— **пѣготы** употребляется только во множественном числе и имеет конкретное значение «проказа», точнее ее проявление — специфические пятна на коже. Для СП это довольно употребительный суффикс. Показательно, что в число слов на **-ота** входит и такой окказионализм, как **свобота** в Супр: **въстанѣте идѣте**

---

[14] Ср.: Р. М. Цейтлин, Из наблюдений над лексикой Вуканова евангелия (сравнительно со старославянскими памятниками), сб. «Исследования по сербохорватскому языку» (в печати).

[15] Цитаты из Ветхого и Нового завета в Клоц и Супр указаны Н. Н. Дурново (см. его «К вопросу о древнейших переводах на старославянский язык библейских текстов», ИОРЯС, XXX, 1926, стр. 353 и сл.) и А. Вайаном (см.: A. Vaillant, Les citations des écritures dans le Suprasliensis et le Clozianus, «Slavistična revija», X, 1—4, Ljubljana, 1957, стр. 34 и сл). Лексическому анализу этого материала мы посвящаем отдельную статью.

отъ сѫдоу. Отъ работы въ свободѫ. 470, 15 [16]. Характерно распределение слов с этим суффиксом по памятникам. В Супр — 21 слово в Син — 17; в Клоц — 6. В евангелиях известно только два из них: **нечистота** — в Мар (2) и **тѧгота** — там же (1) и в АС (1). В Зогр утрачены соответствующие листы рукописи, в Сав нет этих стихов.

В СП известно восемь слов с суффиксом **-арь**, обозначающих работника по его ремеслу: **винарь, вратарь, врьтоградарь, гръньчарь, клкветарь, ключарь, мытарь, рыбарь.** Шесть из них (кроме **грънь чарь** и **клкветарь**) известны в евангелиях. В Супр употребляется только четыре слова. Характерно, что и здесь Супр значительно отличается от евангелий. Именно в ней встречаются те два слова, которых нет в евангелиях — **грънь чарь и клкветарь**, третье слово — **мытарь** является общестаославянским (кроме четырех евангелий оно отмечано еще в Евх и Служ), четвертое — **вратарь** кроме Супр один раз употребляется в Сав — **рече вратареви И** 18, 16 (в Зогр, Мар и Ас — **двьрьници**). Для Супр характерна пара **вратарь — вратарица**, для евангелий — **двьрьникъ — двьрьница.**

С суффиксом **-чии** в СП известно шесть слов: **корабьчии, кръмчии, кънигъчии, самъчии, сокачии, шаръчии.** Все они употребляются в Супр. Только одно из них — **кънигъчии** известно также в Мар и Ас. И в Супр четыре из этих шести слов имеют дублеты: **корабльникъ, кънижьникъ, кръмьникъ, шарописатель**, при этом три из них с широко распространенным в СП суффиксом — **-никъ** (известно 177 слов), одно с морфемой **-писатель** (еще одно словой с ней — **словописатель** известно также только в Супр).

В отличие от приведенных примеров, из 11 глаголов с приставкой **низъ-** только один известен в Супр (352,2), тогда как семь употребляется в евангелиях, пять — в Син, три — в Евх, один — в Ен.

Для Супр в отличие от большинства СП характерно обилие словвариантов с различными суффиксами. Например, **нагота и нагость; тихота и тихость** (**тишина** употребляется в другом значении); **чистота чистость и чистина** (слова с разным количеством значений); **боук есть и боуиство; благость, благыни и благостыни** и т. п.

Анализ словарного состава СЯ по его памятникам показывает, что в лексике этих текстов были, с одной стороны, слова, свойственные всем СП, т. е. общестаославянские, с другой — на фоне этих слов выделяются слова и целые серии отдельных слов и словообразовательных категорий, среди которых одни были свойственны евангельским рукописям, наиболее архаичным по языку в кругу СП, другие — Супр и примыкавшим к ней памятникам. Последние отличаются тем, что наряду с общестаославянскими словами знают много новых слов и новых словообразовательных словвариантов сравнительно с соответствующими лексическими средствами более архаичных по языку памятников.

Дифференцированное изучение старославянской лексики, учет всех парадигматических и синтагматических связей старославянского слова позволит в будущем выйти за пределы ограниченных словарных данных, имеющихся в СП, и воссоздать с достаточной полнотой современную этим памятникам систему лексики — лексики СЯ. Восстановление, разумеется возможно только собственно лингвистическим путем, через соотнесение имеющихся в СП мотивированных и немотивированных слов и значений слов. Слова, от которых в СП не сохранилось однокоренных слов, потеряны **навсегда** (или же до открытия новых СП).

[16] Хотя А. Мейе и трактует **свобота** как ошибку, он все же считает нужным специально выделить это слово (см. «Études sur l'étymologie et le vocabulaire du vieux slave», Paris, 1902—1905, стр. 295).

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 6 1969

Т. А. ИВАНОВА

О НАЗВАНИЯХ СЛАВЯНСКИХ БУКВ И О ПОРЯДКЕ ИХ В АЛФАВИТЕ

Как известно, между двумя славянскими алфавитами имеются определенные, достаточно многочисленные черты сходства [1], которые позволяют утверждать, что вряд ли возможно, чтобы два лица, создавая славянскую азбуку, могли бы составить столь совпадающие алфавиты, не зная один о существовании другого [2]. Поэтому, естественно, возникает вопрос: кто у кого заимствовал эти черты, создатель ли глаголицы у составителя кириллицы или, наоборот, составитель кириллицы у создателя глаголицы?

Названия славянских букв, а также порядок их в алфавите относятся к тем общим чертам, анализ которых может помочь решению этого важного вопроса. Это и составляет задачу настоящей работы.

О названиях славянских букв. При рассмотрении названий славянских букв внимание исследователей сосредотачивалось главным образом на вопросе об их происхождении. Таково содержание старой работы Д. И. Прозоровского «О названиях славянских букв», увидевшей свет в 1888 г. в «Вестнике археологии и истории». Этот же вопрос затрагивали и другие ученые в общих статьях и мелких заметках, посвященных происхождению славянских алфавитов [3]. В 1964 г. В. Ф. Мареш опубликовал статью, в которой подверг анализу азбучную молитву, хранящуюся в Государственной Публичной библиотеке в Ленинграде (шифр Q I 1202). Эта молитва, несомненно, была предназначена для глаголической азбуки, и отдельные стихи в ней начинались не только буквами по порядку азбуки, как в иных азбучных молитвах, но и целыми славянскими названиями букв. Это и позволило В. Ф. Марешу прийти к выводу, что именно эти стихи, автором которых, возможно, был Константин-Кирилл, были источником названия славянских букв [4].

Но вопрос о названиях славянских букв может быть рассмотрен и в ином плане, а именно с точки зрения их соответствия составу и порядку букв славянских алфавитов.

Названия славянских букв, построенные в основном по акрофоническому принципу, были трех типов:

1. Названия мнемотехнические, т. е. преимущественно славянские слова с соответствующими начальными звуками: аѕъ, боукы, ѣдѣ, и т. п. Некоторые из подобных названий являются словами не совсем ясного происхождения. Таковы, например, названия букв ѭсъ, ѩгъ, ѳрѣтъ. Следует думать, что название ѭсъ относилось первоначально к букве ѭ, а не ж, так как в ряде древнейших перечней славянских букв, например, в

[1] Цв. Тодоров, Произход и авторство на славянските азбуки, «Славистичен сборник», I, София, 1958, стр. 57—58.

[2] Наличие общих черт у славянских азбук привело даже к гипотезе, согласно которой следует считать, что оба алфавита изобретены одним и тем же лицом. Об этом см.: E. H. Minns, Saint Cyril really knew Hebrew, «Mélanges publiés en l'honneur de M. Paul Boyer», Paris, 1925, стр. 94—97.

[3] См.: например: A. Vaillant, L'alphabet vieux-slave, RÊsl, 32, Paris, 1955, стр. 28—31.

[4] F. V. Mareš, Azbučna báseň z rukopisu Státní veřejné knihovny Saltykova-Ščedrina v Leningradě, «Slovo», 14, 1964, стр. 5—24.

Парижском абецедарии (abecenarium bulgaricum) и в рукописи начала XV в., хранящейся в библиотеке г. Тура (Франция), это название — iusz, jouzz — приписано букве ю [5]. Однако А. И. Соболевский высказал предположение, что название буквы юсъ «едва ли не то же слово что и *усъ*», т. е. ст.-слав. *жесть* [6]. То, что название буквы ѣ восходит к ѣдѧ («еда»), с несомненностью установил А. М. Селищев. Он привел весьма доказательную приписку писца в Битольской триоди к лигатурному написанию букв п, р, ѣ в слове прѣставлендї: «покои (т. е. букву п) и рацї (т. е. букву р) и їдѧ (т. е. букву ѣ) заедно написахѧ простѣтѣ мѧ» [7]. Что касается названия буквы фрѧтъ, то А. Вайан считал его звукоподражательным на основу *fr* [8].

Наконец, некоторые из мнемотехнических названий представляют сокращения греческих слов. Таковы, по Вайану, ѣе (так названа глаголическая буква ⰻ в азбуке, содержащейся в рукописи библиотеки г. Тура) [9] из ѣеона или (и) (и)ѣемонъ, икъ, из икономъ, хѣръ из хѣроукимъ [10], а также юръ из деръ. Ср. стих на букву ъ в болгарской переделке «Сказания о письменах» Храбра: «еромь носимь невидимо» [11].

Понятно, что в этом случае акрофонический принцип был нарушен, так как ъ относится к тем звукам старославянского языка, которые не могли находиться в начале слова. По-видимому, на основе этого имени возникли названия букв юрь и юры, которые также не могли употребляться в начале славянского слова.

2. Названия фонетические, т. е. такие, которые разными способами идентифицируют звук и букву: ци, ша, шта.

3. Названия, заимствованные из других алфавитов: кси, пси, ѳита, пѣ [12].

Эти разные типы названий славянских букв оказываются в достаточной мере зависимыми от их соотношения со звуками, для передачи которых служили те или иные буквы. Так, названия букв, передававших славянские звуки, общие с греческими, относятся к мнемотехническим и являются славянскими словами или формами слов: азъ, кѣдѣ, глаголи, добро, есть, земля, иже, како, людие, мыслѣте, наша, онъ, покои, рацї, слово, тврдо, оукъ, от. Исключением из этого правила является буква хѣръ. Буквы, передававшие греческие звуки, чуждые славянской фонетической системе, имеют два типа названий: а) у трех букв сохраняются греческие названия: ѳита, кси, пси; б) у остальных букв имеются мнемотехнические наименования, не вполне ясные по происхождению: ѣе, икъ, фрѧтъ.

Буквы, передававшие славянские звуки, отсутствовавшие в греческом языке, имеют несколько типов названий: а) мнемотехнические славянские наименования: боукы, живѣте, зѣло, чрѧкы, ѣтъ, юсъ; б) мнемотехнические названия не вполне ясного происхождения: юръ, юрь, юры; в) фонетические: ци, ша, шта.

---

[5] И. В. Ягич, Глаголическое письмо, «Энциклопедия славянской филологии», 3, СПб., 1911, стр. 135; M. Kos, Slovanski teksti v kodeksu 95 v mestńe biblioteke v Toursu, «Slavia», III, 2—3, Praha, 1924, стр. 389.

[6] А. И. Соболевский, Несколько заметок по славянскому вокализму и лексике, РФВ, 2, 1914, стр. 437.

[7] А. М. Селищев, Старославянский язык, I, М., 1951, стр. 259. См. также: В. В. Виноградов, Об экспрессивных изменениях значений и форм слов, «Советское славяноведение», 1968, 4, стр. 7.

[8] A. Vaillant, указ. соч., стр. 30.

[9] M. Kos, указ. соч., стр. 389.

[10] A. Vaillant, указ. соч., стр. 29—30.

[11] К. М. Куев, Черноризец Храбър, София, 1967, стр. 169.

[12] Недавно было высказано предположение, что название буквы является готским заимствованием, см.: H. Leeming, The Slavonic letter-name «jer», «Rocznik slawistyczny», XXVIII, 1, 1967, стр. 31—35.

Предложенная классификация вызывает ряд вопросов, ответы на которые позволяют определить, какому алфавиту, глаголице или кириллице, были даны славянские названия букв. Вопросы эти следующие: I. Чем можно объяснить, что буква для звука *ch*, общего греческой и славянской фонетическим системам, названа не по-славянски, т. е. не так, как остальные буквы этой группы? II. Чем можно объяснить, что буквы, передававшие чуждые славянской фонетической системе звуки, не сохранили в ряде случаев, подобно θитє, кси, пси, греческие названия? Рассмотрим эти вопросы.

I. Из двух славянских алфавитов только глаголица, в составе которой первоначально было два знака для звука *ch*: обычный — ⰹ и «паукообразный» — ⰸ, дает ответ на первый вопрос. Паукообразный знак, как известно, встречается в глаголических рукописях очень редко, его употребление отмечено только в слове хлъми, три раза в Синайской псалтыри: лл. 78а, 19; 149б, 2,7 и один раз в Ассеманиевом евангелии: л. 138б, 8 (Лук. III, 5). Кроме того, этот знак включен в Парижский (abecenarium bulgaricum) и Мюнхенский абецедарии [13]. В Мюнхенском абецедарии «паукообразный» *ch* занимает место после ѣ, а обычный — после ф; в Парижском абецедарии, содержащем не только перечень букв, но и их славянские названия в латинской транскрипции, порядок этих букв иной: «паукообразный» знак, которому приписано название *ot*, стоит после ф, а обычный, названный *hier*,— после ѣ. Еще И. В. Ягич обратил внимание на то, что название *ot* относится не к «паукообразному» знаку. Буква отъ в алфавите следовала за буквой для звука *ch*, «а так как настоящий знак для *ot* был довольно похож на паукообразный hier, то он (автор абецедария.— *Т. И.*) и пропустил настоящий знак для *ot*, а это написание поставил над паукообразным hier» [14]. Добавим, что подобного же рода смешение букв ⰸ и ⰾ (отъ) допустил и писец Синайской псалтыри, который на л. 88б, 11 в том же слове хлъми написал букву отъ: ѡлъми.

Наличие в первоначальном славянском алфавите двух букв для звука *ch* подтверждается и древнейшими славянскими азбучными стихами: молитвой Константина Болгарского и Ярославским азбуковником. И в том, и в другом произведении содержится по два стиха на букву х; первый стих — после буквы ф: хєровьскѫ ми мысль и умъ даждь, Конст. Болг.; хѣровимскѫѭ пѣснь въспѣвати, Яросл. азб.; второй — после ꙗ: хвалѫ въздаѭ троици, Конст. Болг.; хвалами тѧ прославлѭѭ, Яросл. азб. [15].

Наконец, глухое указание на первоначальное существование двух знаков для звука *ch* имеется в одном из списков «Сказания» Храбра, в котором перечень славянских букв наряду с х содержит и букву х҃лъ [16]. Замечательно при этом, что данный список «Сказания», отличающийся многими особенностями, обнаруживает, по словам Ягича, «несомненные признаки того, что он списан с глаголического подлинника» [17].

Вопрос о том, в чем заключалось различие между двумя звуками, для которых в глаголице было создано два знака (обычный и «паукообразный»),

[13] N. Trubetzkoy, Das Münchener slavische Abecedarium, «Byzantinoslavica», II, Praha, 1930, стр. 29—31; Н. Н. Дурново, Мюнхенский абецедарий. ИАН СССР. VII серия. Отд-ние гуманит. наук, 1930, стр. 211—221.

[14] И. В. Ягич, указ. соч., стр. 204.

[15] А. И. Соболевский, Древние церковно-славянские стихотворения IX—X веков, «Материалы и исследования в области славянской филологии и археологии», СПб., 1910, стр. 10, 14—15.

[16] К. М. Куев, указ. соч., стр. 193.

[17] И. В. Ягич, Рассуждения южнославянской и русской старины о церковнославянском языке, «Исследования по русскому языку», I, СПб., 1895, стр. 311.

давно привлекал внимание исследователей. В 1964 г. этому вопросу посвятил специальную статью В. Ткадлчик [18]. Чешский ученый пришел к выводу, что наличие в глаголице второй буквы для звука *ch* должно объясняться так же, как наличие двух знаков в том же алфавите для звука *g*, один из которых обозначал велярный *g*, общий славянской и греческой фонетическим системам (буква глаголи — ⰳ), а второй — палатальный *g'*, чуждый славянской фонетической системе (буква ћє — ⰶ).

Следовательно, один из знаков для звука *ch* передавал также велярный вариант, общий греческой и славянской фонетическим системам, и должен был, по-видимому, получить, как и в других подобных случаях, славянское название. А второй знак служил для передачи палатального *ch'*, чуждого славянской фонетике, и поэтому был назван не по-славянски: хѣръ. Вероятно, такое противопоставление существовало и для третьего заднеязычного: *к* (велярный) — ⰽ — како; *к'* (палатальный) — особая графема с особым названием. В. Ткадлчик считает, что это была буква ⰾ [19].

Можно предположить, что «паукообразный» знак, употреблявшийся, как нам известно, очень редко (как и ⰶ — *g'*), передавал палатальный *ch'*, следовательно, назывался хѣръ и занимал в славянском алфавите место за буквой фрьтъ, как в Парижском абецедарии, в общем ряду букв, передававших заимствованные из греческого языка звуки: ѵкъ фрьтъ, хѣръ.

Обычный же знак занимал место после ѣ и, возможно, назывался хлъмъ, ср. х҃лъ в одном из списков «Сказания» Храбра. Однако, когда редко встречаемые буквы ⰿ, ⰶ выходят из употребления (а ⰾ получает новое значение — *št'*), обычный знак ⰾ не только занимает в алфавите место ⰿ, но и получает его название. Если бы ⰽ (хлъмъ?) занимал в алфавите место перед ⰿ —хѣръ, как глаголи перед ћє, то утрата ⰿ не вызвала бы ни перемещения буквы ⰾ, ни переименования последней.

Таким образом, для глаголицы, которую следует считать древнейшей славянской азбукой, можно восстановить два ряда букв для заднеязычных согласных и соответственно с этим два типа их названий: а) велярные, названные по-славянски в соответствии с общим типом славянских названий для звуков, общих с греческим языком; в) палатальные, названные не по-славянски, как и другие заимствованные из греческого языка звуки.

I	II
ⰽ — како	ⰾ — ?
ⰳ — гѵаголи	ⰶ — ћє(она)
ⰽ — хлъмъ	ⰿ — хєр(оувим)ъ
как ⰳ — вѣдѣ и под.	как ⰾ — ик(оном)ъ и под.

II. Следует полагать, что отсутствие единства в названиях букв, передававших чуждые славянской фонетической системе звуки, т. е. то, что

[18] V. Tkadlčik, Dvojí *ch* v hlaholici. «Slavia», XXXIII, 2, 1964, стр. 182—193.
[19] V. Tkadlčik, Dvě reformy hlaholského písemnictví. Písmeno ⰾ, «Slavia», XXXII, 3, 1963.

некоторые из них не сохранили греческие названия (икъ, фрьтъ, хѣръ), тоже связано с тем, что они были даны буквам глаголицы, а не кириллицы. Прежде всего обращает на себя внимание тот факт, что буквы, не сохранившие греческие названия: икъ (греч. ὕψιλόν [20]), фрьтъ (греч. φῖ) и хѣръ (греч. χῖ), расположены в середине славянской азбуки в соответствии с их порядком в греческом алфавите и являются общими для глаголицы и кириллицы.

Буквы, сохранившие греческие названия, — кси, пси, ѳита — стоят в конце славянской азбуки и, по-видимому, в первоначальной глаголице не употрэблялись. Так, глаголические рукописи X—XI вв. не содержат никаких следов букв кси и пси; в евангелиях эти греческие буквы всегда передаются через сочетания кс, пс: алек'санд'рокоу, Марк XV, 21 в Зогр., Мар., Асс. ев.; арфаксадовъ, Лук. III, 36 в Зогр., Мар. ев.; псал'мѣхъ, Лук. XXIV, 44 в Зогр., Мар. ев.; въ кънигахъ псаломъскыхъ, Лук. XX, 42 в Мар. ев.; паропсидѣ, Мат. XXIII, 25, 26 в Мар. ев.

Спорадическое употребление ѳ (1 раз в Мар. ев: виѳсаиды, Ио. I, 45 и 1 раз в Зогр. ев.: Ѳома, Ио. XXI, 2)— явление случайное, возникшее под влиянием греческой графики. Регулярным рефлексом греческой ϑ в глаголице является ⰿ — *t* [21].

В кириллице же эти буквы, дополняя и завершая славянскую азбуку, преимущественно употребляются в соответствии с ионийской системой нумерации в цифровом значении: Ѳ — 9, ѯ — 60 ; ѱ — 700. Кроме этих букв, в памятниках, писанных кириллицей, в цифровом употреблении известны еще три символа, также заимствованные из ионийской нумерации: вау ꙅ , ꙁ — ь, коппа ꙅ — 90 и сампи ѫ — 900. У греков эти символы в алфавит не входили. Подобно этому и у славян коппа и сампи в кирилловский алфавит не вошли и с течением времени, прежде всего у восточных славян, перестали употребляться, заменившись по сходству начертаний буквами ч — 90 и ѧ — 900. Традиция употребления греческой коппы, а не буквы ч, в значении 90 у южных славян была более длительной. Небезынтересно при этом отметить, что в сербском азбуковнике 1629 г. название этого знака — ископита — связано с греческим [22].

В отличие от рассмотренных знаков греческий символ вау не только занимает определенное, однако не шестое место в славянском алфавите, но и получает славянское мнемотехническое название зѣло, хотя в древнейших славянских памятниках употребляется, подобно коппе и сампи, исключительно в цифровом значении.

Думается, что этому факту может быть дано только одно объяснение: славянское название зѣло было дано букве глаголицы, имевшей, как известно, для передачи двух различных звуков (*d͡z'* и *z*) два различных

---

[20] О том, что первоначально в славянской азбуке за буковой тврьдо следовала буква с названием икъ, а не оукъ, свидетельствуют следующие факты: во-первых, такое название имеет в Парижском абецедарии буква, следующая за ⰿ и напоминающая глаголическую «ижицу», поставленную горизонтально ⰿ — *hic*; во-вторых, в обеих древнейших азбучных молитвах стих, следующий за т, начинается со слова ипостась; ѵпостась бо всѧкую цѣлиши, Конст. Болг., ѵпостась бо си осквернихъ злѣ, Яросл. азб.

[21] R. Nahtigal, Doneski k vprašanju o postanku glagolice, «Razprave», I, Ljubljana, 1923, стр. 140, 143.

[22] Р. А. Симонов, О некоторых особенностях нумерации, употреблявшейся в кириллице, «Источниковедение и история русского языка», М., 1964, стр. 22—24.

знака (ⰸ и ⰵ), которые, естественно, получили два разных названия: ⰸⰵⰾⰻⰾⰻ (*d͡z' ělo*) и ⰵⰿⰾⰻⰾⰻ (*zeml'a*) и в соответствии со своим порядком в алфавите имели разные цифровые значения: ⰸ — 8, ⰵ — 9.

В кириллице же особой буквы для аффрикаты *d͡z'* не было; этот звук передавался не буквой зѣло (ѕ, т. е. греч. вау, а слегка модифицированной буквой ємлꙗ — ꙁ — знаком, не имевшим цифрового употребления. В этом отношении очень показательны данные Листков Ундольского, в которых употребляются оба знака, при этом аффриката *d͡z'* имеет начертание ꙁ: въстръꙁаѫщє, 1 л. 14; съжиꙁаѫтъ, 1 л., 28, а цифра 6—ꙅ: м(ѣсѧ)цѣ то(го) же ·ꙅі·, л. 2, 42; къ вторник(ъ) ·ꙅ·, л. 2, 54 [23].

Следовательно, можно прийти к заключению, что славянское название глаголической буквы ⰸ — зѣло, передававшей специфически славянский звук *d͡z'*, было позже приписано заимствованному из греческой цифири кирилловскому знаку ѕ, ꙅ. Последний, продолжая употребляться только в значении цифры 6, занял в кирилловском алфавите то же место, что и соответствующая глаголическая буква, т. е. между буквами ж и з, а не после кирилловского є — 5, что следовало бы ожидать в связи с его цифровым значением.

Таким образом, вышеизложенные факты позволяют сделать вывод, что славянские названия были даны буквам глаголицы, а не кириллицы. Составитель глаголицы, несомненно, обнаружил стремление отталкиваться от греческой графической системы, а не подражать ей; хотя, как правильно заметил Ем. Георгиев, она вошла в мозг и кровь создателя глаголицы [24]. Создавая оригинальные, отличные от греческих графем знаки, автор глаголицы давал им и оригинальные, негреческие названия, даже и в том случае, когда создаваемые им буквы были необходимы для передачи специфически греческих звуков (*ü*, *f*, *ch'*) и поэтому не могли быть названы по-славянски (икъ, фрьтъ, хѣръ).

В «Сказании о письменах» Храбра имеется указание на то, что не только сами буквы, но и их названия созданы Константином-Кириллом: «посла имь с҃тго Кѡстантина философа нарицаемаго Кирила, мѫжа праведна и истинна. и сътвори им л҃. писмена и осмь, ѡва ѹбѡ по чиноу гръчьскыхь писменъ, ѡва же по словѣнстѣи рѣчи. ѿ пръваго же наченъ по гръчьскоу. ѡни оубо алфа а съ азь. ѿ аза начѧть ѡбоє, и ꙗкоже ѡни подобльше сѧ жидовьскымь писменемь сътворишѫ, тако и [25] съ гръчьскымъ... тѣм' бо по(д)бѧ с҃тыи Кирилъ створи пръвоє писмѧ азъ».

Следовательно, несомненная связь славянских названий букв с глаголической азбукой может служить еще одним доводом того, что Константин Философ был ее создателем.

О порядке букв в славянском алфавите. Многие исследователи видят бо́льшую древность глаголицы в том факте, что порядок букв этого алфавита соответствует их цифровому значению. Так, например, А. М. Селищев писал: «На то, что первоначальной была глаголица, указывает также цифровое значение букв той и другой азбуки. В глаголице цифры следуют

---

[23] «Листки Ундольского, отрывок кирилловского евангелия XI века», изд. Е. Ф. Карским, в кн.: «Памятники старославянского языка», I, 3, СПб., 1904, стр. 5—7.

[24] Ем. Георгиев, Славянская письменность до Кирилла и Мефодия, София, 1952, стр. 81.

[25] К. М. Куев, указ. соч., стр. 188—189.

в порядке алфавита: — 1, — 2, — 3, — 4, — 5...

В кириллице цифровое значение имеют только знаки, взятые из греческого письма: а — 1, б — 2, г — 3, д — 4... Если бы глаголица следовала кириллице,— заключает Селищев,— то буквы глаголицы были бы расположены иначе,согласно счету по кирилловской азбуке» [26].

Однако, несмотря на всю значительность, этот довод, не подкрепленный дополнительными аргументами, нельзя признать вполне убедительным, так как совпадение порядка букв и цифири может быть явлением вторичным: составитель глаголицы мог придать цифровые значения славянским буквам в соответствии с ранее установившимся порядком их в другом славянском алфавите (кириллице).

Этим может объясняться стремление некоторых ученых возводить порядок букв славянского алфавита не к глаголице, а к кириллице. Последние попытки такого рода принадлежат Ем. Георгиеву. В полемической статье, адресованной В. Велчеву [27], который высказал ряд критических замечаний о его книге «Разцветът на българската литература» (София, 1962), Ем. Георгиев пишет, что так как глаголические буквы и совсем не похожи, то неясно, почему они следуют в алфавите одна за другой. В исторически развившемся письме, которым, по Георгиеву, является кириллица, этот факт не вызывает сомнения, так как обе буквы имеют один общий источник в греческой В. В подтверждение этого положения Ем. Георгиев ссылается на данные латинского алфавита, в котором буквы, также развившиеся из одного греческого источника, стоят рядом: *i*, *j* и *u*, *v*, *w* [28].

Однако эти рассуждения Ем. Георгиева представляются весьма спорными, так как естественно возникает вопрос, почему буква в, являющаяся точной копией уставной греч. В и подобно греческой букве имеющая цифровое значение — 2, занимает в славянской азбуке не в т о р о е, а т р е т ь е место. Сопоставление с латинской графикой, не знавшей буквенной цифири, которая, без сомнения, могла оказывать воздействие на порядок букв, говорит не в пользу гипотезы Ем. Георгиева. В латинском алфавите производная буква всегда следует за исходной: *j* за *i*; *v* и *w* за *u*, а не наоборот, как в кириллице: б, в.

В этом отношении значительно более показателен порядок букв ц, ч, в котором производная графема ч занимает второе место. Однако и в данном случае нельзя согласиться с мнением Ем. Георгиева, что в расположении и этих букв глаголица следует за кириллицей [29]. Ем. Георгиев не отрицает связи славянской буквы ци с древнееврейской *цаде* [30], но при этом не обращает внимания на тот факт, что в кириллице эта связь с древнееврейским алфавитом проявляется только в тех случаях, которые имеются и в глаголице (ц, ш). Глаголица же и в других случаях обнаруживает свою зависимость и связь с одной из разновидностей древнеарамейского алфавита: открытость влево ряда букв, разрыв в написании буквы како, наличие особой буквы, сохранившей древнесемитское название пѣ (пє). Поэтому следует признать, что та связь славянской азбуки в порядке следования букв ц, ч, ш с древнееврейским алфавитом, на которую ссылается Ем. Георгиев,— явление, возникшее в глаголице и оттуда унаследованное

[26] А. М. С е л и щ е в, указ. соч., стр. 57.

[27] В. В е л ч е в, Съществувало ли е развито славянско писмо и книжнина преди дейността за Константин-Кирил и Методий в Моравия?, «Език и литература», XX, 4, София, 1965.

[28] Е м. Г е о р г и е в, За началото на българската и славянската писменост, «Език и литература», XXI, 1, София, 1966, стр. 61.

[29] Е м. Г е о р г и е в, там же.

[30] Е м. Г е о р г и е в, Славянская письменность до Кирилла и Мефодия, стр. 21.

кириллицей. Нужно согласиться, что А. М. Селищев, который объяснял второе место в славянском алфавите буквы боукы влиянием самаритянской азбуки, ближе к истине, чем Ем. Георгиев [31]. Действительно, в разных древнеарамейских алфавитах (древнееврейском, самаритянском, сирийском) вторая буква передавала звук *в*, а не *v*, как β в греческом языке второй половины IX в.

Таким образом, можно утверждать, что порядок букв в славянской азбуке (а, б, в. . . ц, ч, ш) иногда определялся не греческим алфавитом, а древнеарамейским, с которым глаголица имеет, несомненно, большую связь, чем кириллица, и, следовательно, порядок букв в кириллице основан на порядке букв глаголицы, а не наоборот. В подтверждение этого положения можно привести и дополнительные доводы. Об одном из них речь уже шла выше (см. стр. 52): кирилловская буква ѕ занимает в алфавите место не после буквы є, что соответствовало бы ее цифровому значению (є — 5, ѕ — 6), а восьмое место между буквами ж и з, как и глаголическая буква ⰸ —8, давшая кирилловскому знаку ѕ свое имя —зѣло. Точно так же отсутствие единства, которое имеется в кириллице, не только в названиях букв, передававших специфически греческие звуки (икъ, фрьтъ, хѣръ — кси, пси, ѳита), но и в порядке их следования (ѯ, ѱ, ѳ, отсутствовавшие в глаголице, не заняли в славянском алфавите, в отличие от ѵ, ф, х своих греческих мест), показывает, что кириллица не только в названиях букв, но и в их порядке следовала за глаголицей, представляя собою как бы слепок с последней.

В заключение следует остановиться на вопросе о том, чем можно объяснить, что кириллица, обнаружившая несомненную зависимость от глаголицы и в названиях букв, и в их порядке, в цифири за ней не следует. Ответ на этот вопрос находится в последнем исследовании, посвященном буквенной цифири, Л. П. Жуковской, которая убедительно показала, что «до изобретения специальной славянской азбуки у славян существовала устойчивая традиция употребления букв греческого алфавита для записи чисел» [32]. Изобретение Константином-Кириллом глаголицы с особой буквенной цифирью, отличной от ионийской нумерации, не смогло сломать этой устойчивой традиции, а замена глаголицы греческим славянизированным алфавитом, кириллицей, только способствовала ее укреплению.

---

[31] А. М. Селищев, указ. соч., стр. 50.

[32] Л. П. Жуковская, К истории буквенной цифири и алфавитов у славян, «Источниковедение и история русского языка», М., 1964, стр. 42; ср. также: Р. А. Симонов, указ. соч., стр. 23, 31.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 6 1969

Л. Р. ЗИНДЕР

К ИТОГАМ ДИСКУССИИ О РУССКОЙ ОРФОГРАФИИ

Споры о русской орфографии, возникшие за несколько лет до выхода в свет «Предложений по усовершенствованию русской орфографии» и разгоревшиеся особенно после их опубликования, отошли в прошлое. Это делает возможным обозреть их более полно и более терпимо отнестись к различным высказываниям, что было бы трудно сделать в пылу спора, который велся с большой страстью и с искренней заинтересованностью споривших.

Дискуссия захватила широкий круг людей самых различных профессий. Учесть все высказанные в общей печати мнения в одной журнальной статье невозможно, да это едва ли и целесообразно. Во-первых, как это справедливо отметил В. П. Григорьев, «следует принимать во внимание лишь те мнения и аргументы, которые внушены авторам не субъективными представлениями о родном языке и его орфографических одеждах» [1]. Во-вторых, И. С. Ильинская в своей очень содержательной статье уже разъяснила основные недоразумения, содержащиеся во многих наивных высказываниях [2].

В настоящей статье ввиду этого учитываются, как правило, только выступления лингвистов-теоретиков и преподавателей языка, которые опубликованы в языковедческих журналах или же в специальных книгах и сборниках статей, но и таким образом ограниченный материал рассматривается здесь обобщенно.

Первое, что выявилось в ходе дискуссии, это многоаспектность обсуждаемой проблемы. Тут и вопрос о том, нужна ли реформа вообще, а если нужна, то какая («коренная ломка», «усовершенствование», «упрощение», «упорядочение»), и вопрос об основном принципе орфографии, и вопрос о соотношении языка и письма, и, конечно, конкретные вопросы, касающиеся тех или иных изменений в русском правописании, а также и ряд других теоретических и практических вопросов.

Орфографическая комиссия не предпослала «предложениям» никакого теоретического введения, которое разъясняло бы ее позиции и направило бы определенным образом ход обсуждения (в этом ее справедливо упрекали некоторые участники дискуссии). Почти все отмеченные выше вопросы всплывали стихийно, беспорядочно велось и их обсуждение; некоторые аспекты привлекли внимание многих, по другим высказывались мало или вовсе не высказывались. Большинство участников дискуссии высказывалось, естественно, по поводу конкретных рекомендаций, содержащихся в «Предложениях»; между тем во многих случаях без предварительного решения некоторых теоретических вопросов невозможно защитить или отвергнуть соответствующее конкретное предложение.

С точки зрения теоретического языковедения вопрос о правописании, о его свойствах, его рациональности или нерациональности должен решаться в аспекте проблемы соотношения устной и письменной формы речи, соотношения языка и письма. Признание примата звуковой речи и вторичности письменной бесспорно является господствующим в современном языковедении. Правда, в последнее время стали говорить о независимости устной и письменной н о р м языка (Т. М. Николаева) [3] и даже двух р а з н о в и д н о с т я х я з ы к а (Ф. Пап) [4], но по существу речь может идти лишь о грамматической системе, как это ясно видно из статьи В. Мотша [5]. Что же касается

[1] В. П. Г р и г о р ь е в, Обсуждение «Предложений по усовершенствованию русской орфографии», ВЯ, 1965, 1, стр. 69.

[2] И. С. И л ь и н с к а я, Орфография и фонетика, в кн. «Орфография и русский язык», М., 1966. Считаю, однако, необходимым заметить, что если такие высказывания не имеют ценности как критика тех или иных предложений, то они подчас важны как материал, свидетельствующий об интуиции носителей языка, подлежащей обязательному истолкованию со стороны языковедов.

[3] Т. М. Н и к о л а е в а. Письменная речь и специфика ее изучения, ВЯ, 1961, 3.

[4] Ф. П а п, Некоторые вопросы изучения устной и письменной разновидностей языка, «Publicationes instituti philologiae slavicae universitatis debrecensis», 32, 1963.

[5] В. М о т ш, К вопросу об отношении между устным и письменным языком, ВЯ, 1963, 1.

звукового письма как такового, то оно является не чем иным, как графическим кодом независимо от него существующих языковых единиц. Естественно поэтому, что Бодуэн, хотя и различал «произносительно-слуховой язык» и «писанно-зрительный язык», написал специальную книгу «Об отношении русского п и с ь м а к русскому я з ы к у», в которой мысль о зависимости первого от второго отчетливо выражена в следующих словах: «Ибо ведь произносительно-слуховое может возникать и мыслиться совершенно независимо от писанно-зрительного; писанно-зрительное же имеет смысл, осмысляется только в связи с произносительно-слуховым» [6]. Регламентированность письма, полная подчиненность его воле пишущих со всей очевидностью свидетельствуют об эфемерности его самостоятельного существования [7].

Вопросом, связанным с проблемой соотношения устной и письменной формы речи, является вопрос о воздействии письма на орфоэпию. В. П. Григорьев пишет: «Воздействует ли правописание на развитие орфоэпических норм? В общей форме ответ на этот вопрос может быть только утвердительным» [8]. Я думаю, что категоричность этого ответа не имеет достаточных оснований. Сам В. П. Григорьев указывает на то, что «окающий характер» русского правописания не вызвал оканья в произношении. Что же касается *-кий* в прилагательных, я думаю, что прав С. С. Высотский, который считает, что мы имеем здесь дело с явлением, относящимся скорее к орфоэпии, чем к морфологии, и написание тут не при чем. Распространение суффикса-окончания *-ий* есть следствие грамматической аналогии, вызвавшей к жизни дублетные формы, конкурирующие между собой.

Говоря о влиянии орфографии на орфоэпию, некоторые авторы (например, С. А. Копорский [9]), ссылаются на Л. В. Щербу. Что же имел в виду Л. В. Щерба? В случае с безударными *и* и *е* он считал, что поскольку в одном из вариантов русского литературного произношения эти два гласные различаются, и это поддерживается написанием (например, *лиса* и *леса*), то и для орфоэпии разумно рекомендовать соблюдение такого различия [10]. Л. В. Щерба, конечно, не мог утверждать, что указанные варианты произношения возникли под влиянием написаний, так как в данном случае это абсолютно исключено, а ведь некоторые участники дискуссии высказывали опасения, что написание может вызвать даже появление ранее не существовавших фонемных противопоставлений, например, твердого и мягкого *ц* в случае принятия предложения о последовательном употреблении буквы *и* после *ц*. Кстати, должен заметить, что некоторые экспериментально-фонетические данные свидетельствуют о том, что в «ленинградском» произношении, которое, как известно, относится к экающим, былое различение безударных *е* и *и* утрачивается.

Итак, мы пока не располагаем всеми необходимыми объективными данными, чтобы дать обоснованный ответ на поставленный вопрос. Считаю необходимым обратить внимание еще на одно обстоятельство, почему-то ускользнувшее от внимания участников дискуссии. Это — прямое влияние на произношение и на произносительную норму таких средств, как радио, телевидение, звуковое кино и разные виды звукозаписи, которые воздействуют на миллионы людей всех возрастов не меньше, чем печать.

Если признать справедливым все сказанное, то звуковое письмо представляет собой лишь код для плана выражения языка, и тогда с теоретической точки зрения всякое звуковое письмо, которое позволяет однозначно декодировать написанное, будет безупречным [11]. К этому очень близка и норма, предусмотренная обсуждаемыми «Предложениями», и ныне действующая орфография и даже дореволюционная. Для того чтобы полностью удовлетворять указанному требованию, русскому письму, не говоря о некоторых мелочах (например, возможность двоякого чтения буквы *е* после гласной), мешает только отсутствие буквы *е* в алфавите и необозначенность места ударения, как правильно отметил в своей статье М. Янакиев [12]. Русское письмо, если только известно место ударения, давало и дает возможность однозначно прочесть любое незнакомое слово, в том числе и собственное имя [13].

Таким образом, вопрос о необходимости реформы не лингвистический, а чисто социальный: вопрос стоит об удобстве действующей системы письма для обучения гра-

---

[6] И. А. Б о д у э н д е К у р т е н э, Об отношении русского письма к русскому языку, СПб., 1912, стр. 36.

[7] Утверждая это, я отнюдь не хочу отрицать важности (особенно в прикладных целях) самостоятельного изучения письменной формы речи.

[8] В. П. Г р и г о р ь е в, указ. соч., стр. 72.

[9] С. А. К о п о р с к и й, К дискуссии об усовершенствовании русской орфографии, «Р. яз. в шк», 1964, 6.

[10] Л. В. Щ е р б а, Теория русского письма, в кн.: «Избранные работы по русскому языку», М., 1957.

[11] Не этим ли объясняется столь сдержанное отношение ко всякой реформе многих лингвистов-теоретиков.

[12] М. Я н а к и е в, Основные теории орфографии, ВЯ, 1963, 3.

[13] Ср. иное положение, например, в английском письме.

моте, для пишущих и читающих и о целесообразности ее изменения. Вместе с тем реформа правописания это одна из самых важнейших задач прикладного языковедения, поскольку вопрос о том, к а к о в а должна быть орфография, чтобы правильно отражать язык, могут решить только лингвисты.

В статье, завершающей дискуссию на страницах журнала «Русский язык в школе», говорится: «Реформа нужна — это, пожалуй, единственная мысль, которую разделяют авторы в с е х писем и статей»[14]. Это не совсем точно. Правда, против необходимости и своевременности реформы русской орфографии выступило (с большей или меньшей решительностью) относительно очень небольшое число участников дискуссии. но среди них были не только ученые-лингвисты, но и учителя русского языка средней школы.

Противники реформы говорят, между прочим, о том, что после реформы 1918 г., как писал Л. В. Щерба, грамотность не только не повысилась, но даже снизилась. Причину низкой грамотности видят прежде всего в плохом преподавании русского языка, в отсутствии хорошо разработанной методики обучения правописанию. При этом ссылаются на следующие слова Л. В. Щербы: «Между тем, отделив занятия языком от обучения грамоте, многие учителя, не имевшие склонности к занятиям языком или слабо к этому подготовленные, стали на практике все более и более пренебрегать ими. Таким образом, обучение правописанию повисло в воздухе, базируясь лишь на списывании»[15]. Эти слова безусловно заслуживают внимания; отсутствием связи между указанными аспектами преподавания русского языка, в частности, между занятиями словообразованием и обучением сознательному применению так называемого морфологического или фонематического принципа орфографии, вероятно, объясняется тот парадоксальный результат статистического обследования орфографических ошибок, которое проводили в свое время Н. Оральников и А. Н. Гвоздев[16]. Впрочем для того. чтобы это утверждать категорически, необходимо провести специальный эксперимент. Как бы ни обстояло дело в данном случае, несправедливо было бы винить во всех орфографических бедах только школу[17]. Неоспорим тот факт, что в современном русском правописании имеется немало противоречий и исключений из правил, которые никак не могут быть объяснены грамматически, и которые требуют механического запоминания. Связь с занятиями языком тут мало чем может помочь.

Высказывалось и такое мнение, что орфографические навыки у выпускников школы вполне удовлетворительны, что гораздо ниже стоят их познания в области стилистики, что низка у них общая культура речи. Придерживаясь такой точки зрения, Р. А. Будагов[18], например, ссылается на сочинения поступающих на филологический факультет МГУ. Объяснение этого впечатления мы находим в следующих словах М. С. Летченко: «Учителя практики хорошо знают, как ученики в сочинениях „обходят" трудные слова или пользуются готовыми заученными фразами учебника. Речь учащихся обедняется, делается шаблонной, так как все их усилия при письме направлены в сторону преодоления орфографических ошибок»[19].

О низком уровне культуры речи у школьников говорят и сторонники реформы; ее необходимость они мотивируют именно тем, что нужно освободить время для глубокого и всестороннего изучения русского языка. Выражая это мнение, В. В. Виноградов писал: «В общественном сознании крепнет убеждение, что излишняя сложность, противоречивость и мелочная разнобойность нашего правописания служили значительным препятствием не только к распространению высокой грамотности в народных массах, но и помехой в овладении культурой русской речи, стилистическим многообразием богатого русского литературного языка»[20].

---

[14] «Обзор статей и писем по вопросам правописания», «Р. яз. в шк.», 1964, 4, стр. 107.

[15] Л. В. Щ е р б а, Безграмотность и ее причины, к кн.: «Избранные работы по русскому языку», М., 1957, стр. 61.

[16] Н. О р а л ь н и к о в, Опыт статистического анализа развития орфографических навыков у учащихся, «Русский язык в советской школе», 1929, 1; е г о ж е, Проверочные и беспроверочные написания в письме школьника, там же, 1930, 3; А. Г в о з д е в, Орфография как система, «Литература и язык в политехнической школе», 1932, 4. Эти данные подтверждает и Д. Н. Б о г о с л о в с к и й («Психология усвоения орфографии», 2-е изд., М., 1966, стр. 306).

[17] Надо сказать, что такая тенденция существует даже у школьных учителей; см., например, Т. М. Я н к о в с к и й, Нужны ли новые правила?, там же, 1964, 6.

[18] Р. А. Б у д а г о в, К спорам вокруг русской орфографии, «Р. яз. в шк.», 1964, 6.

[19] М. С. Л е т ч е н к о, Трудности изучения русской орфографии, «Р. яз. в шк.», 1962, 6, стр. 91.

[20] В. В. В и н о г р а д о в, О необходимости усовершенствования нашего правописания, сб. «Вопросы русской орфографии», М., 1964, стр. 14.

Среди сторонников реформы расхождения обнаруживаются прежде всего в вопросе о том, насколько она должна быть радикальной. За полную перестройку, вплоть до введения новых букв в русский алфавит, высказались единицы. Гораздо больше слышалось голосов, упрекавших «Предложения» в том, что они предлагают не усовершенствование, а «реформу». Само это слово звучало в ходе дискуссии, как одиозное. Говорили, что «Предложения» покушаются не только на основы русского правописания, но и на грамматический строй русского языка. Аргументация при этом бывала подчас, я бы сказал, совершенно безответственной, хотя и претендовавшей на научность.

В качестве примера можно привести следующие высказывания из статьи профессоров и преподавателей кафедры русского языка МОПИ им. Н. К. Крупской: «Не подлежит сомнению тот факт, что орфографический образ любого слова и любой его формы имеет для нас определенное эстетическое содержание, которое активно воздействует на языковое сознание всех пишущих и читающих. Эстетическое содержание орфографических образов — это не что иное, как вызываемое ими представление о „правильности" грамматической формы данного языка, подтвержденного „правильностью" его произношения». И далее: «Наша орфография не нуждается ни в каких коренных реформах и искусственных изменениях» [21]. Я затрудняюсь сказать, насколько «Предложения», действительно, разрушают эстетическое содержание орфографических образов, так как я не понимаю, что это такое, но могу с полной уверенностью сказать, что с лингвистической точки зрения в «Предложениях» нет ничего такого, что вызывало бы опасения за судьбы «языкового сознания всех пишущих и читающих» по-русски.

С научной точки зрения степень радикальности не может свидетельствовать ни о преимуществах, ни о недостатках того или иного проекта реформы, но если говорить о количественной мере радикальности, то по расчетам Р. М. Фрумкиной и Т. С. Ходорович [22] изменения, рекомендуемые «Предложениями», коснутся в десятки раз меньшего количества слов в тексте, чем при реформе 1918 г. Последняя же, как известно, не нанесла никакого ущерба ни русскому языку, ни русской культуре. Нельзя согласиться с тем, что «Предложения» несопоставимы с реформой 1918 г.[23]. Я не вижу, чем принципиально отличается отмена написаний *-аго*, *-ыя*, *онѣ* от отмены написаний буквы ь после шипящих в существительных женского рода или в повелительном наклонении, которая предусматривается «Предложениями».

В социальном аспекте важным является вопрос о том, к о м у нужна реформа, на кого она должна быть рассчитана. Некоторые участники обсуждения обратили внимание на то, что реформа должна иметь в виду не только школьников и не только пишущих, но и читающих. М. В. Ушаков, автор известных работ по преподаванию русского правописания, так и назвал свою заметку о реформе — «Учимся годы, читаем всю жизнь» [24]. И. М. Дьяконов пишет: «Молодое поколение учится грамоте из книг, которые оно читает, с вывесок, из писем, из документов, которые пишут взрослые, наконец, из газет». И далее: «Читать книги, напечатанные по столь отличающейся „старой" орфографии, будет трудно... и в результате будут рваться нити, связывающие новые поколения со старой русской литературной традицией» [25]. Что касается последних слов, то они безусловно несправедливы. Разве реформа подразумевает прекращение переиздания старых литературных произведений? Разве тиражи изданий русских классиков, вышедших после реформы 1918 г., не превышают во много раз тиражи дореволюционных изданий? В отношении же трудностей для читающего мой личный опыт не совпадает с личным опытом И. М. Дьяконова, но, конечно, никакой доказательной силы это не имеет. Только специальные эксперименты могут дать основание для объективных суждений. Показательно, однако, то, что, идет ли речь об усвоении орфографии или о ее реформе, всегда говорят почти только о пишущих, и главным образом о тех, кто еще только учится писать. Это и понятно: грамотным реформа, в общем, не нужна, а для многих миллионов будущих школьников рациональная орфография это огромное благо.

Вопрос о том, нужно ли учитывать интересы грамотных, остается открытым, но нельзя не вспомнить следующих слов Д. Н. Ушакова, больше чем многие другие ученые занимавшегося русской орфографией: «Но как только мы оставим обучающихся письму и обратимся к вполне уже грамотным, то увидим, что ни неточности, ни непоследовательности правописания не затрудняют грамотного ни в письме, ни в чтении» [26].

---

[21] «За разумное усовершенствование орфографии — против грубых искажений морфологической системы и звукового строя русского языка», «Р. яз. в шк.», 1964, 6, стр. 20.

[22] Р. М. Фрумкина, Т. С. Ходорович, Некоторые количественные оценки предполагаемой реформы орфографии, «Р. яз. в шк», 1964, 3.

[23] И. Дьяконов, Какой должна быть орфографическая реформа?, «Новый мир», 1967, 11.

[24] М. В. Ушаков. Учимся годы, читаем всю жизнь, «Р. яз. в шк.», 1963, 6.

[25] И. Дьяконов, указ. соч., стр. 282.

[26] Д. Н. Ушаков, Русское правописание, М., 1911, стр. 68.

Некоторые участники дискуссии говорили и о том, что при реформе правописания следует помнить и о многих национальностях Советского Союза, для которых русский язык является языком межнационального общения и которые изучают русский язык в значительной степени через письмо, а также и об иностранцах, изучающих русский язык. Об этом писали и ученые-лингвисты, и учителя русского языка, главным образом, национальных школ. Как бы ни расценивать это пожелание, с лингвистической точки зрения оно едва ли выполнимо, так как конкретные интересы носителей разных языков могут очень существенно расходиться, особенно в отношении усвоения произносительных норм. Правда, в некоторых случаях (в частности, ь после шипящих), как указывают В. М. Жирмунский, Д. Э. Розенталь [27] и др., написание может помочь иноязычным учащимся. Все же, очевидно, прав Т. Ф. Магнер (США), который пишет: «Если усовершенствованная орфография будет удовлетворять самих русских, она должна удовлетворить и всех остальных» [28].

Из собственно лингвистических общих вопросов реформы одно из центральных мест в обсуждении занял вопрос об основном принципе русского правописания. Некоторые авторы считали, что «этот вопрос является не формальным, сугубо терминологическим..., а вопросом существа дела, так как при определении ведущего принципа даже само его наименование делает логический акцент на важнейшем, ведущем, определяющем звене орфографической системы» [29]. При всей справедливости этих слов приходится констатировать, что с точки зрения существа дела многие споры, имевшие место в печати, были плодом терминологических недоразумений. Почти все или по крайней мере огромное большинство высказавшихся по поводу предполагаемой реформы стоят за то, чтобы в случаях типа *вода*, *вод* написание корня было одинаковым и основывалось на том составе фонем, который он имеет в позициях максимального различения. Считать ли при этом, что и состав фонем корня в таких случаях один и тот же, или что в нем представлены члены одного фонемного ряда или, наконец, что в корне происходит позиционно обусловленное чередование фонем, это никак не скажется на том предписании, которое будет дано пишущим в соответствующем орфографическом правиле, и можно утверждать, что правило это основывается на одном принципе.

Как известно, этот принцип назывался в начале нашего века этимологическим, потом его стали называть также и словопроизводственным и морфологическим и, наконец, в работах представителей московской фонологической школы в соответствии с их применением термина «фонема» — фонематическим [30].

Противопоставляя фонематический принцип морфологическому, сторонники первого говорят, будто бы мофологический принцип требует только единого написания морфем без указания на то, какой именно фонемный состав этой морфемы избирается для единого написания. Однако такого понимания морфологического принципа, в соответствии с которым можно было бы писать *вот* и *вота* вместо *вод* и *вода*, мы не найдем ни у одного из его сторонников. А. Н. Гвоздев, правда, пишет: «.... русская орфография построена на морфологическом принципе, сущность которого сводится к тому, что значимые части слов (морфемы) сохраняют на письме единое обозначение», но автор на этом не ставит точки, а продолжает: «несмотря на то, что в произношении они имеют меняющийся звуковой вид в зависимости от изменения фонетических условий, в которых оказываются составляющие их звуки». И далее: «При этом буквенный состав передает фонетический состав морфем отдельно для каждого звука в наиболее дифференцированном его положении: гласные наиболее дифференцированы под ударением, согласные — в положении перед гласными и сонорными» [31].

Все сказанное заставляет признать, что различение фонематического и морфологического принципов является надуманным, не соответствующим чему-либо объективно существующему. Это доказывается, между прочим, тем, что по И. С. Ильинской и В. Н. Сидорову фонематические написания составляют в текстах 96%, а по А. Н. Гвоздеву те же 96% составляют морфологические написания.

К сожалению, как известно, название «морфологический» стало употребляться в новом смысле, а именно, для обозначения случаев применения специальных сигналов, указывающих грамматическую категорию. «В термине „морфологический принцип" оказываются, таким образом, совмещенными два омонима»,— пишет В. Ф. Ива-

---

[27] В. М. Жирмунский, К вопросу о русской орфографии, ИАН ОЛЯ, 1965, 1; Д. Э. Розенталь, Взвесим «за» и «против», «Р. яз. в шк.», 1964, 6.

[28] «Обзор статей и писем», «Р. яз. в шк.», 1964, 4, стр. 108.

[29] В. Ф. Иванова, Развитие теории русской орфографии в трудах советских лингвистов, «Развитие русского языка после Великой Октябрьской социалистической революции», Л., 1967, стр. 149.

[30] И. С. Ильинская, В. Н. Сидоров, Современное русское правописание, «Уч. зап. [Моск. гор. пед. ин-та им. В. П. Потемкина]», XXII, 1952.

[31] А. Н. Гвоздев, Основы русской орфографии, М., 1951, стр. 8.

нова [32]. Действительно, в принципе, охарактеризованном выше, нет ничего общего с тем, под которым подразумеваются сигнализирующие написания. Поэтому, когда наименование «морфологический» употребляют недифференцированно, как это делали некоторые участники дискуссии (см.: например, статью Б. В. Горнунга [33]), то это совсем запутывает картину.

В отношении наименования «фонематический» следует, во-первых, напомнить следующее соображение Н. С. Рождественского: «Однако назвать нашу орфографию фонематической было бы односторонне. Дело в том, что на тождестве фонемного ряда покоится тожество морфемы... Поэтому, определяя нашу орфографию как фонематическую, мы одновременно должны назвать ее морфологической» [34]. Во-вторых, как правильно заметила В. Ф. Иванова, «последовательно фонематической нашу орфографию можно было бы считать, если бы мы писали: 1) не только *село*, но и *полé*», и т. д. [35]. В-третьих, неясно, как квалифицировать написания, в которых буква соотносится не с фонемой, а с гиперфонемой. Можно ли считать фонематичным написание слов *вот*, *стол*, *собака*, если фонемная отнесенность последнего согласного в первом слове, первого согласного во втором слове и первого гласного в третьем не может быть определена. Если учесть, что таких слов в русском языке множество, то правильно ли называть основной принцип русской орфографии фонематическим?

По существу вопроса почти все участники дискуссии стоят за сохранение в качестве ведущего ныне существующего основного принципа; за желательность перехода к фонетическому принципу высказались единицы. Многие считают, что, оставляя прежним основной принцип, нужно сохранить также и принятые сейчас в русской орфографии «грамматические сигналы». В отмене их некоторые видят даже покушение на русский язык. Так, имея в виду отмену написания ь после шипящих, М. А. Соколова пишет: «В угоду фонетическому и фонематическому принципам, составители „Предложений" покушаются на грамматику языка, на его стройную и совершенную систему» [36].

В дополнение к тому, что писала в упомянутой выше статье И. С. Ильинская, я считаю необходимым еще раз подчеркнуть, что защитники грамматических сигналов требуют, по существу, не того, чтобы письмо адекватно отражало язык, а того, чтобы оно содержало элементы, отсутствующие в языке. В самом деле, требуют сохранить написание ь в повелительном наклонении, независимо от характера согласного, якобы для сохранения единства выражения этой грамматической категории. Однако в русском языке такого единства, как известно, вовсе нет; повелительная форма образуется либо при помощи суффикса (*-i*), (например, /s'id'i/ *сиди*), либо в виде чистой основы, совпадающей с основой настоящего времени, без особого суффикса (например: /gul'aj/ *гуляй*, /s'at'/ *сядь*, /ješ/ *ешь*, /l'ak/ *ляг*).

По-иному аргументируют необходимость грамматических сигналов некоторые противники написаний типа *огурци*; говорят, что они нарушают парадигматические связи (Б. В. Горнунг, М. А. Жовтобрюх, В. М. Русановский, Д. Э. Розенталь) [37]. Б. В. Горнунг считает, что написания «*птици*, *овци* потребуют форм *птицей*, *овцей* вместо *птиц*, *овец* в родительном падеже множественного числа» [38]. Но разве в морфологии русского языка существует обязательная взаимнооднозначная связь между формами именительного и других падежей? Отнюдь нет; ср. *облакá* — *облаков*, но *зеркалá* — *зеркал*; *юски* — *юсков*, но *сапоги* — *сапог*.

Итак, я сказал бы, что если бы сторонники рассматриваемой точки зрения прямо говорили о необязательности для письма отражать язык (а это фактически и заключено в их высказываниях), о независимости письменных парадигм, то спорить с ними было бы трудно. В той же форме, в которой они выражают свои взгляды, последние не выдерживают критики.

Обратимся теперь к характеристике «Предложений». Прежде всего надо сказать, что суждение о приемлемости или неприемлемости того или иного правила целиком зависит от решения тех общих вопросов, о которых речь шла выше. Так, отмена сигнализирующих написаний должна была бы быть отвергнута, если бы оказалось что для читающих они имеют существенное значение, или что целесообразно учитывать интересы иноязычных и т. п. Поэтому здесь речь будет идти в основном не об отдельных пра-

---

[32] В. Ф. Иванова, Современный русский язык, М., 1966, стр. 101.

[33] Б. В. Горнунг, Об основном принципе русского правописания, ВЯ, 1967, 2.

[34] Н. С. Рождественский, Свойства русского правописания как основа методики его преподавания, М., 1960, стр. 58.

[35] В. Ф. Иванова, О морфологическом принципе русского правописания, «Р. яз. в шк.», 1964, 3, стр. 10.

[36] М. А. Соколова, К предстоящей реформе орфографии, «Р. яз. в шк.», 1964, 1.

[37] М. А. Жовтобрюх, В. М. Русановский, Обсуждение «Предложений по усовершенствованию русской орфографии», ВЯ, 1964, 6; Д. Э. Розенталь, указ. соч.

[38] Б. В. Горнунг, указ. соч., стр. 79.

вилах, которые будут затрагиваться лишь попутно, а об общей лингвистической характеристике «Предложений».

До их появления в свет в литературе о правописании обращались к бодуэновской общей теории письма, единственной, насколько мне известно, в языковедении вообще. О ней писал, разумеется, Л. В. Щерба, писал и в специальной книге о русском правописании Н. С. Рождественский. Авторы «Предложений», а также и участники дискуссии за исключением, кажется, одной В. Ф. Ивановой, ей не уделяли внимания. Вместе с тем эта теория, несомненно, может помочь вскрыть внутренний лингвистический смысл предложенных орфографической комиссией изменений, которые касаются всех установленных Бодуэном аспектов письма: и алфавита, и графики, и орфографии.

Что касается алфавита, то изменения в нем сводятся только к исключению буквы ъ, которая используется сейчас как разделительный знак. Это, однако, не избавляет от необходимости сохранить в видоизмененном виде орфографическое правило, поскольку противопоставление твердых и мягких согласных в определенных случаях, перечисленных в правиле 1, все же имеется. Если стремиться к полной унификации, то, вероятно, целесообразнее, как предлагает В. М. Жирмунский, использовать в качестве разделительного знака апостроф.

В графике сохраняется слоговой принцип, а общая тенденция предлагаемых изменений состоит в том, что правилам графики в ряде случаев придается более обобщенное значение, что делает ненужными связанные с ними дробные правила орфографии. Например, отмена написания ь после шипящих означала бы, с точки зрения графики, что эта буква употребляется только как знак мягкости согласного и притом только в тех случаях, где имеется соответствующее противопоставление, т. е. кроме положения после ч. Одновременно оказались бы лишними орфографические правила о том, в каких словах или грамматических формах ь пишется или не пишется.

Такой же смысл, по мысли авторов, должно было бы иметь написание *и* после *ц*; тогда соответствующее правило графики могло бы звучать так: «После согласных, непарных в отношении твердости—мягкости, всегда пишется *и*, а не *ы*». В данном случае также стали бы ненужными специальные правила орфографии о написании *и* или *ы* после *ц*. Однако здесь дело обстоит сложнее, чем и объясняется почти единодушный протест против предложенного нововведения. Последнее основывается на том, что *-ы* не является отдельной от *-и* морфемой (окончанием множественного числа), а это противоречит интуиции носителей русского языка, в котором *и* и *ы* надо вслед за Л. В. Щербой считать разными фонемами [39]. Ввиду морфологической самостоятельности *ы*, надо было бы, если вводить в остальных случаях написание *ци*, сделать оговорку по крайней мере для окончаний множественного числа. В этом случае отменять орфографическое правило и заменять его единообразным графическим едва ли целесообразно.

В орфографическом аспекте большинство правил, предлагаемых комиссией, направлено на расширение морфологического принципа. Таково правило о написании *-инск-*, если это суффикс прилагательного (например, *пензинский*), и *-енск-* только в тех словах, где *-ен-* не входит в суффикс прилагательного (например, *коломенский*). К правилам такого рода относится также унификация написания суффикса *-ец-* в существительных среднего рода, а также и упразднение написания удвоенного *н* в прилагательных с суффиксом *-ян-*, *-ан-* и т. п.

Наряду с этим в «Предложениях» имеются рекомендации, нарушающие морфологический принцип. К ним относится, например, правило о написании *о* или *е* после шипящих в одной и той же морфеме в зависимости от места ударения (*жолтый*, но *желтеть*). Предлагаемое правило не является и чисто графическим, так как оно предусматривает исключения для слова *еще* и некоторых заимствований.

Особую группу составляют изменения, имеющие чисто орфографический характер. Они касаются написаний, определяемых только смыслом или грамматикой и не связанных с вопросом о передаче на письме фонем и их сочетаний, а потому и не имеющих графического аспекта. Это — изменения в правилах раздельного или слитного написаний, а также и правила пунктуации.

В критике этих изменений высказывались различные, часто противоречивые мнения, к которым можно было бы добавить еще какие-нибудь доводы, но строгая аргументация здесь весьма затруднена. Дело в том, что соответствующие правила связаны с такими сложными и неразрешенными вопросами, как вопрос о границах слова, о связи интонации с синтаксисом и др.

Подводя некоторые итоги, я хотел бы сказать следующее. В дискуссии по поводу «Предложений» было высказано много ценных соображений и немало справедливых упреков; тем не менее из общей характеристики «Предложений» видно, что нет лингвистических оснований для того, чтобы их целиком отвергнуть. Почему же нападки на «Предложения», представленные Орфографической комиссией, полностью парализовали ее деятельность? Ответ на это надо искать в недостаточной разработанности общих вопросов реформы орфографии как в лингвистическом, так и в социальном аспекте.

[39] См. указанные статьи В. М. Жирмунского и С. А. Копорского.

Орфографическая комиссия не могла опереться на социолингвистические и психолингвистические эксперименты, которые подтвердили бы необходимость реформы, ее своевременность и определили бы, на кого она должна быть рассчитана. Таких экспериментов, к сожалению, никто не проводил.

Во время дискуссии раздавались голоса о том, что реформы письма проводятся у нас слишком часто. Это действительно так, но объясняется это, очевидно, тем, что каждая реформа оставляла заведомо непоследовательные правила, а главное то, что ни одна из них не могла опереться на общую теорию письма. Разработка теории звукового письма как оптимального кода для плана выражения языка должна быть признана необходимым условием для установления рационального письма отдельных языков. только на основании строгой общей теории можно говорить о предпочтении того или иного принципа, о преимуществе именно данного, а не другого правила.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 6 1969

Л. Н. БУЛАТОВА

ЕЩЕ РАЗ ОБ ОСНОВНОМ ПРИНЦИПЕ РУССКОЙ ОРФОГРАФИИ

(По поводу статьи Б. В. Горнунга)

Статья Б. В. Горнунга «Об основном принципе русского правописания», появившаяся во втором номере журнала «Вопросы языкознания» за 1967 г., посвящена вопросам, которые приобрели широкий общественный интерес в связи с деятельностью комиссии по усовершенствованию русской орфографии и опубликованием ее предложений в 1964 г. В своей статье Б. В. Горнунг рассматривает теоретические вопросы, дебатировавшиеся в ходе орфографической дискуссии 1964 г., разбирает некоторые рекомендации комиссии, вызвавшие бурные споры — все это безусловно привлечет к статье Б. В. Горнунга внимание широкого круга читателей, а научная репутация органа, опубликовавшего статью, и разносторонняя эрудиция автора обеспечат авторитетность положений этой статьи для многих читателей-неспециалистов. Поэтому нельзя оставить без внимания многочисленные противоречия и неясности в рассуждениях автора, превратное изложение им противной точки зрения.

В своей статье Б. В. Горнунг спорит с учеными, считающими, что в основе русской орфографии лежит фонематический принцип (хотя и не вполне последовательно проведенный), и противопоставляет им утверждение, что основным принципом русской орфографии является морфологический принцип. Рассмотрим его аргументацию.

Б. В. Горнунг не приводит прямых доводов против фонематической интерпретации основных правил русской орфографии, выдвинутой в работах Р. И. Аванесова, В. Н. Сидорова, И. С. Ильинской и М. В. Панова [1]. Его полемика с этими учеными строится в основном на двух положениях: 1) на утверждении, что в лингвистике нет единого определения фонемы и поэтому нет точных критериев для разграничения фонематических и нефонематических написаний; 2) на утверждении нетождественности фонематического и морфологического принципов правописания, что для Б. В. Горнунга, принимающего морфологический принцип русского правописания как аксиому, равнозначно отрицанию фонематического принципа.

Начнем с первого аргумента. Замечание Б. В. Горнунга о том, что у лингвистов нет единого понимания фонемы и что поэтому не может быть объективного критерия для разграничения фонематических и нефонематических написаний (если считать этот довод состоятельным), может быть обращено и против утверждения самого автора о морфологическом принципе русской орфографии: у лингвистов не существует единого понимания морфемы [2] и поэтому нельзя выдвинуть объективный критерий для разграничения написаний, соответствующих и несоответствующих морфологическому принципу. Но на самом деле этот довод в обоих случаях является несостоятельным. Ни разнобой в определении фонемы, ни разнобой в определении морфемы не препятствуют тому, чтобы говорить о фонематическом или морфологическом принципах — лишь бы лица, формулирующие эти принципы, употребляли эти понятия однозначно. Естественно, что и их оппоненты в своей полемике должны исходить из того же понимания терминов.

Сторонники фонематического принципа русской орфографии исходят из совершенно определенного понимания фонемы, сформулированного в работах представителей

---

[1] См.: Р. А в а н е с о в, В. С и д о р о в, Реформа орфографии в связи с проблемой письменного языка, «Русский язык в советской школе», 1930, 4; И. С. И л ь и н с к а я, В. Н. Сидоров, Современное русское правописание «Уч. зап. [Моск. гор. пед. ин-та им. В. П. Потемкина]», XXII. Кафедра русск. языка, 2, 1953; М. В. П а н о в, Об усовершенствовании русской орфографии, ВЯ, 1963, 2; е г о ж е, И все-таки она хорошая! (рассказ о русской орфографии, ее достоинствах и недостатках), М., 1964. Б. В. Горнунг полемизирует с первой, второй и четвертой работами этого списка.

[2] Ср. разное понимание морфемы у Л. Ельмслева («Пролегомены к теории языка», сб. «Новое в лингвистике», I, М., 1960), в работах дескриптивной школы (см.: Г. Г л и с с о н, Введение в дескриптивную лингвистику, М., 1959), в традиционной грамматике (см.: Р. И. А в а н е с о в, В. Н. С и д о р о в, Очерк грамматики русского языка, М., 1945).

московской фонологической школы [3]. Именно фонологическая теория московской школы, различающая позиционные варианты и вариации, дала возможность объяснить устройство современной русской орфографии более точно и компактно, чем это могли сделать ученые, вынужденные (до появления фонологии) оперировать только понятиями фонетического и морфологического принципов [4]. До появления понятия фонемы (в том смысле, который придает ему московская школа) и ее позиционных вариантов нельзя было в общем виде сформулировать соотношение фонетического (пиши, как слышишь) и морфологического (сохраняй единое написание морфемы) принципов в русском правописании и установить границы их действия (независимо от того, шла ли речь о существующей орфографии или о путях ее усовершенствования). Фонологическая теория московской школы позволила компактно и непротиворечиво объяснить основные правила русской орфографии как правила, основанные на фонематическом принципе, а также более объективно оценить, что́ в русской орфографии является рациональным и что нерациональным. Отсюда возникла идея руководствоваться фонематическим принципом и в практической деятельности по нормализации и усовершенствованию орфографии.

Р. И. Аванесов, В. Н. Сидоров, И. С. Ильинская и М. В. Панов, с которыми полемизирует в своей статье Б. В. Горнунг, исходят из фонологической теории московской школы. Разграничение фонематических и нефонематических написаний в их работах, в частности в статье И. С. Ильинской и В. Н. Сидорова [5], которые производят подсчеты тех и других написаний в текстах, базируется на фонематической системе русского литературного языка в интерпретации московской фонологической школы.

Таким образом, ссылка Б. В. Горнунга на разнобой в определении фонемы представителями разных научных школ не может быть аргументом против фонематической теории русского правописания, базирующейся на вполне определенном понимании фонемы и фонематической системы языка.

Если в первой части своей статьи Б. В. Горнунг ставит под сомнение объективную ценность разграничения фонематических и нефонематических написаний в статье И. С. Ильинской и В. Н. Сидорова, потому что не существует единого определения фонемы, то во второй части он критикует это разграничение уже с другой точки зрения. Б. В. Горнунг критикует И. С. Ильинскую и В. Н. Сидорова за то, что они не учитывают новейших достижений фонологии и морфологии, таких как различение морфемы и морфа, морфа и субморфа, введение понятий алломорфа и аллофона, выделение морфонологии как особой дисциплины и т. д. Б. В. Горнунг считает, что без учета всего этого нельзя проводить разграничение фонематических и нефонематических написаний, однако он не объясняет, почему необходимо все это учитывать: какие орфографические проблемы, не получившие разрешения в рамках московской фонологической теории, могут быть успешно решены с применением этих понятий, а потому его упреки И. С. Ильинской и В. Н. Сидорову в схематичности и даже примитивности их анализа остаются необоснованными.

Иллюстрация, которую Б. В. Горнунг приводит, чтобы показать схематичность фонематического анализа И. С. Ильинской и В. Н. Сидорова, не использующих понятий аллофона и алломорфа, обнаруживает нечеткость соответствующих представлений самого автора.

Говоря об отношении звуков [и] и [ы], Б. В. Горнунг соглашается или по крайней мере не возражает против того, чтобы относить эти звуки к одной фонеме. Он только упрекает И. С. Ильинскую и В. Н. Сидорова в том, что они считают эти звуки позиционными вариантами, а не аллофонами: «Их нельзя считать только „позиционными вариантами" одной фонемы, потому что данный случай не идентичен, например, случаю с различением закрытого и открытого *е*, которые не могут встречаться в русском языке в одинаковой позиции и не подводимы под понятие „аллофона"» (стр. 78).

Это утверждение и нелогично и неверно по существу. Во-первых, аллофоны нельзя противопоставлять позиционным вариантам, так как они являются членами разных терминологических систем, причем их значение перекрещивается. Во-вторых, если Б. В. Горнунг не признает позиционной обусловленности звуков [и] и [ы], то на каком же основании он считает (или по крайней мере допускает), что [и] и [ы] представляют одну фонему? На самом деле [и] и [ы] также не могут встречаться в русском языке в одинаковой позиции, как [е] и [ê]. Однако на письме [и] и [ы] различаются, а [е] и [ê] не различаются. Это объясняется тем, что благодаря слоговому характеру нашего письма две буквы (*и* и *ы*) нужны для обозначения мягкости предшествующих согласных (как это и трактуется в статье И. С. Ильинской и В. Н. Сидорова).

Далее Б. В. Горнунг утверждает, что анализа фонематических отношений недостаточно для решения вопроса о выборе написаний с *ы* или *и* после шипящих и *ц*. Этим

[3] См.: Р. И. Аванесов, В. Н. Сидоров, указ. соч., а также: П. С. Кузнецов, Об основных положениях фонологии, ВЯ, 1959, 2.

[4] Историко-этимологический принцип объясняет не основные правила правописания, а отклонения от них.

[5] И. С. Ильинская, В. Н. Сидоров, указ. соч.

может определяться только написание корней. Для окончаний же нужно учитывать, что *-и* и *-ы* в им. падеже мн. числа могут быть разными морфемами (например, *сугробы*, *голуби*), что подтверждается их принадлежностью к разным парадигмам (ср. *сугробы — сугробов* и *голуби — голубей*). Согласно такому критерию, Б. В. Горнунг считает, что флексия *-и* у существительных с основой на задненебный согласный (*старики*) «является алломорфом не реализуемой в современном языке в определенных позициях морфемы *ы*», а «в формах *ножи*, *малыши* произносимое здесь *и* является алломорфом морфемы *и*» (стр. 79). Отсюда делается вывод, что различие в написаниях *малыши* (с *и*) и *огурцы* (с *ы*) оправдано различием соответствующих морфем.

Это рассуждение можно опровергнуть тем, что звуки [и] и [ы] являются вариантами одной фонемы (или аллофонами) и будучи обусловлены фонетической позицией (твердостью или мягкостью предшествующего согласного) не могут различать единицы высшего — морфологического — уровня (будь то морфемы или алломорфы) [6].

Перейдем теперь к тем аргументам против фонематического принципа русской орфографии, которые у Б. В. Горнунга опираются на утверждение нетождественности фонематического и морфологического принципов орфографии. Предварительно отметим, что научным противникам — сторонникам фонематического принципа — Б. В. Горнунг приписывает отождествление фонематического и морфологического принципов, которого нет и не может быть в их работах. Введение Р. И. Аванесовым и В. Н. Сидоровым понятия фонематического принципа как основного принципа русской орфографии и дальнейшая разработка этого вопроса в работах И. С. Ильинской, В. Н. Сидорова и М. В. Панова не имели бы никакого смысла, если бы фонематический принцип, по мнению этих авторов, был бы тождествен морфологическому.

Заблуждение Б. В. Горнунга еще можно понять в отношении статьи Р. И. Аванесова и В. Н. Сидорова «Реформа орфографии в связи с проблемой письменного языка», в которой фонематический принцип условно называется морфологическим: «Передавая фонемы, а не звуки, фонологическое письмо осуществляет единство в написании морфемы. Благодаря этому фонологический принцип обычно называют морфологическим»,— пишут авторы [7] и добавляют, что они будут пользоваться термином «морфологический принцип» как синонимом «фонематического принципа», ввиду общепринятости первого термина. Однако они оговариваются, что название «морфологический» «не вполне точно, так как единство в написании морфемы является результатом единства написания фонемы» [8]. Эта оговорка показывает, что Р. И. Аванесов и В. Н. Сидоров не отождествляют фонематического и морфологического принципов, хотя и пользуются условно термином «морфологический» в значении «фонематический».

Что же касается статьи И. С. Ильинской и В. Н. Сидорова «Об основном принципе русского правописания», то в ней вообще не говорится о морфологическом принципе. Справедливо полагая, что в основе звукового письма может лежать один из двух принципов — фонетический или фонематический, потому что только эти принципы устанавливают определенное соотношение между звуками и буквами, И. С. Ильинская и В. Н. Сидоров рассматривают вопрос о том, какой из этих двух принципов лежит в основе русской орфографии, и решают его в пользу фонематического принципа. При этом они подчеркивают, что фонематический принцип обеспечивает единство написания морфем, что отмечалось и в статье Р. И. Аванесова и В. Н. Сидорова, но это вовсе не означает отождествления фонематического и морфологического принципов.

И, наконец, М. В. Панов в статье «Об усовершенствовании русской орфографии», на которую Б. В. Горнунг почему-то не ссылается, прямо пишет «о незаконном отождествлении фонематического принципа с морфологическим» [9]. «Фонематический принцип почти всегда ведет к тому, что морфема передается в единообразном графическом облике, поэтому часто фонематический принцип называют морфологическим. Это отождествление оправдывает себя в учебниках, научно-популярной литературе, однако отождествление этих двух принципов в научных работах приводит к тяжелым ошибкам»,— пишет М. В. Панов [10]. Хотя М. В. Панов и допускает в качестве упрощения отождествление фонематического и морфологического принципов в научно-популярной литературе, сам он их нигде не отождествляет. В своей научно-популярной книжке

[6] Соблазнительно показать, что рассуждение Б. В. Горнунга об окончаниях *-и* и *-ы* не только неправильно из-за неверного понимания фонологических отношений звуков [и] и [ы], но настолько противоречиво, что при любых исходных данных оно окажется несостоятельным. Однако это заняло бы слишком много места. Отметим лишь, что, квалифицируя *-и* и *-ы* в им. падеже мн. числа как разные морфемы на основе их позиционной необусловленности, автор далее рассуждает о единстве морфемы в словоформах *малыши* и *мужики*, исходя из позиционной обусловленности [и] и [ы].

[7] Р. И. Аванесов, В. Н. Сидоров, указ. соч., стр. 113. Б. В. Горнунг, излагая это место, выпускает слова «фонологическое письмо осуществляет единство в написании морфемы», благодаря чему высказывание авторов теряет смысл.

[8] Там же.

[9] М. В. Панов, Об усовершенствовании русской орфографии, стр. 85.

[10] Там же, стр. 84.

«И все-таки она хорошая!» М. В. Панов раскрывает различие между морфологическим и фонематическим принципами правописания [11]. Он убедительно показывает недостаточность морфологического принципа для обоснования основных правил русской орфографии: морфологический принцип может объяснить единство написания одной и той же морфемы при разном произношении этой морфемы в разных словах или в разных формах одного слова, но морфологический принцип не может определить, каким должно быть это написание. Исходя из морфологического принципа, нельзя понять, почему одни звуковые чередования передаются на письме (например, *муха — мушка*, а не *муха — мухка*), а другие не передаются (например, *сады — сад*, а не *сады — сат*). Зато и то и другое легко объясняется исходя из фонематического принципа: 1) на письме передается фонемный состав морфемы; 2) на письме не отражаются позиционные варианты фонем, а чередование фонем в морфемах отражается на письме [12].

Б. В. Горнунг не отвечает на эти доводы. Более того, несмотря на отчетливое разграничение фонематического и морфологического принципов в научно-популярной книжке М. В. Панова, Б. В. Горнунг приписывает ему отождествление фонематического и морфологического принципов, а затем критикует его за то, что «отождествление „фонемного" принципа с морфологическим у данного автора теоретически ни на чем не основано и является только полемическим приемом» (стр. 75).

Избегая полемики по существу вопроса, Б. В. Горнунг пытается убедить читателей в том, что в основе русской орфографии лежит морфологический принцип, примерно такой цепью силлогизмов: лет 50 назад (т. е. когда произошла реформа правописания) о фонематическом принципе правописания никто не думал, а основным принципом правописания считался морфологический; реформаторы нашей орфографии были далеки от идей фонологии и руководствоваться этими принципами не могли; следовательно, и в основе современной орфографии лежит морфологический принцип, а так как фонематический (или фонемный) принцип не тождествен морфологическому, то он не может считаться основным принципом русской орфографии (ср. подытоживающее утверждение Б. В. Горнунга об основном морфологическом принципе русского правописания, «вовсе не тождественном с „фонемным принципом", которого и в помине не было при проведении реформы 1917 г.», стр. 81).

Подобный ход рассуждения возможен только благодаря смешению таких понятий, как основной принцип орфографии в смысле реальной закономерности, лежащей в основе этой орфографии и не зависящей от уровня лингвистических знаний исследователя, и принцип описания этой закономерности, зависящий от точки зрения лингвиста и от уровня лингвистических знаний в тот или иной период, а также принцип, которым реформатор орфографии сознательно руководствуется в своей практической деятельности. Эти принципы не всегда тождественны.

Фонематический принцип мог быть основным принципом русской орфографии, когда фонологическая теория еще не существовала, так же как атом состоял из элементарных частиц и тогда, когда он считался неделимым. Фонематическая теория русского правописания не изобрела новый принцип правописания, а по-иному объяснила устройство уже существующей орфографии. Творцы реформы 1917 г., как бы они сами ни понимали смысл вносимых ими изменений, реально содействовали усилению фонематичности нашей орфографии, что мы постараемся показать на примере с *ѣ*.

Как сказалось упразднение *ѣ* на характере орфографии? Усилило ли оно позицию морфологического принципа? Нет, написания с *ѣ* нисколько не противоречили морфологическому принципу. Единообразие написания морфем после упразднения *ѣ* не увеличилось и не уменьшилось (ср. *бѣлый, бѣлить, бѣлизна* и *белый, белить, белизна*); так что это изменение было безразличным по отношению к морфологическому принципу, как он обычно понимается. Если же включить в это понятие грамматические сигналы, как это делает Б. В. Горнунг, то упразднение *ѣ* их даже ослабило (ср. *в полѣ* — предл. падеж, *в поле* — вин. падеж до реформы и *в поле* — предл. и вин. падежи после реформы), на что тогда же указывали противники реформы [13]. Следовательно, упразднение *ѣ* было осуществлено не в интересах морфологического принципа.

Те, кто считают, что упразднение *ѣ* было произведено в соответствии с фонетическим принципом правописания (потому что была упразднена буква, обозначающая исчезнувший звук), должны задуматься над тем, почему разные звуки, произносящиеся на месте *ѣ* (например, три разных звука в приведенных выше словах: *б'ѣлъй, б'и^{е}л'ит'*,

[11] М. В. Панов, И все-таки она хорошая!, стр. 110—120.

[12] Знаменательно, что сторонники морфологического принципа, описывая систему орфографии, также вынуждены прибегать к более или менее явным фонологическим объяснениям. Имеется в виду понятие опорных написаний, которое по существу является фонологическим. Опорные написания передают фонемы, находящиеся в сильном положении (см., например: А. Н. Гвоздев, Основы русской орфографии, М.— Л., 1947; В. Ф. Иванова, Современный русский язык. Графика и орфография, М., 1966).

[13] См.: А. И. Томсон, Реформа в ущерб грамотности и правописанию, «Зап. Новороссийск. ун-та», 98, 1904.

б'ьл'изна́), мы передаем одинаково. Если считать, что уничтожение *ѣ* было продиктовано требованиями фонетического принципа, но с ограничениями, накладываемыми морфологическим принципом (писать морфемы, содержащие *ѣ*, всегда одинаково), то даже при таком объяснении (более сложном, чем фонематическое) остается неясным, почему выбрано написание с *е* (*белый, белить, белизна*), а не *и* (*билый, билить, билизна*). Между тем, написание *е* выбрано закономерно, и эта закономерность является фонематической: буква передает фонему в сильном положении (в данном случае под ударением). Упразднение *ѣ* и замена его буквой *е* объективно означали замену нефонематического написания фонематическим, что бы ни думали на этот счет те, кто упразднил *ѣ*.

Аналогично можно оценить и другие изменения, предложенные орфографической подкомиссией 1904 г. и частично реализованные реформой 1917 г. Именно это объективное значение постановлений подкомиссии 1904 г. имел в виду М. В. Панов, сказав, что они «превратили наше письмо из традиционного в фонемное» [14]. М. В. Панова можно упрекнуть в излишней категоричности (ведь и до реформы русское письмо было в значительной мере фонематичным, хотя и сильно отягощенным традиционными написаниями; с другой стороны, отдельные традиционные написания остались нетронутыми и в постановлениях подкомиссии 1904 г.), но суть постановлений подкомиссии передана в этих словах верно.

г

Морфологический принцип, который Б. В. Горнунг считает основным принципом русского правописания, формулируется им очень неопределенно. Автор приводит два возможных понимания морфологического принципа. Первое из них является общераспространенным (тождественные морфемы в разных формах одного слова и в разных словах пишутся одинаково). Второе понимание, которое Б. В. Горнунг называет более широким, формулируется им так: «написание слова исходит из морфологической структуры именно данного слова в данной его форме без обязательности тождественного написания тех же морфем в других формах того же слова и в других словах» (стр. 75).

Здесь все непонятно. Во-первых, непонятно, почему второе понимание шире, чем первое. Ведь второе понимание не включает в себя первое, но противоречит ему: согласно первому пониманию морфологический принцип требует единого написания тождественных морфем, а согласно второму пониманию допускается вариативность их написания. Во-вторых, непонятно, как может отражаться на письме морфологическая структура именно данного слова в данной форме без сохранения тождественности написания для тех же морфологических элементов в других словах или в других формах слова. Ведь морфологическая структура словоформы выявляется только в ее сопоставлении с другими словами в данной форме и с другими формами данного слова. Поэтому отражение на письме структуры данного слова может заключаться только в единообразном написании одних и тех же морфем в разных словах и в разных формах данного слова.

Примеры, которые приводит Б. В. Горнунг, ничего не объясняют: современная структура слова в них смешивается с исторической (в слове *восток* выделяется приставка), графический облик слова — с его звуковым составом. Так, написания *течот* и *идет* Б. В. Горнунг считает допустимыми с точки зрения морфологического принципа в широком понимании этого термина, потому что эти написания отражают алломорфы. Окончания в глаголах *течет* и *идет*, если иметь в виду устную форму языка (а ведь речь идет как раз о том, как орфография отражает устную форму языка), совершенно одинаковы: они имеют не только одинаковый фонемный состав, но и произносятся одинаково. При любом понимании алломорфа, существующем в науке, совершенно идентичные морфы не могут считаться алломорфами.

Существенно, что говоря о двух возможных пониманиях морфологического принципа, Б. В. Горнунг не указывает, какое же понимание обеспечивает более точное представление о характере нашей орфографии или как оба эти по существу разных принципа сочетаются в ней. Автор не только не стремится избавиться от этой неопределенности, но добавляет еще новую: «Последовательное проведение морфологического принципа системы орфографии требует в отдельных случаях (общего определения этих случаев не дается.— *Л. Б.*) введения в состав написаний таких элементов, которые можно назвать „грамматическими сигналами“» (стр. 79).

Классифицируя грамматические сигналы, существующие в нашей орфографии, Б. В. Горнунг делит их на такие сигналы, которые могут быть устранены более или менее безболезненно для морфологического принципа нашего правописания, и на такие сигналы, устранение которых привело бы к разрушению морфологического написания. К таким неустранимым сигналам Б. В. Горнунг относит написания *ночь, дочь*. Однако если устранение сигнала о роде нарушает морфологический принцип правописания, то тем самым написания *день* и *тень*, не содержащие сигнала о роде, противо-

[14] См.: М. В. Панов, И все-таки она хорошая!, стр. 128 (подпись к снимку).

речат морфологическому принципу нашего правописания. А ведь такие написания более типичны для русской орфографии, чем дифференцирующие написания *печь*, *меч*.

Морфологический принцип, как он изложен у Б. В. Горнунга, уже в силу своей неопределенности и противоречивости не может ни объяснить устройства современной орфографии, ни быть руководящим принципом в практической деятельности. Зато он может (в силу своей неопределенности) использоваться как спасительная сень для любых традиционных написаний, которые по каким-либо причинам (тактическим или психологическим) желательно сохранить.

•

В заключение надо остановиться на практической стороне вопроса. Ведь если теоретическое обоснование сохранения *ь* после шипящих на конце существительных женского рода и сохранение написания *цы* (не *ци*) в им. падеже мн. числа не убеждает, то это еще не значит, что рекомендации Б. В. Горнунга не могут быть полезны практически. Какова практическая ценность той грамматической информации, которую, согласно Б. В. Горнунгу, несут эти написания?

Прежде всего требуется разделить эти случаи. Написания типа *печь*, *меч* действительно несут грамматическую информацию (о роде существительных), которая может иметь некоторую практическую ценность, хотя ценность таких написаний гораздо меньше их неудобств. Что касается написания *цы* (не *ци*) в им. падеже мн. числа, то оно не несет никакой грамматической информации — это только иллюзия.

Разберем каждый случай отдельно.

Когда может быть полезна информация о роде, содержащаяся в написаниях типа *печь* — *меч*? Тогда, когда мы встречаем в письменном тексте незнакомое слово (информация о роде знакомого слова нам не нужна), к тому же непроизводное или с неясной морфологической структурой (иначе мы по словообразовательной модели определим род слова) [15] и обязательно в именительном или в винительном падеже и только в данной форме (формы косвенных падежей уже укажут нам тип склонения и через него род существительного), без прилагательного или другого согласуемого слова, форма которого указывает на род существительного. Такая ситуация встречается практически не слишком часто и, принимая во внимание возможность справиться о роде существительного в словаре, не стоит из-за таких случаев заставлять детей учить лишние правила.

Б. В. Горнунг не случайно выделяет топонимы как такие слова, которые мы чаще, чем другие, встречаем в указанных выше условиях (например, когда читаем карту). Дифференцирующие написания в данном случае могут оказать услугу, но они же и особенно затрудняют, когда приходится на слух записать какой-нибудь топоним. Ситуации можно придумать разные: и такие, когда дифференцирующие написания помогают, и такие, когда они мешают. Однако для грамотного человека все эти ситуации являются эпизодическими, и поэтому его интересы должны отступить перед интересами школы, для которой дифференцирующие написания являются только обузой [16].

Полезность дифференцирующих написаний типа *дочь*, *меч* для облегчения иностранцам (или советским гражданам нерусской национальности) усвоения русского языка представляется сомнительной или во всяком случае преувеличенной. Для пассивного усвоения языка (понимание текста) эти написания мало что дают. Что же касается активного усвоения языка (куда включаются и орфографические навыки), то дифференцирующие написания, помогая в одних случаях, усложняют обучение в других случаях, а именно в усвоении норм правописания, которые иностранцу даются, конечно, гораздо труднее, чем русскому школьнику.

В отношении написаний с *ци* (вместо *цы*) Б. В. Горнунг разделяет и своим авторитетом лингвиста поддерживает заблуждение тех людей, которые высказывали мнение, будто окончание *-и* в им. падеже мн. числа существительных муж. рода закономерно связано с окончанием *-ей* в род. падеже мн. числа, так что написание *огурци* повлечет за собой непременно *огурцей*. Б. В. Горнунг распространяет это даже на существительные жен. рода, считая, что написание *птици* повлечет за собой *птицей* — по аналогии с *вещи* — *вещей*. Правда, Б. В. Горнунг оговаривается, что люди, для которых русский язык родной, не станут из-за перемены написаний говорить иначе, но иностранцы попадут в трудное положение.

Непонятно, однако, почему слово *птици*, даже написанное через *и*, должно ассоциироваться со словом *вещи*, а не *тещи*, *рощи*, *кущи*, *души*, *лужи* (род. мн. *тещ*, *рощ*, *кущ*, *душ*, *луж*). Если написание *-и* закономерно связано с окончанием *-ей* в род. падеже мн. числа независимо даже от типа склонения, то как вообще могут существовать при одинаковом написании с *-и* форм *тучи*, *тещи*, *крыши*, *лужи*, *вещи*, *мыши*, *за-*

---

[15] См.: Д. Н. Богоявленский, Психология усвоения орфографии, М., 1957, стр. 242—243.

[16] См.: «Орфография и русский язык» (под ред. И. С. Ильинской), М., 1966, гл. «Орфография и школа».

лежи, печи разные формы род. падежа мн. числа: *туч, теч, крыш, луж*, но *вещей, мышей, залежей, печей*? И как учат иностранцев различать эти формы?

Прежде всего нужно отказаться от предвзятой мысли, что форма род. падежа мн. числа (на *-ов* или на *-ей*) закономерно связана с окончаниями *-и*, или *-ы* в им. падеже мн. числа. Неправильность такой закономерности, даже для существительных муж. рода, уже доказывалась наличием соотношений *мужики — мужиков*, а также *сараи — сараев, ульи—ульев* [17]. Здесь важно отметить, что рассуждение о том, что в словах *пироги, мужики -и* является алломорфом *-ы* и поэтому данная закономерность на него не распространяется, даже если бы оно было правильно, снимает практическую ценность закономерности: *-и* в им. падеже — *-ей* в род. падеже для обучения русскому языку иностранцев. Если иностранец, обучающийся русскому языку, не может ориентироваться на написание *-и* в им падеже мн. числа для образования формы род. падежа, а должен еще решать, алломорфом какой морфемы является это *-и* (определить же это, по Б. В. Горнунгу, можно только исходя из парадигмы), то такое правило теряет для него всякий практический смысл.

Но жалеть по этому поводу иностранцев не стоит, потому что им не приходится на самом деле пользоваться таким правилом. Форма род. падежа мн. числа определяется не по форме им. падежа мн. числа, а по форме им. падежа ед. числа (ср. *теща — теч, кладбище — кладбищ*, но *вещь — вещей*), причем для существительных с нулевым окончанием в им. падеже ед. числа необходимо учитывать и характер основы: окончание *-ов* имеют существительные, основа которых кончается на парный твердый согласный, задненебный, *j* и *ц*; окончание *-ей* имеют существительные, основа которых кончается на парный мягкий согласный и шипящий (исключения из этого правила изучаются словарно). Это правило удобно и тем, что оно едино и для существительных с окончанием *-и* (*-ы*) в им. падеже мн. числа и для существительных с окончанием *-á* в этой форме. Если бы использовалось (хотя бы с необходимыми оговорками) правило о зависимости формы род. падежа от написаний *-и* и *-ы* в им. падеже мн. числа, то для существительных, оканчивающихся на *-á*, (*бокá, учителя́, края́*), понадобились бы еще дополнительные правила. Естественно, что практические руководства, учебники и справочники по русскому языку для нерусских дают правила образования род. падежа мн. числа, опирающиеся на тип склонения, род и характер основы существительных [18]. Откуда же появилось представление о необходимом соотношении окончаний *-и, -ей* в парадигме мн. числа, не подтверждаемое фактами языка и не вытекающее из практики преподавания? Оно родилось в ходе дискуссии и является только полемическим приемом.

---

[17] См.: В. П. Григорьев, Обсуждение предложений по усовершенствованию русской орфографии, ВЯ, 1965, 1, стр. 71; а также: «Орфография и русский язык», стр. 35.

[18] См., например: И. М. Пулькина, Краткий справочник по русской грамматике, 6-е изд., М., 1961, табл. 19; Н. С. Рождественский, Н. И. Поспелов, Пособие для практических занятий по русскому языку в национальных педагогических вузах, М., 1954, стр. 104—105; Г. С. Ахвледиани, Учебник грамматики русского языка для грузинских школ, 5-е изд., Тбилиси, 1954, стр. 82; М. Баняевичюс, Грамматика русского языка. Фонетика и морфология, Каунас, 1947, стр. 76.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 6 1969

МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

К. ГУТШМИДТ

О РОЛИ ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКОГО ЯЗЫКА В ФОРМИРОВАНИИ СОВРЕМЕННЫХ БОЛГАРСКОГО И СЕРБСКОГО ЛИТЕРАТУРНЫХ ЯЗЫКОВ

В донациональный период славянские народы, исповедующие православие, применяли в качестве межнационального литературного языка церковнославянский (который я, вслед за Н. И. Толстым, буду называть древнеславянским литературным языком [1]), образовавшийся из древнеболгарского (старославянского) языка. Древнеславянский литературный язык, возникший на основе болгарско-македонских диалектов, был для русских и сербов языком иностранным, однако вследствие близкого родства славянских языков вполне понятным. С развитием аналитизма в грамматической структуре болгарского языка и отсутствием этого процесса в письменном языке первоначально незначительные различия между литературным древнеславянским и болгарским народным языком постепенно становятся все более ощутимыми, так что позднее, в конце среднеболгарского периода, отношение между литературным и народным языком в Болгарии в принципе было таким же, как и в России, и в Сербии. Развитие древнеславянского литературного языка продолжалось до самого конца XVIII в. (когда он из литературного языка превратился в язык культа); действие центробежных и центростремительных сил, которое приводило то к достаточно сильной унификации древнеславянского языка в сфере его применения, то к формированию отдельных его локальных типов, при сохранении, однако, инварианта древнеславянского литературного языка, показано прежде всего в работах Н. И. Толстого [2]. В результате длительного исторического развития, в процессе непрерывного взаимодействия древнеславянского и русского языков в России сформировался русский национальной литературный язык. Благодаря исследованиям А. А. Шахматова, В. В. Виноградова, Г. О. Винокура, В. Д. Левина, Б. Унбегауна и многих других в настоящее время можно считать установленным, что структура и своеобразие древнеславянского литературного языка наложили сильный отпечаток на русский литературный язык. Нет нужды подробно останавливаться на проблеме взаимоотношения древнеславянских и русских элементов в современном русском литературном языке, поскольку

---

[1] См.: Н. И. Толстой, К вопросу о древнеславянском языке как общем литературном языке южных и восточных славян, ВЯ, 1961, 1, стр. 52.

[2] Н. И. Толстой, К вопросу о древнеславянском языке...; его же, Роль древнеславянского литературного языка в истории русского, сербского и болгарского литературных языков в XVII—XVIII вв., «Вопросы образования восточнославянских национальных языков», М., 1961; его же, Взаимоотношения локальных типов древнеславянского литературного языка позднего периода (вторая половина XVI—XVII вв.), «Славянское языкознание», М., 1963.

ку в последнее время она очень оживленно обсуждается, хотя и нельзя признать ее окончательно решенной [3].

По причинам историческим судьба древнеславянского литературного языка в Сербии и Болгарии была существенно иной, нежели в России. Захват балканских стран турками и ликвидация государственных институтов у православных южных славян привели к сильному ограничению и сужению функций древнеславянского литературного языка. В это время появлялось лишь небольшое количество оригинальных произведений, а переводческая деятельность резко пошла на убыль; чаще всего переписывались старые тексты. Порабощение сербов и болгар турками вызвало также эмиграцию большого числа книжных людей в Россию и привело к так называемому второму южнославянскому влиянию, благодаря чему позиции древнеславянского языка в России значительно укрепились. Но и в странах Балканского полуострова литературная деятельность на древнеславянском языке отнюдь не прекратилась. Древнеславянский оставался языком богослужения, и его следы в общенародном языке обнаруживаются в отдельных лексемах. В первом издании «Сербского словаря» Вука Караджича даны следующие слова, которые нужно рассматривать как сербско-церковнославянские: *мошти*, *општи*, *општина*, *свјештавати*, *свјештеник*, *Ваведеније*, *дрво*, *чреда*, *одежда*, *бденије*, *моленије*, *поученије*[4], затем *спасеније*, *божанство* и другие слова с суффиксом *-анство* [5]. Что касается болгарского, то Л. Андрейчин утверждает, что в период турецкого владычества в болгарском языке широко употреблялись слова, относящиеся к сфере религии и христианской морали, которое составляли определенной фонд культурной лексики. Эта лексика образует особый, сравнительно небольшой слой, который восходит к бытовой лексике простого народа. К этому слою относятся такие слова, как *разпетие*, *възкресение*, *вседържител*, *мъченик*, *причестие*. Однако позднее эти традиционные древнеславянские формы заменяются формами русской редакции: *разпятие*, *мученик*, *причастие* [6]. Но некоторые слова этого фонда избежали русификирования. В болгарских диалектах до сих пор живы такие формы, как *благословия* вместо *благословие*, *Благовец* вместо *Благовещение*. Сходство между болгарским и сербским состоит в том, что в обоих языках этот слой древнеславянской лексики не имел никакого значения при образовании новых литературных языков. Речь здесь может идти лишь об ограниченном числе слов, относящихся к церковной терминологии.

В XVIII в. в Сербии и Болгарии местные варианты древнеславянского литературного языка были заменены древнеславянским языком московской редакции, который сложился в XVII в. и был грамматически нормализован [7]. Однако, без сомнения, принятие языка московской редакции не могло сразу и окончательно устранить старую отечественную традицию. Возникновению национальных литературных языков на основе народных языков у южных славян предшествовал, таким образом, некоторый период, в течение которого функцию литературного языка исполнял прежде всего древнеславянский литературный язык московского типа (или другими сло-

[3] Ср.: Б. Унбегаун, Язык русской литературы и проблемы его развития «VI-e Congrès international des slavistes. Communications de la délégation française et de la délégation suisse», Paris, 1968; В. В. Виноградов, О новых исследованиях по истории русского литературного языка, ВЯ, 1969, 2.

[4] П. Ивић, О Вуковом рјечнику из 1818 године, «Сабрана дела Вука Караџића», књ. II, Београд, 1966, стр. 163.

[5] См. статью П. Джорджича о церковнославянском языке сербской редакции в кн.: «Enciklopedija Jugoslavije», 4, Zagreb, 1960, стр. 514.

[6] Л. Андрейчин, Ролята на черковнославянския език за изграждането на съвременния български книжовен език, БЕ, 1958, 4—5, стр. 310.

[7] Н. И. Толстой, Роль древнеславянского литературного языка...

вами, церковнославянский язык русской редакции). Полагают, что в Сербии книжная традиция, связанная с сербским типом древнеславянского языка, прекратилась примерно в 1740 г. со смертью Гаврилы Стефановича Венцловича. С 1726 г. благодаря деятельности учителей из России (Максим Суворов, Эмануил Козачинский [8]) древнеславянский литературный язык московской редакции распространяется в Сербии, а именно в Воеводине, где имелась самостоятельная сербская церковь [9]. По мнению Б. Унбегауна, у сербов Воеводины с 1740 до 1780 г. литературным языком был «славянский язык русской редакции или славянизированной русский, с которым начинал соперничать славянизированный сербский и (эпизодически) русский литературный язык» [10]. Однако употребление этих отдельных вариантов литературного языка не удается разграничить в плане чисто хронологическом. А. Белич в рецензии на цитируемую книгу Б. Унбегауна подчеркивает, что использование отдельных вариантов определяется тематикой и жанром литературного произведения: в произведениях теологического и религиозно-морализирующего содержания применяется язык русско-церковнославянский («црквеноруски»), а в произведениях светского содержания — русский язык того времени, приспособленный к церковнославянскому («удешен према црквеноруском») [11]. По-видимому, в XVIII в. для представителей сербской литературы эти сами по себе различные языки (древнеславянский, русский и позднее сербский) являлись вариантами или стилями о д н о г о, если угодно, «славянского» литературного языка. Так, например, в языке Захария Орфелина, которой считается родоначальником славяносербского языка, не удается установить последовательного развития от древнеславянского к сербскому (с большой примесью древнеславянского и русского), однако выбор языкового стиля (или варианта литературного языка) определяется тематикой произведений, аудиторией, которой они адресованы, а также языком оригинала (при переводах) [12]. Употребление различных языков как отдельных функциональных вариантов в одной системе литературного языка (явление, на наш взгляд, характерное для литературных языков донационального периода) в Сербии, начиная с 80-х годов XVIII в., постепенно сменяется формированием сербского литературного языка на базе системы народного языка с включением в нее прежде всего лексических элементов древнеславянского литературного языка. Это находит выражение в языке Доситея Обрадовича [13]. Революционные преобразования Вука Караджича завершают это развитие. Прежде чем перейти к рассмотрению места церковнославянских элементов в языке Вука и его современников, необходимо описать существенные особенности древнеславянского литературного языка на сербской почве и сравнить их с особенностями литературного языка в Болгарии того же периода.

1. В Воеводину уже проник древнеславянский язык московской редакции, грамматически нормализованный (Мелетий Смотрицкий — Ф. Поликарпов). Для Сербии обязательные литературные нормы были установлены позднее грамматикой А. Мразовича [14]

---

[8] B. U n b e g a u n, Les débuts de la langue littéraire chez les Serbes, Paris, 1935, гл. «Le slavon serbe langue littéraire».

[9] Там же, гл. «Les débuts de l'influence russe».

[10] Там же, стр. 15.

[11] А. Б е л и ћ, ЈФ, 13, 1933—1934, стр. 192.

[12] R. R a n f t, Zur Geschichte der serbischen Literatursprache im 18. Jahrhundert, ZfS, 13, 1968.

[13] B. U n b e g a u n, Les débuts.., стр. 67.

[14] «Р8ководство къ славенстѣи грамматіцѣ...», издано тр8домъ Авраама Мразовича, 1-е изд, Вена, 1794. Мы пользовались 4-м изд.: Будапешт, 1834. Все ссылки даются по этому изданию.

2. Древнеславянский литературный язык применялся при создании оригинальных литературных произведений.

3. На древнеславянском литературном языке велось преподавание в школах или по крайней мере он сам был учебным предметом.

4. Вскоре после распространения древнеславянского литературного языка в Сербию был перенесен также и русский литературный язык. Н. И. Толстой пишет: «Дело в том, что на южнославянскую почву в XVIII в. был перенесен древнеславянский язык московского центра, язык близкий, но не идентичный высокому стилю; затем был перенесен высокий стиль и примыкающий к нему среднеделовой историографический слог языка — слог, называемый часто тоже славенским, который на иерархической шкале „штилей" XVIII в. можно отнести к верхним ярусам среднего „штиля". Остальные русские „штили" и их переходно-компромиссные решения оставались фактом только русской, а не общей южно-восточнославянской истории литературного языка» [15]. На сербской почве между древнеславянским и русским литературными языками возникли сложные взаимоотношения. С одной стороны, русский язык приспосабливался к древнеславянскому, а с другой — в древнеславянские тексты проникают также и русские элементы. Подобно тому, как русский литературный язык вплоть до начала XIX в. оставался открытым для проникновения в него церковнославянских элементов, поздний древнеславянский мог заимствовать элементы русского литературного языка, ибо типично русский словообразовательный инвентарь литературного языка, например суффиксы *-ость*, *-ство*, *-ствие*, *-ние*, *-тель*, *-тельный*, полностью совпадает с таким же инвентарем древнеславянского.

5. Древнеславянский литературный язык, вероятно, оказывал влияние на разговорный язык образованных кругов. Как свидетельствует Теодор Янкович Мириевский, в 1782 г. в Воеводине различались три языка или диалекта: церковный язык, гражданский язык и простонародный язык. «Гражданский язык (Civilsprache) — это язык людей, воспитанных и учтивых, которые сведущи в грамматике и которые применяют его как в речи, так и на письме». Этот «гражданский язык» отличается прежде всего тем, что в его словарном составе чувствуется сильное влияние древнеславянского [16]. Все приведенные факты свидетельствуют о том, что в Сербии долгое время действительно применялся древнеславянский литературный язык московской редакции.

Древнеславянский литературный язык московского типа был также перенесен и в Болгарию. По мнению Н. И. Толстого, здесь процесс трансформации проходил в общем те же этапы, что и в Сербии, но лишь со значительным опозданием [17]. В качестве наиболее крупного представителя древнеславянской литературы в Болгарии мы могли бы, вслед за Р. Пиккио, Н. И. Толстым, Г. К. Венедиктовым и др., назвать Паисия Хилендарского. Но эта зависимость языка Паисия от древнеславянской языковой традиции ни в коей мере не говорит о том, что его язык должен быть исключен из истории болгарского литературного языка. Древнеславянский литературный язык в Болгарии не смог получить такого значительного развития, как в Сербии. Мы попытаемся обрисовать в самых общих чертах положение с литературным языком в Болгарии накануне возникновения литературного языка на базе языка народного. В то время как в Сербии уже в XVIII в., несмотря на различные препятствия, выпускалось немалое количество печатных произведений, в том числе даже периодических изданий, первая печатная болгарская книга — «Недельник» Софрония Врачанско-

[15] Н. И. Толстой, Роль древнеславянского литературного языка..., стр. 11.
[16] В. Unbegaun, Les débuts..., стр. 16.
[17] Н. И. Толстой, Роль древнеславянского литературного языка.., стр. 17.

го — вследствие ряда неблагоприятных обстоятельств появилась в свет только в 1806 г. И лишь начиная с 20-х годов XIX в. число печатных изданий быстро растет. Болгарская литература XVIII в. была литературой рукописной. В отличие от исторических сочинений Йована Раича, «История славяноболгарская» Паисия вплоть до 1844 г. (когда Христаки Павлович напечатал ее переработку под названием «Царственник») распространялась в рукописи. Сочинения Софрония Врачанского, за исключением «Недельника», оставались ненапечатанными. Когда же, наконец, болгарские книги начали печататься, лишь очень небольшая их часть была написана на языке, который может быть определен как древнеславянский. Использование древнеславянского или по крайней мере языка, который ориентируется на древнеславянский, в светской литературе и в повествовательной прозе ограничивается переводом «Приключений Телемаха», сделанным П. Пиперовым [18]. Но этот перевод был уже анахронизмом, поскольку почти в то же время начинает появляться переводная литература, язык которой приближается к литературному языку на народной основе [19]. Древнеславянсий язык, изучавшийся в школе, также играл в Болгарии второстепенную роль. К открытию в 1835 г. школы в Габрово Неофит Рилский приурочил, как известно, свою «Болгарскую грамматику». В отличие от сербов в Воеводине, болгары не имели своей национальной церкви с собственной духовной иерархией, которая бы стимулировала появление литературы на древнеславянском языке и могла бы выработать особую редакцию древнеславянского языка. Таким образом, во второй половине XIX в. в Болгарии продолжает существовать литература, использующая либо старейший, исконный тип древнеславянского языка, либо тот же язык, но смешанный в той или иной мере с элементами языка московской редакции. Например, в языке переводов басен Эзопа, сделанных Софронием Врачанским, к древней традиции восходит употребление только одного еря (ь); русские же элементы содержатся в их словарном составе [20]. Почти одновременно с принятием древнеславянского языка московской редакции как в Сербии, так и в Болгарии становится заметным русское языковое влияние. Едва ли можно говорить о том, что высокий стиль и историографический стиль русского литературного языка получили на болгарской почве самостоятельное развитие. В болгарской литературе нет произведений типа «Биографии Петра Великого», написанной З. Орфелином, или «Истории разных славянских народов» Й. Раича [21]. Следует, однако, иметь в виду, что употребление различных языков как вариантов одной системы литературного языка, центральное место в которой занимает древнеславянский, не ограничивалось Сербией (мы указывали уже на З. Орфелина), но практиковалось также и в Болгарии, а именно Софронием Врачанским. В его баснях и в автобиографии преобладают элементы народного языка, в то время как язык «Недельника» скорее тяготеет к древнеславянскому литературному языку [22]. Однако у Софрония можно найти уже и русские элементы, как позднее у П. Берона, Неофита Рилского и др. И. Шишманов в своем труде «Наченки от руско влияния в българската книжнина» собрал большое количество фактов, из которых следует, что уже в XVIII в. влия-

[18] «Приключения Телемаха сына Одиссеваго... Преведѣ ся отъ французскій на славяноболгарский языкъ отъ П. Г. Пиперова...», Въ Виена, 1845.

[19] K. Gutschmidt, Zum Wortschatz der frühen bulgarischen Übersetzungsprosa, ZfS, 8, 1963; его же, Anfänge einer Normalisierung des Wortschatzes der bulgarischen Schriftsprache vor 1878, там же, 13, 1968, стр. 233—243.

[20] А. Ничев, Софрониевият превод на Езоповите басни, «Годишник на Софийския университет», филологически фак-т, LVII, кн. 1, 1963.

[21] B. Unbegaun, Les débuts..., стр. 46, 47—48.

[22] К. Ничева, Езикът на Софрониевия «Неделник» в историята на българския книжовен език, София, 1965, стр. 214—229.

ние русского языка наблюдается и в Болгарии [23]. Если принять, что современный болгарский литературный язык ведет начало от Берона (т. е. с момента, когда он стал базироваться на народном языке), то неизбежен вывод, что к тому времени на него могли оказать влияние как древнеславянский язык московской редакции, так и русский язык. Иную позицию в данном вопросе занимает Л. Андрейчин. С полным основанием подчеркивая необходимость учитывать влияние церковнославянского языка в процессе образования болгарского литературного языка, он приходит к заключению, что ко времени формирования национального болгарского литературного языка в нем уже были образцы почти всех категорий слов, которые потом в большом количестве и легко были заимствованы из русского языка. Таким образом, болгарский уже был предрасположен к усвоению целых словообразовательных категорий, которые в дальнейшем на болгарской почве стали очень продуктивными (отглагольные существительные на *-ние*, существительные со значением лица на *-тел*, действительные причастия настоящего времени на *-яшт*, *-ушт* и др.). Церковнославянское влияние на болгарский литературный язык «в эпоху Возрождения в большой степени подготовило и предопределило размер и характер русского влияния и затем вылилось в него» [24]. Однако почти одновременное влияние церковнославянского и русского языка на южнославянские языки требует более внимательного рассмотрения. Дело в том, что церковнославянский подготовил русское влияние не только потому, что русский заимствовал из церковнославянского большое число лексем и даже целые словообразовательные категории. Посредством церковнославянского вводились также формы и слова, которые он сам прежде заимствовал из русского, а возможно, и из других восточнославянских языков (а через них — и из польского). В этой связи небезынтересно обратиться к уже упомянутой выше грамматике Мразовича, которая была хорошо известна и в Болгарии [25]. Наряду с лексемами, которые следует рассматривать как русские, она включает и такие фонетико-морфологические особенности, которые считаются исконно русскими и в историческом плане имеют древнеславянские соответствия, например: **конча́щїсѧ на ч8 а҆́ще произво́дѧтсѧ ѿ и҆ме́нъ конча́емыхъ на т, и҆змѣнѧютъ ч на оно́е; ꙗ҆́кѡ: плата̀, плач8, плати́ши, кр8́тъ, кр8ч8́, кр8тиши.**

Русские и церковнославянские элементы мы обнаруживаем в славяносербских и славяноболгарских текстах, а также в текстах, язык которых принадлежит бесспорно к начальной фазе развития современного болгарского литературного языка. Не всегда просто установить разницу между церковнославянскими и русскими элементами, но это делать необходимо, когда возникает потребность разграничить влияние церковнославянского и русского языков [26]. В отношении болгарского и сербского мы должны также считаться с теми словами, которые возникли или получили новое значение на южнославянской почве в период существования древнеславянского языка или в эпоху русского влияния. Эти слова должны отсутствовать

---

[23] И. Шишманов, Избрани съчинения, I, София, 1965, стр. 371—425.

[24] Л. Андрейчин, указ. соч., стр. 321.

[25] Ср. например: Б. Пенев, История на новата българска литература, 3, София, 1933, стр. 229, 516, 712—713, 720.

[26] Звуковые особенности, такие, как например, *у* ← *ж*, *я* ← *ѧ*, *о* ← *ъ*, *е* ← *ь*, характерные для древнеславянского литературного языка московской редакции, не могут быть критерием для определения русского элемента — точно так же, как наличие *щ*, *жд* (вместо *ч*, *ж*) или *-ра-*, *-ре-*, *-ла-*, *-ле-* (вместо *-оро-*, *-ере-*, *-оло-*) не могут, безусловно, говорить о принадлежности этих слов к церковнославянскому языку. Отнесение лексем к тому или иному языку возможно лишь на основе их индивидуальной истории.

в русском. До сих пор им не уделялось достаточного внимания. Приведем здесь лишь отдельные примеры. В сербском находим слово *производ* (русск. *произведение*) [27]. В предисловии к переводу «Нового завета» (1847) Вук Караджич пишет: «гостољубив, гостољубије ваља да су начинили наши књижевници, јер их ни у једном рјечнику нијесам могао наћи. Гостољубив может се помијешати међу наше ријечи, али гостољубије нема друштва међу нима, за то ја сам начинио гостољубивост» [28]. Слово *гостолюбие* находим также и в болгарских текстах первой половины XIX в. (например, в переводных произведениях: «Павелъ и Виргинія», «Индійската хижа»), а также в словарях Н. Герова и А. Дювернуа. Может быть, также значение «существо» у сербского слова *биће* (например, *највише биће*) развилось первоначально в Сербии в процессе сербизации слова *бытие*. Это значение переходит и в болгарский, например, *всевышното бытие* (в переводе «Павелъ и Виргинія»).

Эти примеры свидетельствуют о том, что в болгарском приходится учитывать не только влияние древнеславянского языка московского типа и русского языка, распространявшееся непосредственно из России, но и влияние этих языков в преломлении через призму сербского языка, а в конечном счете — и влияние формировавшегося современного сербского литературного языка [29].

Таким образом, положение с литературным языком в Болгарии обнаруживает некоторое типологическое сходство с ситуацией у сербов, но оно ни в коем случае не идентично ей. По-видимому, внешние обстоятельства в Болгарии, определявшие влияние церковнославянского языка на современный болгарский литературный язык, были менее благоприятны, чем в Сербии. При этом следует заметить, что в самосознании болгар очень прочно укрепилась мысль о том, что церковнославянский язык и вообще церковнославянские элементы являются собственно болгарскими и как таковые должны войти в болгарский литературный язык.

Пытаясь далее обрисовать в общих чертах процесс влияния церковнославянского на сербский и болгарский литературные языки и отграничить его от русского влияния, мы будем иметь в виду тот период истории этих литературных языков, когда они формируются на основе народного языка. Здесь мы ограничимся рассмотрением словарного состава и словообразования [30]. Реальную картину непосредственного церковнославянского влияния во всем его объеме, по нашему мнению, можно представить только в том случае, если все книжные славянские лексемы (не имея в виду неологизмов) распределить по трем группам: 1) слова, встречающиеся как в церковнославянском, так и в русском литературном языке; 2) слова, которые

---

[27] Как показывает словарь Югославянской Академии наук (т. 12, стр. 317), глагол *произвести* заимствован из русского, но это не касается лексемы *производ*. Этот глагол возник в сербском по крайней мере в начале XIX в. Сербский повлиял на болгарский, ср. «Главномѣстный производъ (максуль) е корината» (Н. Бозвели). В болгарском в конечном итоге возобладало отглагольное существительное *произведение*.

[28] «Скупљени граматички и полемички списи Вука Стеф. Караџића», књ. 3, Београд, 1896, стр. 266.

[29] Вопрос о влиянии древнеславянского языка, употреблявшегося в Сербии, и соответственно образовавшегося сербского литературного языка на язык литературы болгарского Возрождения до сих пор слабо разработан, см., например: Х р. П ъ р в е в, Езикът на Неофит Бозвели, БЕ, 1965, XV, стр. 485; Б. С и м е о н о в, Сръбски елементи в публицистиката на Г. С. Раковски, БЕ, 1964, XIV, стр. 496—512.

[30] Грамматическая структура сербского и болгарского литературного языка была очень слабо затронута церковнославянским и русским влиянием. В сербском это касается книжных деепричастий на *-ши* и действительных причастий настоящего времени на *-ћи*. В болгарском действительное причастие настоящего времени также является книжным, церковнославянским влиянием, кажется, обусловлены также формы мн. числа типа *звуци, знаци*.

представлены только в русском литературном языке. (Сюда же относятся слова, которые, хотя и употребляются в церковнославянском, в русском приобрели новое значение и именно в этом значении употребляются в болгарском и в сербском языках. Маловероятно, чтобы такое же развитие значений некоторых слов, которое имело место в русском языке, повторилось еще раз, независимо от русского, на южнославянской почве); 3) слова, которые всегда были церковнославянскими или хотя бы ощущались как церковнославянские в России в конце XVIII — начале XIX в.

Во многих случаях нельзя с достаточной степенью вероятности утверждать, вошло ли данное слово в лексику южнославянских литературных языков из русского или из древнеславянского, поскольку категория слов, общих русскому и древнеславянскому, чрезвычайно велика. Первые засвидетельствованные случаи употребления слова не могут быть достаточным критерием, ибо при неглубоком (большей частью — пассивном) знании древнеславянского литературного и русского литературного языков образованными сербами и болгарами то же самое слово могло быть заимствовано в одно время разными писателями из разных источников. Влияние одного языка на другой определяется тем, что заимствованные из одного языка слова становятся фактом словарного состава другого литературного языка, т. е. составной частью лексической нормы литературного языка.

Все три группы слов можно обнаружить в произведениях ранних болгарских и сербских писателей, которые видели в народном языке базу для создания системы литературного языка. Достаточно привести несколько собственно русских слов из произведений Доситея Обрадовича: *примечаније*, *впечатленје*, *поњатије*, *влијаније*, *вкус*, *купечество*, *охота*, *скука* [31]. Взаимоотношения трех групп слов были нами исследованы на материале болгарских переводов художественной прозы, изданных около 1850 г. Среди существительных определились в числовом выражении следующие соотношения: 1-я группа — 380, 2-я группа — 485, 3-я группа — 50. Здесь важна, конечно, употребительность слов, т. е. то, как они представлены у отдельных авторов. Интересно, что слова первой группы по употребительности превышают собственно русские. Это вполне понятно, потому что эта группа и в русском литературном языке составляет базу абстрактной лексики. Из 50 существительных, которые должны быть определены как церковнославянизмы, в лексике современного болгарского литературного языка отмечно только 6: *блядословие* (в настоящее время *блудословие*), *водоносецъ*, *рыболовецъ*, *главоболіе*, *подданикъ*, *странство*. Из 380 существительных, являющихся как русскими, так и церковнославянскими, отмечено 300, а из 485 собственно русских — 370. В некоторых переводах встречаются церковнославянские или архаические для русского языка того времени союзы и наречия *убо*, *абіе*, *другажды*, *елижды*, *колижды*, *толижды*, которые в болгарском литературном языке не привились [32]. Все же современный болгарский литературный язык сохраняет отдельные союзы и модальные слова церковнославянского происхождения, которые употреблялись в русском языке еще во второй половине XVIII в. (некоторые из них и в XIX в.) и которые представлены, например, у Доситея Обрадовича: *понеже*, *обаче*, *сиреч*. Число существительных церковнославянского происхождения в болгарском (некоторые из них перечислены выше), не известных русскому литературному языку, очень незначительно. Такое положение, как показало обследование первого тома словаря языка Христо Ботева, наблюдается уже у этого

[31] Доситеј Обрадовић, Сабрана дела, II, Београд, 1961. Эти слова даны в конце тома в небольшом указателе слов и напечатаны в современной орфографии.

[32] Подробнее см.: K. Gutschmidt, Anfänge...

писателя. Из этого следует, что сохранение церковнославянской лексики в болгарском в решающей степени обязано влиянию русского литературного языка, который для болгарского играл роль образца. Еще Неофит Рилский в предисловии к своей грамматике рекомендовал сопоставление со «славянским», когда нужно решить проблему выбора слов для литературного языка [33]. Но древнеславянский не мог играть этой роли в процессе развития современного болгарского литературного языка, так как в нем отсутствовала система развитых стилей. Поэтому таким языком-моделью для болгарского стал русский язык, тем более, что в нем древнеболгарское наследие было поднято на новую, качественно более высокую ступень.

В сербском, как это представляется на основании предварительных наблюдений, в первой половине XIX в. можно наблюдать аналогичную тенденцию к регулированию словарного состава. В первых сочинениях Вука, например, в двух «объявлениях» к словарю 1818 г., которые сохраняют еще сильную славяносербскую языковую традицию, содержится книжный слой лексики, состоящий почти исключительно из русско-церковнославянских (*благодѣтель*, *намѣреніе*, *ревность*), а также русских слов (*вѣроизповѣданіе*, *причина*, *потомство*, *удоволствіе*, *предметъ*, *вкус*, *примѣчаніе*). Церковнославянским словом можно считать лишь лексему *списатель*. В словаре 1818 г., в котором автор демонстративно порывает с традицией, даны за немногим исключением лишь общенародные слова; в предисловии и в «Грамматике» число книжных слов русского и церковнославянского происхождения (не считая грамматической терминологии) сильно уменьшено. Вук стремился не только к установлению гармонии между литературным и народным языком в грамматической структуре, но также и к дальнейшему освобождению словарного состава от влияния предшествовавших систем литературных языков. Но в его словаре не оказалось большого количества слов, необходимых для всякого литературного языка [34], поэтому сам Вук позднее вновь обратился к традиционному словарному фонду литературного языка. В предисловии к «Новому завету» он перечисляет слова, которые взял из «славянского» и частично приспособил к сербскому. Часть этих слов, по заявлению самого Вука, русского происхождения [35]. В своей рецензии на перевод Вука и на его предисловие Йован Стеич замечает, что кроме слов, указанных Вуком, только в Евангелии от Матфея и в «Послании к римлянам» можно найти свыше ста книжных слов [36]. Й. Стеич, критика которого отличается объективностью и компетентностью, высказался за сохранение в литературном языке большого количества книжных слов, которые были употребительны в языке современников Вука. Немногие из этих слов образованы от сербских корней, подавляющее же их количество встречается и в церковнославянском и русском или же только в русском; лишь очень немногие слова являются чисто церковнославянскими. Й. Стеич систематизирует эти слова по суффиксам, при помощи которых они образованы. Интересно установить,

---

[33] Неофит Рилски, До кога сън дълбок?, в его кн. «Избрани съчинения и писма», под ред. на М. Арнаудов, София, 1942, стр. 41.

[34] П. Ивић, О Вуковом Рјечнику из 1818 године, стр. 186.

[35] «Ријечи посредник, природа, постојан и непостојан по свој прилици прије ће бити Руске него праве Славенске (из црквенијех књига); али се и ови могу врло ласно помијешати с нашијем речима» («Скупљени граматички и полемички списи...», књ. 3, стр. 266).

[36] Ј. Стеј ић, Езикословне примѣтбе на предговоръ г. Вука Стеф. Караџића къ преводу Новогъ завѣта, «Скупљени граматички и полемички списи...», стр. 582—583; см. также О. Цвијић, О неким речима у преводу Новога завета, ЈФ, 26, 1963—1964, стр. 401—412.

какие из них сохранились в сербском литературном языке. Из 119 абстрактных существительных на *-ост* бóльшая часть употребляется и в настоящее время. Он называет также 46 глаголов, из которых сейчас неупотребительны только 4. Некоторые глаголы (во всяком случае в современном значении) отсутствуют в словаре Миклошича; следовательно, можно предположить, что здесь мы имеем дело с образованиями русского литературного языка: *занимати*, *одобрити*, *опуномоћити* (русск. *уполномочить*), *облагородити*, *нарушити*, *производити*, *присутствовати*, *предупредити*, *уважити*, *расудити*, *умствовати*, *надзирати*, *обнародовати*.

Иначе сложилась судьба существительных с суффиксом *-тељ*. Й. Стеич приводит 33 слова с этим суффиксом. «Сербскохорватско-русский словарь» И. И. Толстого содержит всего лишь 13 таких слов, причем все без исключения имеют параллельные образования с другим суффиксом, например, *спаситељ* и *спасилац*, *извршитељ* и *извршилац*, или же при них дается отсылка на другое производное, например, *молитељ* см. *молилац*, *слушатељ* см. *слушалац*. Впрочем у Вука можно найти целый ряд существительных на *-тељ*: *писатељ*, *почитатељ*, *преводитељ*, *прједсједатељ* и др. М. Стеванович утверждает, что в сербскохорватском литературном языке употребительны всего лишь 10—15 существительных на *-тељ* [37]. После 1945 г. можно отметить известное усиление продуктивности этого суффикса, что объясняется влиянием русского языка [38]. Подобно суффиксу *-тељ*, непродуктивным в литературном языке становится суффикс *-телан*, а образованные с его помощью прилагательные также выходят из употребления. У современников Вука Й. Стеича и Я. Игнятовича [39] мы еще находим прилагательные *признателан*, *подозрителан*, *употребителан*, *занимателан*, *проницателан*, *чувствителан*. В тех случаях, когда прилагательное данного типа не вытеснялось другим (например, *признателан* было вытеснено прилагательным *захвалан*), в нем менялся суффикс: *подозрив*, *употребљив*, *занимљив*, *проницљив*. Здесь следует обратить внимание на то, что образования на *-тељ* заменяются, как правило, производными от того же корня с суффиксами *-ац* (*писац*), *-лац* (*спасилац*), потому в них еще заметно прежнее влияние церковнославянского и русского языков. Особенно ясно это в словах типа *руководилац*, вытеснявших слова типа *руководитељ*, в которых все еще можно раскрыть внутреннюю форму, указывающую на одну из многочисленных древнеславянских литературных калек из древнегреческого (в данном случае калька с χειραγώγος). В противоположность сербскому, суффиксы *-тел* и *-телен* в современном болгарском языке остались продуктивными. Попытки образовывать nomina agentis при помощи суффикса *-ач* вместо суффикса *-тел*, предпринятые И. Богоровым, не имели успеха. Различные пути развития, которые прошел этот словообразовательный тип в двух южнославянских языках, объясняются в значительной степени тем, что из русского в болгарский вошло большое количество слов с данным суффиксом и что в русском этот тип всегда оставался очень продуктивным.

После Вука в сербский язык вошло еще некоторое количество русских слов, но для обогащения своего словарного состава сербский язык не использовал русский в качестве образца. Несмотря на замену многих древнеславянских книжных слов новообразованиями и словами народного

---

[37] М. Стеванови ћ, Језик у Вукову делу и савремени српскохрватски књижевни језик, ЈФ, 29, 1963—1964, стр. 96; его же, Значај и потребе детаљног проучавања Вукова језика, «Вуков зборник», Београд, 1966, стр. 5—32.

[38] М. Стеванови ћ, Језик у Вукову делу.., стр. 96.

[39] Як. Игњатови ћ, Погледъ на књижевство «Србскій лѣтопись за год. 1857» ч. II, год. XXXI, књ, 96, стр. 141—170.

языка, в литературном сербском языке Вука и его современников все еще имелся немаловажный фонд церковнославянских и русских слов [40], часть которых, как указывалось выше, в настоящее время входит в лексический состав сербскохорватского литературного языка. Их число могло бы быть значительно бóльшим, если бы этому не помешала деятельность Вука и его последователей. Если исследовать, например, лексику цитировавшейся выше статьи Я. Игнятовича, то в ее составе можно обнаружить генетические соотношения, подобные тем, какие наблюдались у его болгарских современников. Наряду с отдельными книжными сербскими образованиями, такими как *књижевство* (сейчас, впрочем, *књижевност*; в других словах также наблюдается конкуренция между суффиксами *-ство* и *-ост*, причем обыкновенно побеждают образования на *-ост*), в словарный состав входят чисто русские слова (*важность*, *древность*, *охота*, *понятіе*, *правительство*, *учтивость*, *уважение*, *средство* и др.), слова, общие русскому и церковнославянскому (*бытіе*, *жертва*, *писатель*, *примѣръ* и др.). Обе группы велики по объему. Как чисто церковнославянское можно привести слово *списател* (оно встречается также у Вука и Й. Стеича [41]; в настоящее время оно также употребляется в особых стилистических целях). К церковнославянизмам (т. е. к словам, не известным литературному русскому языку) относится также *безбедность* «безопасность», которое употреблялось также и в болгарском. Церковнославянизмы, общие для сербского и болгарского языка,— серб. *поданик* и болг. *поданик*, серб. *риболовац* и болг. *риболовец* В отличие от болгарского, сербский не сохранил церковнославянских союзов. Во всяком случае, как в сербском, так и в болгарском литературном языке представлен небольшой слой лексики, которая была заимствована из церковнославянского и которая в русском литературном языке вышла из употребления в середине XIX в. Приведенные нами примеры можно было бы умножить. Установление их важно, ибо они позволяют утверждать, что оба южнославянских языка самостоятельно использовали словарный состав древнеславянского литературного языка, и помогают уточнить процесс этого использования. Оказывается, однако, что большая часть слов литературного сербского и болгарского языка, возводимых к древнеславянскому, употребительна и в русском литературном языке. Это объясняется одновременностью церковнославянского и русского влияния на сербский и болгарский литературные языки в период их формирования, а также значительной долей древнеславянских элементов в самом русском языке. Таким образом, русский язык мог послужить для сербского и болгарского образцом отношения к древнеславянской традиции, ее использования и творческой переработки.

Удельный вес церковнославянских и русских слов в болгарском литературном языке значительнее, чем в сербском. Прежде всего, в болгарском выступают определенные типы словообразования, которые были характерны для древнеславянского литературного языка московской редакции и для русского литературного языка. Мы склонны думать, что как в сербском, так и в болгарском литературном языке объем и направление церковнославянского влияния регулировались в значительной степени русским литературным языком. Возникшая таким путем общая тенденция в раз-

---

[40] Об отношении Вука к реформам и традиции см.: Н. И. Толстой, Архаизам и новаторство у језичкој реформи Вука Караџића, «Анали Филолошког факултета Београдског универзитета», 5, 1966, стр. 227—233.

[41] Слово *списатель* — калька с греч. σύγγραφεύς, см. «Материалы к словарю древнерусского языка» И. Срезневского, т. 3, стр. 792; впервые отмечено в 1073 г. Оно встречается также в произведениях болгарских писателей XIX в., но позже вытесняется словом *писател*.

витии обоих южнославянских языков в Сербии была сведена на нет реформами Вука и его последователей. Кроме того, сыграло роль и то обстоятельство, что сербы и хорваты договорились об общем литературном языке и сербскохорватский язык получил совершенно новые импульсы. В Болгарии же, напротив, названная тенденция действовала и развивалась беспрепятственно, а после освобождения в 1878 г. еще более усилилась. Стремления направить развитие болгарского словарного состава по другому пути и ослабить тесные связи его с церковнославянской и русской лексикой, которые нашли выражение в языке и всей деятельности И. Богорова, остались изолированными и почти совершенно бесплодными. Болгарский литературный язык снова восстановил свои связи со старой традицией и русский литературный язык сыграл в этом роль связующего звена.

Перевел с немецкого *А. К. Кошелев*

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 6 1969

Е. И. ДЕМИНА

«НАЧАЛО» СОВРЕМЕННОГО БОЛГАРСКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА В СВЕТЕ ОБЩЕЙ ПЕРИОДИЗАЦИИ ИСТОРИИ ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА В БОЛГАРИИ

Среди проблем, активно обсуждаемых в наши дни лингвистами-болгароведами, особое место занимает вопрос о «начале» современного болгарского литературного языка. Вопрос этот остро встал и в данном своем виде был сформулирован в 50-е годы в связи с задачей создания полного, систематического курса истории современного болгарского литературного языка [1].

Подготовка к решению этой сложной задачи [2] в первую очередь потребовала от языковедов установления самого объекта подобного исследования, ответа на вопрос «с чего начать». Включает ли в себя понятие «современный болгарский литературный язык» итог некоего развития, приведшего к созданию единого для всей территории Болгарии нормированного основанного на живой народной речи поливалентного стандартного национального языка (с учетом последующей эволюции этого состояния), или же сюда должен быть отнесен и период постепенного формирования названных релевантных признаков («литературный язык на начальных этапах его развития»)? Является ли предметом истории современного болгарского литературного языка эволюция уже сформировавшегося в своих основных характеристиках стандартного языка или же в первую очередь сам процесс становления присущих ныне литературному языку особенностей? И если верно второе решение (а именно его на практике придерживается большинство историков литературного языка [3]), то что считать начальным этапом этого процесса (и, соответственно, современного литературного языка)' на основании каких критериев он может быть установлен?

Можно назвать несколько вариантов решения этого вопроса, однако сам ход мысли при этом по существу одинаков: выделяется какой-либо (какие-либо) из признаков, релевантных для понятия «современный болгарский

[1] Первым значительным опытом в изучении истории болгарского литературного языка является работа А. Теодорова-Балана «Към историята на българския език. Българският книжовен език и правопис», «Периодическо списание на Българското книжовно дружество», XXXII—XXXIII, XXXIV, Средец, 1890.

[2] См. об этом: С. Романски, Институтът за български език при Българската академия на науките, БЕ, 1951, 1—2, стр. 10; Л. Андрейчин, Някои въпроси около възникването и изграждането на българския книжовен език във връзка с историческите условия на нашето Възраждане, БЕ, 1955, 4, стр. 310.

[3] Иной взгляд на предмет истории современного болгарского литературного языка см.: Е. И. Демина, Место дамаскинов в истории болгарского литературного языка, «Советское славяноведение», 1966, 4, стр. 31—32. Период постепенного становления особенностей современного литературного языка, характеризующийся в Болгарии сосуществованием, взаимовлиянием, конкуренцией и сменой различных типов письменного языка, претендующих на роль литературного, здесь отнесен к предыстории, а об истории самого современного болгарского литературного языка предлагается говорить начиная с 60—70-х годов XIX в., когда в основном уже сложилась совокупность его релевантных признаков. В общеметодологическом аспекте подобного решения придерживается Д. Брозович (см. его «Славянские стандартные языки и сравнительный метод», ВЯ, 1967, 1, стр. 22—23).

литературный язык», и делается попытка определить, деятельность какого из книжников, какое произведение словесности позволяют судить о зарождении этого признака (признаков). Этот момент и предлагается считать началом современного литературного болгарского языка и его истории.

Так, в свое время Б. Цонев и И. Шишманов, исходя из того, что современный литературный болгарский язык основан на народно-разговорной речи, настаивали на целесообразности начать его историю с первых памятников письменности, в которых на смену книжно-славянскому литературному языку синтетического строя пришел живой народный язык того времени во всем своеобразии своей аналитической структуры и словаря,— с языка новоболгарских дамаскинов [4].

Поскольку современный болгарский литературный язык является литературным языком болгарской нации, болгарским национальным литературным языком, ряд ученых пытается непосредственно связать начало истории современного литературного языка с началом формирования болгарской нации. Как известно, в деле формирования болгарского национального самосознания, болгарской нации выдающуюся роль сыграла патриотическая деятельность хилендарского монаха Паисия, создателя знаменитой «Истории славяноболгарской» (1762). «Заслуга Паисия состоит в том, что он смог уловить и отразить важное явление на заре нашего национального возрождения — постановку вопроса о языке в эпоху, когда начинается формирование болгарской нации. И в данном случае он не только отразил существовавшую в действительности тенденцию к сохранению языка, к выдвижению его как знамени национального движения, как защитника народности, но своим пламенным призывом к патриотическому отношению к языку, к превращению языка в орудие национальной борьбы он дал сильный толчок этому процессу» [5]. Поэтому не принимая в расчет ряд хорошо известных особенностей языка «Истории славяноболгарской» — его смешанный, неоднородный на протяжении отдельных частей книги характер, обилие церковнославянизмов, позволяющее говорить об его церковнославянской основе [6], руссизмов и сербизмов [7], отсутствие нормы и выраженной тенденции к норме [8], а также самою историю текста «Исто-

[4] Б. Цонев, Хиляда години български език, «Летопис на Българското книжовно дружество в София», 1909, стр. 129; И. Шишманов, Паисий и неговата епоха, София, 1914, стр. 18. Обзор мнений современных ученых по этому вопросу с библиографическими данными см.: Е. И. Демина, указ. соч., стр. 28—33.

[5] П. Динеков, Възрожденски писатели, София, 1962, стр. 39.

[6] Из работ последних лет, в которых отстаивается эта точка зрения, см.: Г. К. Венедиктов, К вопросу о начале современного болгарского литературного языка, «Краткие сообщения Ин-та славяноведения», 43, 1965, стр. 6—11 (здесь и библиографические сведения по данному вопросу).

[7] Ср. в связи с этим следующее высказывание Р. Пиккио: «...Паисий не ощущает чуждыми ни церковнославянский язык России, ни литературные формы с сербской окраской. В его труде национальные варианты сливаются на общем фоне церковнославянской традиции» (R. Picchio, La Istorija slavenobolgarskaja sullo sfondo linguistico-culturale della slavia ortodossa, Roma, 1958, стр. 15. Цит. по кн.: В. В. Виноградов, Проблемы литературных языков и закономерностей их образования и развития, М., 1967, стр. 90). На эту сторону языка «Истории» обращает внимание и Л. Андрейчин: «Бесспорно, в языке Паисия заметно отражение языка его различных письменных источников — и среднеболгарских, и сербско-церковнославянских, и русско-церковнославянских,— но самым ясным и определенным является влияние утвердившейся в богослужебной практике и высоко авторитетной литературно-языковой традиционной нормы — церковнославянской» (Л. Андрейчин, Езикът на Паисиевата «История славеноболгарская» и началото на новобългарския книжовен език, БЕ, 1962, 6, стр. 484).

[8] См. об этом: Л. Андрейчин, Един важен момент в развитието на съвременния български книжовен език, «Известия на Института за български език», XVI, София, 1968 стр. 517—518.

рии» [9], некоторые ученые предлагают считать произведение Паисия началом современного болгарского литературного языка. Так, Е. Георгиева пишет: «Есть все основания началом литературного языка признать такое событие, такое произведение словесности («книжовно дело»), которое дает толчок всенародному движению, развитию дела просвещения и письменности, развитию национального сознания, а одновременно характеризуется новаторством в языке. Таким событием с неповторимым культурным отзвуком является История Паисия» [10]. С. Б. Бернштейн, справедливо полагая, что нельзя понять историю болгарского литературного языка первой половины XIX в., если пройти мимо литературной и языковой деятельности первых болгарских возрожденцев второй половины XVIII и начала XIX в. (Паисия Хилендарского, Спиридона, Софрония Врачанского и др.), приходит к заключению: «Не может быть никакого сомнения в том, что изучение истории болгарского литературного языка следует начинать с середины XVIII в. Если это изучение связывать с деятельностью определенного лица, то таким должен быть Паисий Хилендарский» [11]. Очевидно, что творчество Паисия рассматривается как начальный этап литературного языка, поскольку с ним связано начало болгарского Возрождения.

Л. Андрейчин стремится найти и языковые критерии подобной оценки роли Паисия в истории современного болгарского литературного языка. «Вопрос о характере языка Истории Паисия тем более важен,— пишет он,— что от его правильного освещения зависит и решение вопроса о начале современного болгарского литературного языка» [12]. Рассмотрев соотношение между элементами народного языка и церковнославянизмами в языке «Истории» (независимо от связи последних с той или иной редакцией традиционного литературного языка), Л. Андрейчин приходит к заключению, что в основе своей этот язык является новоболгарским народным языком, а не церковнославянским. Избранный Паисием путь языкового строительства: народная основа языка, обогащенная наследством древней староболгарско-церковнославянской традиции — позволяет, по мнению Л. Андрейчина, считать Паисия «родоначальником (именно родоначальником, а не полным создателем) нашего современного литературного языка» [13].

Л. Тодоров полагает, что при установлении начального момента развития литературного национального языка следует иметь в виду два крите-

[9] Сравнительно-текстологические исследования Б. Пенева, Г. Константинова, А. Кронии, В. Велчева, Р. Пиккио и других филологов показали, что как на уровне содержания, так и на уровне языкового выражения этого содержания «История славяноболгарская» обнаруживает очевидную зависимость от своих источников, главным образом, от славяно-русских переводов «Книга історіографія» Мавро Орбини и «Дѣянія церковная и гражданская» Цезаря Барония (последний перевод через этап польской переработки Петра Скарги). Паисий нередко буквально переписывает славянорусский текст, внося в него лишь незначительные графические изменения. Но и в случаях «перевода» или переработки содержания он во многом остается под языковым влиянием своего источника. (Библиографические данные и обзор мнений по данному вопросу см.: Е. Георгиева, Синтаксисът в Славянобългарска история от Паисий, «Известия на Института за български език», IX, София, 1962, стр. 55—66).

[10] Е. Георгиева, указ. соч., стр. 49.

[11] С. Б. Бернштейн, К изучению истории болгарского литературного языка, сб. «Вопросы теории и истории языка», Л., 1963, стр. 37.

[12] Л. Андрейчин, Езикът на Паисиевата «История славеноболгарская» и началото на новобългарския книжовен език, стр. 482.

[13] Там же, стр. 485—490. Критическую оценку мнения о Паисии как родоначальнике современного литературного языка в см. работах: R. Picchio, указ. соч., стр. 15; Г. К. Венедиктов, указ. соч., стр. 4—13; Л. Тодоров, По някои въпроси на българския литературен език от XIX в., «Български език и литература», София, 1965, 4, стр. 23—24; Е. И. Демина, указ. соч., стр. 29—32; В. В. Виноградов, указ. соч., стр. 88—90.

рия: 1) осознание болгарского языка в качестве национального языка, 2) конкретное проявление его национальной формы. Выделенные на основании этих критериев периоды не совпадают хронологически. Так признание болгарского языка в качестве национального языка относится к середине XVIII в., начиная с Паисия. Однако в языковой практике Паисий остается верным старым книжным церковнославянским традициям. Поэтому «конкретным началом болгарского литературного национального языка» предлагается считать автобиографию Софрония Врачанского (1804), в которой «корреляция между церковнославянским и новоболгарским меняется в пользу живой разговорной речи» [14].

Наконец, некоторые ученые начало современного литературного языка связывают с началом складывания и кодифицирования его норм. Подчеркивая роль известного «Рыбного букваря» Берона, который за период с 1824 по 1862 г. выдержал пять изданий и выпускался значительными по своему времени тиражами [15], А. Теодоров-Балан предлагал именно с него начать историю современного литературного языка [16]. Эта точка зрения поддержана и развита Г. К. Венедиктовым в подготовленной к печати монографии «Вопросы формирования современного болгарского литературного языка», где прослеживается история бурной борьбы мнений в Болгарии в 20—60-е годы XIX в. по вопросам кодификации норм формирующегося болгарского литературного языка.

Таким образом, для принявших участие в дискуссии исследователей в связи с самой постановкой вопроса характерен ретроспективный подход к решению проблемы. В зависимости от ответа с чего начать историю современного литературного языка (с языка ли дамаскинов, Паисия Хилендарского, Софрония Врачанского или Петра Берона), из общей истории языка письменности в Болгарии выделяется различный по своим хронологическим рамкам этап, а внутри последнего — конкретные формы книжного языка, которые предлагается рассматривать в свете поставленной проблемы. Насколько соответствует то или иное решение логике общего исторического процесса функционирования литературного языка в Болгарии, при данной постановке вопроса в расчет не принимается, хотя очевидно, что каждое предложение является в то же время вполне определенным решением одного из вопросов периодизации этого процесса.

Отвлечемся на время от этой актуальной, но ограниченной постановки вопроса и попытаемся рассмотреть ту же проблему в аспекте решения задачи общей периодизации истории литературного языка в Болгарии.

Подобная постановка вопроса сама по себе нуждается в обосновании. Общеизвестно, что характер, сфера действия, функции явления, именуемого литературным языком, исторически изменчивы. Не говоря уже о возможностях перерыва в развитии, смены одного литературного языка другим с иной субстанцией и структурой, нельзя не иметь в виду глубоких

[14] L. T o d o r o v, În legătură cu unele probleme ale limbii literare bulgare, «Romanoslavica», VIII, Bucureşti, 1963, стр. 127. Эта точка зрения подвергнута критике в работах Г. К. В е н е д и к т о в а (указ. соч., стр. 15) и В. В. В и н о г р а д о в а (указ. соч., стр. 90—91): автобиография — «Житие и страдания грешнаго Софрония» — стала широко известной лишь после своей первой публикации в 1861 г., поэтому она не сыграла никакой роли в формировании основ современного литературного языка. Заметим, что вряд ли целесообразно рассматривать это произведение Софрония Врачанского в отрыве от всей его сложной и противоречивой творческой деятельности, где «Житие» по особенностям языка объединяется с переводом басен Эзопа, «Мифологией Синтипа Философа», «Философскими мудростями» и другими произведениями из первого и второго Видинских сборников 1802 г., противостоя языку таких произведений того же автора, как «Неделник» (1806) и «Гражданское позорище» (1809).

[15] А. Т е о д о р о в-Б а л а н, Български изток и запад в книжевния език, БЕ, 1958, 6, стр. 489—491.

[16] См. об этом: С. Р о м а н с к и, указ. соч., стр. 10.

различий в литературном языке донационального и национального периодов, наличие которых дает основание некоторым лингвистам отказаться от термина «литературный язык» применительно к любому письменному славянскому языку донационального периода [17]. В этом смысле сам единый объект периодизации отсутствует. Но именно эта изменчивость объекта при сохранении им в то же время некоего интуитивно сознаваемого внутреннего единства и может, по-видимому, послужить одним из критериев периодизации. Следует только условиться, что о наличии инварианта во всех преобразованиях литературного языка можно говорить, перейдя на более высокий уровень абстракции, чем уровень, на котором конкретно проявляют себя реальные литературные языки и различные типы письменного языка.

Признаем, что, включаясь в высоко развитую международную культуру, общество встает перед необходимостью создать (или принять извне) специальный инструмент культурного общения — «языковой орган», который обслуживает потребности этого общения (с учетом их исторической изменчивости) и поэтому не является полностью идентичным ни с одной из существовавших до тех пор единиц языка, носит наддиалектный характер, обладает выраженной тенденцией к самоутверждению, к норме [18]. За самим этим явлением (именно за я в л е н и е м, а не за конкретным «языковым органом») закрепим название «литературный язык» в широком смысле слова [19]. В таком случае становится очевидной возможность проследить историю этого явления в последующей жизни данного народа (изменения в субстанции и структуре «языкового органа» и в его функциях, а также смену таких «органов») и соответственно — дать периодизацию этой истории.

При попытке периодизации истории литературного языка данного народа, в частности при попытке периодизации истории литературного языка в Болгарии, прежде всего необходимо решить вопрос о ее критериях.

Как известно, существует немало проектов периодизации истории болгарского языка (предложения В. Георгиева, К. Мирчева, С. Б. Бернштейна, Ю. С. Маслова), в основу которых положен критерий изменений в структуре общенародного языка. Однако периодизация истории литературного языка как особого историко-культурного явления, особой формы существования языка в веках (с возможностями перерывов и скачков в развитии, значительного отставания от развития общенародного языка), по-видимому, не может отождествляться с периодизацией истории данного языка [20], хотя и нельзя отрицать, что сдвиги в истории литературного языка во

---

[17] А. В. И с а ч е н к о, Ответ на вопрос № 3: «Какова специфика литературного двуязычия в истории славянских народов?», ВЯ, 1958, 3, стр. 42.

[18] В качестве инструмента культурного общения на разных этапах жизни данного народа может выступать как литературный язык в традиционном узком смысле этого слова (отметим признаки его стабильности и общепринятости в данном языковом коллективе), так и различные типы письменного языка, претендующие на роль литературного (обладающие лишь частью присущих литературному языку признаков или характеризующиеся недостаточной выраженностью этих признаков). Сюда не могут быть отнесены спорадические опыты писать на диалекте.

[19] Очевидна необходимость терминологического разграничения понятий литературного языка как историко-культурного я в л е н и я, литературных и письменных языков как конкретной м а н и ф е с т а ц и и этого явления. Можно, например, название «литературный язык» оставить за самим языковым явлением, а по отношению к конкретным формам литературного языка говорить о стандартном языке донационального периода, о национальном стандартном языке, о письменно-литературных языках, региональных литературных языках и т. п.

[20] Иное мнение по этому вопросу см.: А. В. И с а ч е н к о, К вопросу о периодизации истории русского языка, сб. «Вопросы теории и истории языка», Л., 1963, стр. 151—158.

многом определяются историческими изменениями в самом общенародном языке.

Нет, очевидно, оснований непосредственно связывать периодизацию истории литературного языка и с периодизацией истории общественно-экономических формаций, как это делает, например, Л. Тодоров. В истории болгарского литературного языка он предлагает выделить два основных периода: «старый литературный язык эпохи феодализма и народности» и «новый литературный язык эпохи нации». Характерно, что к «старому» литературному языку отнесен как «староболгарский литературный язык» с его церковнославянской разновидностью, так и «новоболгарский народностный («народностен») литературный язык: язык дамаскинов». Таким образом, в рамки старшего периода предложенной периодизации попали языки, существенно различающиеся как по своей субстанции и структуре (общеизвестно, и это специально подчеркивает сам Л. Тодоров, что один из них — древнеболгарский — язык синтетического строя, другой — язык новоболгарских дамаскинов — язык аналитического строя), так и по степени своей нормированности, общепринятости и сфере действия. В свою очередь в «новом» литературном языке эпохи нации выделены «новоболгарский национальный литературный язык» (начиная с Паисия) и «развитие современного литературного языка» (со второй половины XIX в.). Понятие «новоболгарский национальный литературный язык» в данном случае представляется научной фикцией. Отнесенные к нему языки Паисия, Софрония, Берона и других книжников первой половины XIX в. различаются между собой на орфографическом, структурном и диалектном уровнях, что противоречит смыслу, вкладываемому в термин «национальный литературный язык». Отграничение выделенного в периодизации «новоболгарского народностного литературного языка» дамаскинов от «новоболгарского национального литературного языка», между которыми, как это специально подчеркивает Л. Тодоров, существует несомненная внутренняя зависимость, основано лишь на хронологической границе, кстати самой по себе весьма условной, между «периодом феодализма и народности» и «периодом нации» [21].

Нет сомнения в том, что становление и развитие нации накладывает существенный отпечаток на характер литературного языка, выдвигая на первый план вопрос о выработке и кодификации единых для нации норм этого языка, и что это влияние особенно ощутимо в условиях, когда к моменту формирования нации она не располагает достаточно развитым вариантом литературного языка на народной основе. Однако вряд ли можно согласиться с предложенным в периодизации Л. Тодорова мнением, что с самого начала становления нации существующие формы письменного языка приобретают характер национального литературного языка.

К недостаточно четким результатам приводит предпринятая Б. Велчевой попытка рассматривать историю литературного языка как историю литературной нормы и отсюда основой периодизации этой истории считать критерий изменений в книжной норме. Исходя из убеждения, что на всех этапах развития болгарской письменности для нее было характерным существование определенных языковых и орфографических правил (что дает основание говорить об едином объекте периодизации), Б. Велчева предлагает выделить два основных периода в развитии литературного языка в Болгарии с момента установления турецкого ига (XIV в.): 1) период архаичного (древнеболгарского) литературного языка с некоторыми сербскими особенностями правописания, следование которому продолжается

[21] Л. Тодоров, По някои терминологични и други въпроси на българския литературен език, БЕ, 1965, 4—5, стр. 371—372, 379.

вплоть до XVIII в., и 2) период новоболгарского литературного языка, в котором в свою очередь выделяются: а) этап раннего новоболгарского литературного языка, сформировавшегося в XVII в. в восточной Болгарии в новоболгарских редакциях дамаскинов и характеризующегося «революционным и систематическим внесением новоболгарских языковых особенностей, стремлением к последовательности и правильности в употреблении выбранных средств языка и правописания», влиянием со стороны архаичной письменности, и б) этап современного болгарского литературного языка с национальнообъединяющей литературной нормой, начало которого следует искать в XIX в. [22].

Нетрудно убедиться, что согласно данной периодизации в рамки двух самостоятельных периодов попадают и, следовательно, дважды в ней выступают XVII и XVIII вв. Безусловно, это связано с желанием отразить реальную литературно-языковую ситуацию (наличие различных типов литературного языка в восточной и западной Болгарии) в стране в эти столетия. Но в таком случае следовало бы учесть и использование в этот период, особенно в XVIII в., других типов книжного языка, в частности, церковнославянского русской редакции (как иную норму), а также многочисленные опыты писать на чистом диалекте (как отсутствие нормы и тенденции к норме) и найти им место в периодизации, претендующей отразить историю нормы. Нельзя также пройти мимо большого числа памятников «среднеболгарской» редакции, а позднее — памятников со смешением архаичной западноболгарской и церковнославянско-русской норм [23]. По-видимому, само по себе бесспорно важное и ценное предложение о необходимости учета преемственных связей в развитии литературной нормы при изучении истории литературного языка в Болгарии, в частности, при исследовании процесса формирования современного литературного языка не может явиться достаточным критерием периодизации этой истории.

Критерии периодизации истории литературного языка следует, видимо, искать прежде всего в том, какими средствами удовлетворяются потребности общества в инструменте культурного общения на протяжении многовековой жизни данного народа, каковы сами эти исторически изменяющиеся культурные потребности и каковы в связи с этим функции, сфера действия, характер литературного языка, т. е. в особенностях функционирования литературного языка в той или иной историко-культурной ситуации, в смене этих ситуаций. Изменения в субстанции и структуре конкретного «языкового органа» принимаются в расчет в той мере, в какой они позволяют идентифицировать или размежевать различные типы письменного и литературного языка, отграничить их один от другого или свести в одну разновидность. Таким образом, в основу периодизации должны лечь итоги лингвистических и историко-филологических наблюдений, позволяющих выявить наиболее существенные, безусловные сдвиги как во внутренней, так и во внешней сферах жизни литературного языка в их историческом единстве.

Исходя из предложенных критериев, целесообразно выделить следующие периоды истории литературного языка в Болгарии.

1. Период с IX в. до конца XVI в., на протяжении которого в качестве единого литературного языка в Болгарии выступал древнеболгарский литературный (стандартный) язык, точнее хронологически сменявшие одна другую и хронологически сосуществовавшие редакции этого языка, не

[22] Б. Велчева, Норма и традиция в българския книжовен език от XVI—XVIII в., БЕ, 1966, 2, стр. 110—121.

[23] Мы не рассматриваем здесь вопрос о правомерности предложенного в работах Б. Велчевой и Л. Тодорова определения языка новоболгарских дамаскинов, восходящих к архетипам XVII в., как языка литературного.

затрагивавшие существенно его грамматическую и словарную основу. Этот синтетический по своей грамматической структуре литературный язык, обслуживавший главным образом нужды конфессиональной литературы и не имевший своей развитой устной разновидности, уже с XIV—XV вв. коренным образом отличался от живого общенародного болгарского языка, обладавшего к этому времени развитым аналитическим строем. Последнее обстоятельство в значительной мере определило дальнейшую судьбу литературного языка в Болгарии.

2. Период XVII — первой половины XIX в., на протяжении которого в Болгарии сосуществовали различные типы письменного языка, претендовавшие на роль литературного и отражавшие тенденцию к демократизации литературного языка, к сближению его с живым народным языком при сохранении элементов книжной традиции (язык новоболгарских дамаскинов, восходящих к архетипам XVII в., язык Иосифа Брадатого — Паисия Хилендарского, Софрония Врачанского и других книжников начала XIX в.), а также поздние редакции древнеславянского языка, уже утратившего свои качества единого литературного языка (болгаро-сербская, церковнославянско-русская) и многочисленные локальные опыты использования в качестве языка письменности чистого диалекта (как крайнее, обреченное на невозможность какой-либо стабильности проявление тенденции к демократизации). Разнообразие типов письменного языка в этот период обусловлено различными в каждом из них способами решения вопроса о соотношении народных элементов и книжной традиции, а также выбором конкретной диалектной основы. Сфера применения каждого типа письменного языка была весьма ограниченной, нередко замыкаясь в рамках деятельности конкретного книжника, не распространялась на устное общение; в то же время между отдельными типами письменного языка шло взаимодействие и существовала безусловная преемственная взаимосвязь.

В рамках этого периода по характеру задач, которые призваны были выполнять вновь создаваемые типы письменного языка, различаются: а) этап дивергентного развития (XVII—XVIII вв.) с его центробежной тенденцией к осуществлению все новых и новых опытов демократизации литературного языка и б) этап конвергентного развития (первые три четверти XIX в.) с его тенденцией к выработке и кодификации единых для нации норм литературного языка и бурной борьбой мнений по данному вопросу.

3. Период с 70-х годов XIX в. по настоящее время, на протяжении которого в Болгарии совершенствуется в рамках присущего ему аналитического строя единый нормированный поливалентный национальный литературный язык с его письменной и устной развновидностями и развитой системой стилей.

Для понимания особенностей современного болгарского литературного языка особо важное значение имеет второй, переходный период истории литературного языка в Болгарии. Именно в этот период в процессе возникновения, сосуществования, взаимовлияния и смены различных типов письменного языка постепенно отбирались и формировались особенности, присущие грамматике, словарю и отчасти стилю существующего ныне литературного языка. В этом едином взаимообусловленном процессе постепенного и непрямолинейного «превращения потенциальных возможностей языка как системы выразительных средств в факт осознанных, принятых образцов речевого общения» [24] проявилось историческое своеобразие выделенного периода в целом.

[24] Г. В. Степанов, Испанский язык Америки в системе единого испанского языка. Автореф. докт. диссерт., Л., 1966, стр. 9.

Открывает этот период новоболгарский в своей основе язык памятников письменности начала XVII в.— дамаскинов, явившийся качественным скачком в истории литературного языка в Болгарии [25]. Именно в языке старших новоболгарских дамаскинов был впервые осуществлен синтез возможностей, предоставляемых народным болгарским языком аналитического строя, и богатого наследства старого литературного языка, причем в структурном отношении победила живая болгарская речь [26]. Таким образом впервые был намечен путь, по которому в конечном счете пошло формирование современного болгарского литературного языка, хотя, бесспорно, скромные безвестные дамаскинари, предпринявшие первую сознательную попытку писать «бльгарскимь езикомь», о чем неоднократно упоминается в заголовках отдельных статей (см., например, Тихонравовский дамаскин XVII в., л. 21 об., Троянский дамаскин XVII в., л. 47), не ставили и не могли поставить перед собой столь далеко идущих целей. Стимулом их деятельности было создание письменности, понятной простому народу, путем демократизации языка этой письменности, что в условиях турецкого ига и господства греческой церкви способствовало пробуждению национального самосознания. Самый замысел создать перевод с книжно-славянского языка болгаро-сербской редакции, которым они превосходно владели, на народный болгарский язык произведений, в свою очередь восходящих к греческим оригиналам (главным образом, к «Сокровищу» Дамаскина Студита), во многом определил успех их начинания — тем более, что они сознательно стремились последовательно использовать выбранные языковые средства и особенности опирающегося на традицию правописания [27], пополнять недостающее в арсенале народного языка за счет выразительных возможностей высоко развитого литературного языка, с которого они переводили. Предпринятая попытка включить один из восточно-болгарских балканских диалектов в сферу достаточно высокой культуры, бесспорно, облегчалась намеренно популяризаторским, общедоступным содержанием произведений Дамаскина Студита.

Создателям старших редакций новоболгарских дамаскинов удалось понять и отразить ведущую тенденцию своего времени. Об этом свидетельствует не только широкое распространение созданных ими сборников, которые переписывались в Болгарии на протяжении двух веков, пополняясь все новыми переводами и редакциями старых [28], но и появление в XVII—

[25] Подробные сведения о дамаскинах — сборниках поучительного содержания, восходящих прямо или опосредствованно к «Сокровищу» Дамаскина Студита (Венеция, 1557—1558),— об истории их создания, составе и редакциях текста и т. п., а также библиографические данные о них см.: Д. Петканова-Тотева, Дамаскините в българската литература, София, 1965; Е. И. Демина, Тихонравовский дамаскин. Болгарский памятник XVII в., I, София, 1968.

[26] Из работ последних лет, позволяющих на конкретном фактическом материале судить о синтезе книжно-славянских и народных болгарских элементов в грамматическом строе, словообразовании и словаре новоболгарских дамаскинов, можно назвать: В. Попова, Словоредът на атрибутивната синтагма в езика на дамаскините, «Известия на Института за български език», XVI, София, 1968; Е. Кочева, За превръщането на граматичните архаизми в езикови формули в дамаскини от XVIII век, там же; е е же, За някои особености на жителските и народностните названия в дамаскините, «Славистичен сборник», София, 1968; T. Szymański, Słowotwórstwo rzeczownika w bułgarskich tekstach XVII—XVIII wieku, Wrocław — Warszawa — Kraków, 1968; К. Бабов, Езикът на дамаскините и въпросът за черковнославянското и руското влияние върху българския книжовен език, «Славистични изследвания», София, 1968.

[27] На высокую для своего времени степень нормированности и устойчивости языка старших дамаскинов обратил внимание еще В. И. Ламанский (см. его «Непорешенный вопрос», ЖМНП, ч. 144, 1869). Ср.: Б. Велчева, указ. соч., стр. 115—118.

[28] О значении, которое придавали старшим новоболгарским дамаскинам еще и в начале XIX в., свидетельствует, например, попытка печатно издать в Кишиневе меж-

XVIII вв. многочисленных новых опытов демократизации языка письменности, по-разному решающих проблему соотношения в нем книжных и народных элементов, нередко сводящихся к попытке писать на диалекте [29].

Среди этих опытов следует специально отметить деятельность видного книжника XVIII в. иеромонаха Рыльского монастыря Иосифа Брадатого, поставившего целью создать «поѫчителны книгы на прости ѩзикъ, да се разбиратъ и просты людіе и безъкнижны да разѫмеютъ» [30] и выработавшего образец «полуцерковного», по выражению Б. Цонева [31], языка с чертами сербского правописания и с широким использованием лексики и грамматических моделей живого народного языка [32]. Иосиф Брадатый оказал большое влияние на книжников второй половины XVIII в., продолживших его попытку писать на «простом» языке: Никифора Рыльского, Тодора Врачанского, Янкула Хрельовского, Романа Габровского, Григория Илиовича, Теофана Рыльского [33]. К школе Иосифа Брадатого, по мнению Б. Цонева, принадлежал и Паисий Хилендарский [34].

Новоболгарские редакции дамаскинов начала XVII в., с одной стороны, деятельность Иосифа Брадатого и его последователей, с другой, определили две основные линии развития языка болгарской письменности, с которыми столкнулись писатели эпохи Возрождения [35]. Особую область представляли многочисленные богослужебные печатные книги, доставлявшиеся из России [36]. Можно думать, что расхождения в языке произведений Софрония Врачанского в известной степени объясняются попыткой объединить обе ведущие линии развития новоболгарской письменности, разграничив жанрово их использование. Так, в автобиографическом повествовании, повестях и баснях язык Софрония смыкается с языком новоболгарских дамаскинов, в произведениях более высокого жанра, таких как «Неделник», «Гражданское позорище»,— с языком Иосифа Брадатого и Паисия Хилендарского.

В первой половине XIX в. тенденция к демократизации литературного языка продолжает действовать, однако она подчинена выступившей на первый план тенденции к созданию единого для нации литературного языка, впервые ярко отраженной П. Бероном. Лишь писателям XIX в.—

ду 1810—1829 гг. Тихонравовский дамаскин, о чем имеется запись в рукописи (см.: Е. И. Демина, Тихонравовский дамаскин. Болгарский памятник XVII в., II, в печати). Известно, что видный писатель-возрожденец Софроний Врачанский в 1765 г. тщательно переписал один из дамаскинов, восходящих к архетипу XVII в. (список хранится в собрании П. Сырку № 13.5.18 Ленинградской библиотеки АН СССР).

[29] Ср., например, перевод с греческого на чистый диалект, дошедший до нас в Бачковском дамаскине XVIII в. (отрывок текста из него см. в кн.: Д. Петканова-Тотева, указ. соч., стр. 96—98) или язык оригинального сочинения книжника XVIII в. Иосифа Хилендарца «Слово о пользе чтения» (полный текст см. в кн.: Б. Ст. Ангелов, Съвременници на Паисий, I, София, 1963, стр. 201—206).

[30] Цит. по кн.: Б. Ст. Ангелов, указ. соч., I, стр. 79.

[31] Б. Цонев, История на българский език, I, София, 1919, стр. 282.

[32] Из последних работ о нем см.: Б. Ст. Ангелов, указ. соч., I, стр. 23—85 (здесь и библиографические данные); Д. Петканова-Тотева, указ. соч., стр. 134—169.

[33] См. о них: Б. Ст. Ангелов, указ. соч., I, стр. 86—117; II, София, 1964, стр. 84—139; Д. Петканова-Тотева, указ. соч., стр. 169—178.

[34] Б. Цонев, От коя книжовна школа е излязъл Паисий Хилендарски, «Славянски глас», 1912, 5—6, стр. 165—174.

[35] Вопрос о влиянии языка дамаскинов и Иосифа Брадатого на писателей эпохи Возрождения находится в стадии начальной разработки. Из немногих конкретных шагов в этом направлении см.: К. Ничева, Езикът на Софрониевия «Неделник» в историята на българския книжовен език, София, 1965. Интересные замечания о возможных следах влияния письменности дамаскинов в языке Берона см.: К. Мирчев, Историческа граматика на българския език, София, 1963, стр. 32; Б. Велчева, указ. соч., стр. 119.

[36] См.: Л. Андрейчин, Ролята на черковнославянския език за изграждането на съвременния български книжовен език, БЕ, 1958, 4—5.

П. Р. Славейкову, Л. Каравелову, Хр. Ботеву, И. Вазову в их творчестве удалось закрепить в общем современный облик болгарского национального литературного языка.

Таким образом, XVII в.— первая половина XIX в. в Болгарии могут быть охарактеризованы как период постепенного становления особенностей, свойственных ныне литературному языку. Нет оснований расчленять этот единый взаимообусловленный процесс, выделяя из сложнейшей историко-культурной ситуации какой-либо один из типов письменного языка (например, язык Паисия) и возводя его в ранг «начала» современного болгарского литературного языка. Весь период XVII в.— первой половины XIX в. в своем историческом единстве составляет предмет предыстории современного литературного языка, в разработке проблем которой должны объединиться усилия лингвистов и филологов. Об истории современного болгарского литературного языка можно говорить лишь начиная с последней четверти XIX в.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 6 1969

Г. К. ВЕНЕДИКТОВ

О НОРМАЛИЗАЦИИ УСТНОЙ РЕЧИ НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ФОРМИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННОГО БОЛГАРСКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА

В настоящей статье будет рассмотрен вопрос о том, какое место в общей нормализации современного болгарского литературного языка на начальном этапе формирования занимала нормализация устной речи как одной из его форм.

Начальный этап формирования современного болгарского литературного языка, по нашему мнению, ограничивается 30—60-ми годами XIX в. Именно в эти годы нормализация языка предстает как национальная проблема создания единого и общеобязательного для всех образованных болгар языка, как проблема создания общеболгарского литературного языка. Отсутствие непрерывной и достаточно сильной литературно-письменной традиции, ограниченной к тому же рамками главным образом конфессиональной литературы, значительное диалектное разнообразие, влияние разных филологических школ за пределами и в самой Болгарии и другие внелингвистические факторы явились причиной того, что с момента зарождения самой идеи о необходимости общего для всех болгар литературного языка, возникает и острая дискуссия о характере этого языка и путях его создания. Живое обсуждение этих и многих других общих и частных вопросов языка, учительская и литературная, журналистическая и книгоиздательская деятельность известных, малоизвестных и совсем неизвестных деятелей болгарского Возрождения привели к тому, что в течение всего лишь нескольких десятилетий были установлены основные правила функционирующего ныне литературного языка, определившие характерные особенности его орфографии, грамматики, лексики, а в значительной мере и орфоэпии.

Для указанного периода характерно почти единодушное стремление болгарской интеллигенции к скорейшему созданию единого литературного языка. Здесь нет возможности даже кратко рассмотреть все разнообразие аргументации, приводившейся в доказательство того, что уже настало время болгарам иметь единый литературный язык и что создание его не терпит далее отлагательств. Подчеркнем лишь, что необходимость скорейшей нормализации литературного языка по пути унификации и создания единых и общеобязательных его норм первоначально связывалась преимущественно с задачами быстрейшего развития просвещения, литературы и других областей культурной жизни политически и духовно угнетенного, но уже пробудившегося болгарского народа, а позднее и с задачами сохранения и укрепления национального единства болгар. В качестве иллюстрации к сказанному сошлемся на мнение лишь нескольких деятелей болгарского Возрождения.

Уже Неофит Рилский, автор первой болгарской грамматики (1835) писал, что просыпающиеся от долгого сна и невежества болгары должны срочно усовершенствовать и нормализовать свой язык («да вообразят бе-

зобразието на българския език»), чтобы со временем и они могли «пить и наслаждаться вкусной и прозрачной водой своих, а не чужих источников» [1]. Несколько позднее И. Добрович подчеркивал (1850), что создание «письменного славяноболгарского языка» — это «исключительно важный и очень нужный предмет» [2]. В конце 60-х годов Т. Икономов, редактор издававшегося в Болграде журнала «Общий труд» писал: «Обработка („разработването") языка, особенно языка нового, еще не установившегося, каким является наш болгарский, должна составить самую важную и существенную сторону развития и просвещения народа» [3]. На первостепенное значение создания единого литературного языка неоднократно указывала и газета «Цариградский вестник». Так, в одной из редакционных статей она писала (1859), что создание такого языка — это «животрепещущее, важное и чрезвычайно необходимое для умственного и нравственного развития болгарского народа дело» [4]. В статье говорилось, что с созданием единого литературного языка болгарская литература обретет крылья, с помощью которых она достигнет «достойных и похвальных успехов». Необходимость единого языка здесь прямым образом связывалась с самим существованием болгар как самостоятельного народа. «Раз мы называемся болгарским народом,— писала газета,— то мы должны иметь и единый язык болгарский» [5]. Именно в единстве литературного языка видели многие деятели Возрождения и признак единства, и средство единения, сплочения болгарского народа. Известный книгоиздатель прошлого века Х. Данов писал (1869), что создание «общей болгарской грамматики» (т. е. единого литературного языка) позволит болгарам «сохраниться навсегда и быть всем, как были и до этого, единым народом» [6]. Учитель П. Иванов, указывал (1871), что «общая грамматика — это самая прочная связь („връска") народа, сколь бы далеки ни были друг от друга его элементы и какой бы совершенно непонятный провинциализм не господствовал между ними» [7]. «Если мы один народ,— подчеркивал он в другом месте,— то мы должны иметь один литературный язык и одну грамматику» [8]. На огромное значение единого литературного языка, созданного на основе народно-разговорного языка, для судеб болгарского народа указывал и М. Дринов. В самом начале своей знаменитой статьи «О новоболгарской азбуке» (1870) он писал: «Нет сомнения, что от выработки единого литературно-письменного („книжовен-писмен") языка для всех болгарских областей во многом зависит укрепление („учвърстяването") нашей народности и хороший успех нашего национального развития. Пока разные болгарские области лишены единого общего органа, с помощью которого они могли бы одинаково проявить свою высшую духовную деятельность, до тех пор болгарская литература („книжнина") будет оставаться разобщенной, ее успехи будут слабыми, до тех пор и болгарский мир будет слабо осознавать свое национальное единство, свою духовную силу и могущество» [9].

---

[1] Н. Р и л с к и, Болгарска грамматика, Крагуевац, 1835, стр. 1—2.

[2] См. «Мирозрение», 1850, 1, стр. 44.

[3] [Т. И к о н о м о в], Программа за събиране образци по народната устна словесност и местни наречия, «Общ труд», год. I, кн. 1, 1868, стр. 1.

[4] См. статью «Предмет за болгарский език» в «Цариградски вестник», год. 9, № 456 от 19 XI 1859.

[5] Там же.

[6] См. «Летоструй», год. I, 1869, оборот л. 1. См. также заметку «Мнение за българското правописание» в «Македония», год. III, № 10, от 1 II 1869.

[7] П. И в а н о в, Язикословни размишления, «Македония», год V, № 38 от 20 IX 1871.

[8] П. И в а н о в, Българска грамматика по македонско наречие от г-на Мачуковски, «Право», год VII, № 34 от 30 X 1872.

[9] М. Д р и н о в, За новобългарското азбуке, «Периодическо списание», кн. 2, 1870, стр. 9.

Можно без преувеличения сказать, что требования скорее покончить с орфографическим хаосом и разнобоем в грамматике, с претензиями отдельных авторов выдвинуть их родные наречия в качестве общеболгарского литературного языка при игнорировании других наречий, с одной стороны, и постоянные призывы, раздававшиеся в грамматиках, предисловиях к разным книгам, на страницах периодических и других изданий, к скорейшему созданию и совершенствованию единого для всех болгар литературного языка, который бы в полной мере выполнял быстро растущие задачи национального Возрождения, с другой стороны, были лейтмотивом всей борьбы вокруг болгарского литературного языка, начиная с 20—30-х годов и в последующие десятилетия прошлого века. Приведенные выше цитаты (число подобных цитат можно легко умножить многократно) дают достаточно ясное представление о том, что болгарская интеллигенция того времени безотлагательному созданию единого литературного языка придавала первостепенное общенациональное значение.

Такие требования и призывы, однако, было нетрудно провозглашать; гораздо труднее было воплощать их на деле. Особенно сложным и трудным оказалось определение основных принципов и путей нормализации литературного языка и прежде всего установление его общего характера — того, что должно быть положено в его основу: «словенский» (церковнославянский) язык или живой народно-разговорной болгарский язык, а в последнем случае — какой именно диалект (наречие) или известный симбиоз диалектов (наречий). По этим вопросам болгарскими грамматистами и другими книжниками высказывались различные мнения. Упорная борьба этих мнений, переходившая нередко за рамки корректной дискуссии и закончившаяся, как известно, утверждением восточноболгарского (точнее — центральнобалканского) наречия в качестве основы современного литературного языка, составляет одну из наиболее интересных глав начальной истории этого языка.

Не останавливаясь здесь подробнее на этих и других спорных вопросах [10], отметим, что и в отношении нормализации литературного языка как таковой не было единства мнений. В мощном хоре голосов за скорейшую нормализацию языка заметным диссонансом звучали и немногие голоса тех, кто выступал против установления единых и обязательных норм уже в самое ближайшее время. Хотя противников такой нормализации было немного, их выступления также были весьма характерны для начального этапа формирования литературного языка.

Нужно, однако, подчеркнуть, что никто не считал, что нормализация языка вообще не нужна и невозможна. Более того, все сознавали ее необходимость, но, сознавая это, некоторые доказывали ее преждевременность, ставили нормализацию языка в зависимость от ряда условий и предпосылок (развитие литературы, составление общепринятой грамматики языка, изучение богатства всех диалектов и т. д.). До тех пор пока не возникнут необходимые условия и не созреют соответствующие предпосылки, не должно быть никаких ограничений в определении характера литературного языка, его диалектной основы и правописания. Поэтому стремление книжников установить с самого начала грамматические и орфографические нормы рассматривалось противниками безотлагательной нормализации как неоправданное навязывание частного мнения всем болгарам.

Достаточно развернутое обоснование преждевременности и даже бесплодности попыток нормализации языка находим уже у Захария Княжес-

[10] Подробнее эти вопросы рассматриваются нами в подготавливаемой к печати работе «Вопросы формирования болгарского литературного языка».

кого и Натанаила (1847). С их точки зрения, стремление книжников установить единые и обязательные для всех грамматические и орфографические правила — бесполезная затея. Никто из этих книжников,— писали они,— «не в состоянии убедить нас своими примерами, почему мы должны говорить и писать именно так, как они хотят, а не иначе» [11]. По их мнению, «исправление» болгарского языка и правописания — дело будущего, которое наступит тогда, когда болгарская литература станет богатой и когда будет составлена «полная грамматика». До этого каждый волен писать и говорить так, как он желает. Свое кредо ненормализованного языка Захарий Княжеский и Натанаил формулируют следующим образом: «В настоящее время мы должны говорить и писать так, как кто знает, не осуждая других. Каждый может всегда изложить свое мнение о языке, а со временем эти мнения могут быть упорядочены» («да ся положат в порядок») [12].

Такой же точки зрения придерживались и некоторые другие деятели Возрождения (и не только в середине XIX в., но и позднее), глубоко осознававшие саму необходимость единого языка. Существовавший значительный разнобой в языке издававшихся книг и разноречивые суждения грамматистов и других книжников по вопросу о характере литературного языка порождали у некоторых убеждение в том, что полное единство языка в таких условиях в ближайшее время не может быть достигнуто, несмотря на очевидную его необходимость, и что создание единого языка — это дело довольно далекого будущего. Характерным в этом смысле является мнение Р. Жинзифова, который писал (1863), что еще далеко то время, когда «все болгары будут писать одинаково, без малейших различий» [13]. Он не сомневался в том, что такое время непременно наступит, но не известно только, когда именно. Пока же, по мнению Жинзифова, достаточно и того, что «мы полностью („сосем") понимаем друг друга, когда пишем» [14].

Об известной популярности такой или близкой точки зрения среди болгарской интеллигенции середины XIX в. свидетельствуют и позиции некоторых периодических изданий по данному вопросу. Учитывая отрицательное отношение одних книжников к конкретным предложениям по «исправлению» языка, исходившим от других, и общее довольно хаотическое состояние языка и орфографии в издававшихся книгах, редакторы периодических изданий признавали целесообразным, чтобы на определенном этапе авторы пользовались свободой выбора и диалектной основы языка и орфографии. Так, газета «Цариградский вестник» в одной из редакционных заметок отмечала (1851), что никто из книжников и учителей еще не знает в совершенстве и безошибочно грамматики болгарского языка и что поэтому «каждый из нас должен писать так, как может, и, насколько может, должен придерживаться („да ся подвизава") лучшего наречия» [15]. Поступая таким образом, болгары будут содействовать «исправлению» своего языка, которое может быть достигнуто лишь «со временем» [16]. Более смело формулировала свою позицию в этом вопросе редакция журнала «Български книжици», которая писала (1858), что предоставляет своим авторам право писать на их наречии, и обещала печатать (и печатала) их статьи согласно принятому каждым автором правописанию [17]. Даже редакция журнала «Периодическо списание», придававшая исключительно

[11] См. «Зерцало или огледало христианское», М., 1847, стр. VI.
[12] Там же, стр. VII.
[13] См. «Новобългарская сбирка», М., 1863, стр. 16.
[14] Там же.
[15] См. заметку под рубрикой «Болгарски» в «Цариградски вестник», год. В, № 53 от 22 IX 1851.
[16] Там же.
[17] См. «Български книжици», год. I, ч. 1, 1858, стр. 131.

большое значение единству языка, в частности правописания, и призывавшая читателей следовать языковым нормам журнала, уже в начале 70-х годов допускала на первых порах печатание на страницах своего журнала статей, авторы которых следуют другому правописанию [18].

Такая позиция находила объективно сильную поддержку и со стороны тех, кто доказывал острую необходимость скорейшего создания «общего», т. е. литературного языка, но вместе с тем отмечал и целесообразность издания до поры до времени книг на разных наречиях. Их доводы сводились в основном к тому, что, во-первых, для создания единого и понятного для всех болгар языка необходимо знать все разнообразие и все свойства, особенности языка, и, во-вторых, для совершенствования и обогащения языка надо использовать неисчерпаемое богатство всех наречий. Так, уже в конце 60-х годов, когда вопрос о диалектной базе по существу был решен и издание книг на местных наречиях несомненно не могло рассматриваться как средство, стабилизирующее уже достигнутое в этом вопросе единство, крупнейший болгарский поэт XIX в. Петко Славейков признавал полезным публикацию книг не только на «общем» наречии, т. е. общеболгарском литературном языке с его северо-восточной диалектной основой, но и на македонском наречии. «Мы не говорим,— указывал он,— что не нужно писать на македонском наречии; наоборот, мы хотим, чтобы писали (и на этом наречии.— *Г. В.*) для познания богатства языка» [19].

Естественно, что подобные высказывания, какие бы мотивы они под собой не имели, вряд ли способствовали утверждению у читателей убеждения в необходимости следования известным нормам уже сложившегося в целом к 70-м годам XIX в. литературного языка на основе восточноболгарского (центральнобалканского) наречия.

В общем же выступления против нормализации языка и на начальном этапе формирования современного болгарского литературного языка, как мне кажется, не имели ни широкого размаха, ни большого числа приверженцев. Они были направлены скорее не столько против утверждения единых норм как таковых, сколько против немедленной их выработки, а также против предлагавшихся принципов их выработки и путей нормализации языка.

Как, вероятно, можно было заметить, выше речь шла пока о нормализации литературного языка в целом, безотносительно к его отдельным формам (разновидностям, вариантам). Именно так обычно и рассматриваются в существующей литературе вопросы начальной истории формирования современного болгарского литературного языка. Правда (и это весьма существенно), при этом имеется в виду нормализация, как правило, только письменной формы этого языка — нормализация орфографии, грамматики, а также лексики письменного языка. Что же касается устной формы (разновидности) как важнейшей составной части современного болгарского литературного языка, то ее нормализация обычно не выделяется специально из общего рассмотрения нормализации литературного языка (точнее — его письменной формы), исключая, разумеется, историю становления ряда орфоэпических норм этого языка [20].

Между тем, становление норм устной речи, т. е. нормализация устной формы литературного языка, как известно, представляет особый (хотя и

---

[18] См. «Няколко думи за изучване и обработване на български сегашен език и за народната ни книжнина въобще» в «Периодическо списание», кн. 1, 1870, стр. 15.

[19] См. «Македония», год. II, № 13 от 24 II 1868.

[20] См. например: Л. Андрейчин, Характер и произход на някои структурни особености на новобългарския книжовен език, «Славистичен сборник», София, 1963.

тесно связанный с нормализацией письменного языка) и сложный процесс со своими специфическими особенностями, который еще слабо исследуется вообще и применительно к болгарскому литературному языку, в частности. Поэтому представляется уместным остановиться специально [21] прежде всего на том, как на начальном этапе формирования болгарского литературного языка при почти единодушном стремлении интеллигенции создать единый, общеболгарский язык решался вопрос о нормализации устной речи как одной из форм литературного языка в целом: подлежала ли нормализации и устная речь или же единство литературного языка сводилось на этом этапе только к единству и общеобязательности норм письменного языка [22]?

Надо сразу сказать, что в многочисленных выступлениях грамматистов и других книжников о необходимости единого и общеобязательного для болгар всех областей литературного языка обычно указывалось на нормализацию не только письменного языка (прежде всего орфографии), но и устной речи. И то и другое обычно характеризовалось как установление правил того, как нужно «правильно писать и говорить» по-болгарски.

Так, еще до возникновения горячих споров вокруг вопросов литературного языка и до издания первой болгарской грамматики А. Кипиловский указывал (1825), что болгарский язык должен иметь не только «правильное правописание» («правильното правописание»), но и «правильную устную речь» или, как он писал, «правоглаголание» [23].

Наиболее важным свидетельством того, что нормализация («исправление») литературного языка, по представлению тогдашних книжников, должна привести к достижению единства и устной речи, служат прежде всего грамматики болгарского языка. Начиная с И. Богорова, авторы почти всех грамматик неизменно утверждали, что задача грамматики состоит в том, чтобы научить болгар правильно писать и говорить по-болгарски. В подтверждение этого важного положения приведем мнение ряда авторов, обычно открывавших изложение орфографических и грамматических правил именно этим положением.

Уже в первом издании своей известной грамматики (1844) И. Богоров утверждает: «Болгарская грамматика учит нас г о в о р и т ь и писать п р а в и л ь н о („уредно“) п о - б о л г а р с к и» [24] (здесь и ниже разрядка наша — *Г. В.*). Это же констатируют в своих грамматиках Й. Гру-

---

[21] Мы сознательно ограничиваемся только анализом мнений, высказанных разными книжниками по затрагиваемым здесь вопросам в острой борьбе за создание общеболгарского литературного языка, и отдаем себе отчет в том, что такой анализ, естественно, не может отразить и не отражает в полной мере того, как действительно в процессе самого функционирования литературного языка утверждались в нем те или иные нормы его устной формы. Однако «борьба мнений» вокруг проблем устройства единого литературного языка представляет, по нашему убеждению, большой самостоятельный интерес не только как страница общекультурной истории болгар, но и как важнейшая страница истории литературного языка. «Борьба мнений» была одним из важных внешних факторов, определявшим пути нормализации и развития литературного языка.

[22] То, что письменный язык должен быть нормализован или, как тогда многие писали, «исправлен», т. е. должен обладать едиными правилами грамматики, не говоря уже о единых правилах орфографии, что этот язык должен иметь богатую и разнообразную лексику, необходимую для сочинения и перевода разных, в том числе и узкоспециальных книг, статей и других произведений, не вызывало сомнений, представлялось очевидным и почти само собой разумеющимся.

[23] См. «Священное цветообрание или сто и четире священи истории, избрани от ветхиат и новиат завет в полза на юношеството», перевод А. Кипиловского, Будин, 1825, стр. XII.

[24] И. А н д р е о в [Б о г о р о в]. Първичка българска грамматика, Букурещ, 1844, стр. 3. См. также: И. А н д р е о в [Б о г о р о в], Първичка българска словница, Стамбол, 1848, стр. 1.

ев и Д. Войников [25]. К этому же в сущности, хотя и не в столь очевидной формулировке, сводит задачи грамматики и И. Момчилов — автор одной из лучших, если не лучшей, грамматики болгарского языка, изданной до освобождения Болгарии. Он писал, что грамматика языка как наука, в том числе и грамматика болгарского языка, «исследует правильное соответствующее („свойственно") устройство любого языка со всеми его формами» [26]. Таким «правильно устроенным» языком является «письменный или ученый язык» («писмовен или учен език»), иными словами — литературный язык. Это тот «общий язык», который «образованные люди („учените") какого-либо народа все единодушно употребляют», «на котором они г о в о р я т и пишут» [27]. Без грамматики, указывал Т. Хрулев (1859), «никто не может написать или с к а з а т ь („да изговори") что-либо п р а в и л ь н о» [28].

Это же утверждали и другие авторы в своих статьях и предисловиях к разным книгам. Х. Сичан-Николов, например, писал (1845), что Болгария нуждается не в «местной» грамматике, какой он считал грамматику И. Богорова, а в «общей», которая бы объединила все области Болгарии (восточную и западную, центральную, северную и южную) в «едином („съгласно") правописании и у с т н о й р е ч и» („говорене")» [29]. А неизвестный автор интересной статьи «О всеобщей болгарской граммати ке» указывал в 1858 г., что, если вопрос о «письменном всеобщем болгарском языке», прежде всего вопрос о его орфографии, в принципе уже решен, то вопрос об устной форме литературного языка — о том, как должен « г о в о р и т ь каждый образованный и культурный болгарин»,— еще предстоит решить собранию ученых [30].

Иногда задача нормализации устной речи выдвигалась даже на передний план, ибо создание общеболгарского письменного языка рассматривалось как само собой разумеющееся дело. Так, некто Т. Р. (1862), указав на отсутствие единой болгарской грамматики, подчеркивал «большую необходимость в едином („единообразен") языке, на котором бы говорили болгары восточные и западные, южные и северные» [31]. К. Шапкарев считал даже нормализацию устной речи более актуальной задачей, нежели установление единой орфографии. Предлагая нормализовать общеболгарский литературный язык с учетом особенностей и македонского наречия, К. Шапкарев подчеркивал (1870), что его интересует при этом не столько орфографическая сторона устройства такого языка («правописателната част»), сколько собственно языковая, в том числе и устно-речевая («езичната или говорителната») [32].

Очень важно отметить и такую деталь, связанную с терминологической пестротой в обозначении того понятия, которое сейчас обычно передается термином «литературный язык» (у болгар теперь обычно — «книжовен език»). В начальные десятилетия своей истории современный болгарский литературный язык обозначался разными терминами («общ език», «единен книжовен език», «писмен език», «писмовен език», даже «литературен

---

[25] Й. Г р у е в, Основа за блъгарска грамматика, Белград, 1858, стр. 1; Д. В о й н и к о в, Кратка българска грамматика с упражнения, Пловдив, 1864, стр. 5.

[26] И. М о м ч и л о в, Грамматика за новобългарския език, Русчук, 1868, стр. 5.

[27] Там же.

[28] Т. Х р у л е в, Българска грамматика, Букурещ, 1859, стр. 3.

[29] Х. С и ч а н - Н и к о л о в, Българска аритметика, Букурещ, 1845, стр. V.

[30] См. «За всеобща българска грамматика» в «Български книжици», год. I, ч. 3, 1858, стр. 101.

[31] См. «Цариградски вестник», год. 13, № 36 от 1 IX 1862.

[32] К. Ш[а п к а р е в], [Языкословие], «Македония», год. IV, № 61 от 25 VI 1870.

език» и др.), из которых в данном случае особый интерес представляет употреблявшийся некоторыми термин «письменный язык» («писмен език», «писан език» и др.). Этим термином иногда обозначался не только письменный язык как таковой, но и устная речь образованных людей. Так, уже в 1845 г. Х. Сичан-Николов, рассуждая о «письменном языке» («писан язик»), указывал, что на нем п р а в и л ь н о г о в о р я т только образованные люди («книжните чада»), а простой народ в разных областях говорит на местных диалектах [33]. Неизвестный автор статьи «Болгарское правописание и язык» (1869) писал, что «письменный язык» — это «язык, на котором г о в о р я т и пишут болгарские книжники и ученые» («книжници и учени»), т. е. образованные люди [34].

К такому мнению, однако, нормализаторы болгарского литературного языка пришли не все и не сразу. В первые годы споров вокруг литературного языка многие на первое место определенно ставили нормализацию письменного языка, рассматривая нормализацию устной речи как второстепенную и явно менее актуальную задачу. Е. Васкидович, например, сообщал (1856) «всему болгарскому обществу», что «движимый родолюбием», он сочинил грамматику разговорного языка («говоримий български язик»), в которой изложил не только то, как говорят болгары, но и то, «как они должны говорить и о с о б е н н о п и с а т ь» [35]. Особенно характерной была такая позиция для приверженцев архаизованной, церковнославянской основы литературного языка. Так, П. Пиперов полагал (1845), что с отказом от членных форм и введением старых падежей во всей Болгарии будет достигнуто единство «если не в устной речи („глаголании“), то по крайней мере в письменном языке („писании“) очень скоро» [36].

Высказывалось также мнение о том, что устная речь не может быть нормализована одновременно с установлением общих правил письменного языка, что ее нормализация — дело будущего. Так, неизвестный автор считал (1852) возможным установление единых и общих для всех только норм письменного языка и ограничивал, таким образом, единство литературного языка лишь рамками письменного языка. Относительно устной речи он полагал, что достижение ее единства — дело невозможное. Он писал: «На данном языке все могут одинаково писать, но на нем отнюдь нельзя говорить одинаково» [37]. Нужно, однако, отметить, что и этот скептически настроенный автор все же не отрицал полностью возможность установления и единых норм устной речи. Он допускал, что можно и «говорить одинаково», но считал, что так, т. е. «одинаково», могут говорить только «ученые (образованные, грамотные люди.— *Г. В.*), которые учили язык по книгам» [38].

В целом же из сказанного выше следует, что задача нормализации современного болгарского литературного языка на начальной стадии его формирования не ограничивалась книжниками только рамками письменной формы (письменного языка), но совершенно определенно распространялась, как правило, и на устную речь. При этом нормализация последней,

---

[33] Х. С и ч а н-Н и к о л о в, указ. соч., стр. III—IV.

[34] См. статью «Българското правописание и език» в «Право», год. IV, № 38, от 15 XI 1869; см. то же под рубрикой «Българската книжевност» в «Македония», год. IV, № 4 от 25 XI 1869.

[35] Е. В а с к и д о в и ч, Обявление, «Цариградски вестник», год. 6, № 295, от 22 IX 1856.

[36] См. его предисловие к кн.: «Приключения Телемаха сына Одисеевааго», Виена, 1845, стр. 22.

[37] См. заметку «Болгарски» в «Цариградски вестник», год. В, № 75 от 23 II 1852.

[38] Там же.

хотя и рассматривалась как важная задача, считалась все же менее актуальной, чем нормализация письменного языка, задачей.

Что же касается самой кодификации норм устной речи, то она в значительной мере определялась взглядами грамматистов и других книжников на нормализацию литературного языка вообще и прежде всего на характер его основы и соотношение его устной и письменной форм. И поскольку по этим вопросам высказывались различные мнения, постольку и «правильная» устная, т. е. литературная речь разными кодификаторами наделялась не всегда одинаковыми признаками. В ходе развития болгарского литературного языка возобладало, как известно, северо-восточное (точнее — центральнобалканское) наречие, важнейшие особенности которого легли в основу как письменной, так и устной форм литературного языка.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 6 1969

Л. Н. СМИРНОВ

О РОЛИ АНТОНА БЕРНОЛАКА В ИСТОРИИ СЛОВАЦКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА

Словацкий историк Ян Тибенский отмечал, что в словацкой историографии мало таких вопросов, при оценке и толковании которых было столько полемик, споров, противоречивых суждений, как вопрос о значении, роли и месте А. Бернолака и бернолаковского движения вообще в истории словацкого народа [1]. Чем же вызвано такое внимание к личности Антона Бернолака (1762—1813) — словацкого просветителя, католического священника, первого кодификатора словацкого литературного языка? Оно обусловлено целым рядом объективных и субъективных причин. Деятельность Бернолака и его сторонников (конец XVIII — первая половина XIX в.) протекала в обстановке нарождающегося национального и социального движения словаков, вызванного к жизни кризисом старого феодального строя в Австро-Венгерской монархии (составной частью которой была Словакия), процессом зарождения экономических, общественно-политических и национальных отношений новой капиталистической эпохи. С конца XVIII в. словацкая народность начинает постепенно перерастать, консолидироваться в нацию [2]. В условиях двойного национального гнета (со стороны правящих слоев немецкой и венгерской нации) особое значение приобретает борьба словаков за равноправие, за национальную культуру и родной язык. Выступление в этот период А. Бернолака, сделавшего первую целенаправленную попытку узаконить и ввести в жизнь литературный словацкий язык, явилось очень важным национально-культурным актом. В конкретно-исторической ситуации того времени языковая реформа Бернолака затронула сложный клубок острых национальных и идеологических противоречий (отметим хотя бы такие существенные моменты, как словацко-венгерские, словацко-чешские отношения; далее оппозиция внутри самого словацкого общества, обусловленная конфессиональными различиями: католики — протестанты, классовые и сословные противоречия и др.). При оценке деятельности Бернолака, особенно при характеристике целей и идеологической направленности бернолаковского движения, его идейных предпосылок, а также и целей самой языковой реформы нередко высказывались крайне противоположные односторонние взгляды. Сторонники буржуазной концепции единой чехословацкой нации часто обвиняли Бернолака в подрыве чешско-словацкого единства, в сепаратизме. В некоторых работах ему приписывались провенгерские устремления. Иногда чрезмерно преувеличивалась роль религиозных мотивов. Идеологи словацкого буржуазного национализма некритически превозносили деятельность Бернолака.

За последнее десятилетие в Словакии было опубликовано много работ, в которых исследуются исторические, общественно-политические и эконо-

[1] J. Tibenský, K starším i novším názorom na A. Bernoláka, bernolákovské hnutie a slovenské národné obrodenie, «Historický časopis», XIV, 3, 1966, стр. 329.

[2] «Dejiny Slovenska», Bratislava, 1961, стр. 384.

мические условия возникновения и начального этапа развития словацкого национального движения, определяется роль и место бернолаковского течения в сложной идейно-политической и национальной борьбе того времени, в истории словацкого народа [3]. И хотя некоторые вопросы остаются еще нерешенными или спорными, в целом вырисовывается положительная оценка деятельности Бернолака и его сторонников как деятельности «будительской», национально-патриотической, связанной с начальным этапом словацкого национального возрождения [4].

Ясно, что роль и значение Бернолака нельзя сводить только к языковой реформе. Однако в данной статье мы будем рассматривать его деятельность именно в лингвистическом аспекте и попытаемся показать его вклад в формирование словацкого литературного языка.

Языковая реформа Бернолака открывает начальный этап процесса становления и развития литературного словацкого языка. Чтобы раскрыть ее смысл и значение, необходимо хотя бы очень кратко охарактеризовать языковую ситуацию в Словакии накануне выступления Бернолака.

До конца XVIII в. словаки не имели литературного языка на основе родной речи. В средневековой Словакии, как и в других частях Венгерского королевства, официальным литературным (письменным) языком была латынь. Однако с конца XIV в. у словаков появилось и другое средство письменности — чешский литературный язык [5]. В силу структурной близости словацким диалектам он был более понятен и доступен местному словацкому населению. Сфера применения литературного чешского языка в Словакии постепенно расширялась. В некоторых типах письменности (деловой, административно-правовой) он очень скоро стал конкурировать с латынью. С XV в. и почти до середины XIX в. чешский язык выступал в функции литературно-письменного языка словаков [так называемая «библичтина» — язык Кралицкой библии (XVI в.) — считалась общим литературным языком чехов и словаков]. Важно отметить, что чешский язык в Словакии (как и латынь) был прежде всего книжным языком, хотя в ограниченной мере употреблялся и в устной форме (например, у словацких протестантов при свершении религиозных обрядов) [6]. Обычно же в разговорной сфере использовались местные словацкие говоры. Приобщение словаков к литературному чешскому языку сыграло важную роль в развитии словацкой народности, в процессе формирования словацкого литературного языка [7].

---

[3] Назовем только некоторые из них: J. Tibenský, K problému hodnotenia bernoláčtiny a bernolákovského hnutia, «Historický časopis», VII, 4, 1959, стр. 557—578; «K počiatkom slovenského národného obrodenia», «Sborník štúdií Historického ústavu SAV pri príležitosti 200 ročného jubilea narodenia Antona Bernoláka», Bratislava, 1964; J. Butvin, Slovenské národnozjednocovacje hnutie (1780—1848), Bratislava, 1965. Данная проблематика рассматривается и в некоторых статьях сборника «Slováci a ich národný vývin», Bratislava, 1966.

[4] С критикой этой точки зрения выступил историк Д. Рапант: См.: D. Rapant, K pokusom o novú historicko-filozofickú koncepciu slovenského národného obrodenia, «Slovenská literatúra», XII, 5, 1965, стр. 493—506; его же, Ešče ňečo o tom slovenskom národnom obrodení, «Slovenská literatúra», XIV, 4, 1967, стр. 405—427.

[5] О причинах проникновения чешского языка в Словакию и о его функциях см.: B. Varsik, Udomácnenie češtiny na Slovensku a jej funkcia v XV. a XVI. stor. na Slovensku, в кн.: «Slovenské listy a listiny z XV. a XVI. storočia», Bratislava, 1956, стр. 11—88; E. Pauliny, Dejiny spisovnej slovenčiny, I, Bratislava, 1966, стр. 29—32.

[6] Ср.: E. Pauliny, указ. соч., стр. 52.

[7] См.: E. Pauliny, Čeština a jej význam pri rozvoji slovenského spisovného jazyka a našej národnej kultúry, в кн.: «O vzájomných vzťahoch Čechov a Slovákov», Bratislava, 1956, стр. 99—124; его же, Dejiny spisovnej slovenčiny, стр. 31; K. Habovštiaková, Podiel češtiny na formovaní Bernolákovej spisovnej slovenčiny, «Acta Universitatis Carolinae. Slavica Pragensia», IV, 1962.

В свою очередь литературный чешский язык, применявшийся в словацкой письменности XVI—XVIII вв., испытывал на себе воздействие местной диалектной среды. В него проникали специфические словацкие языковые элементы (так называемые словакизмы). Первое время они проникают в письменность как неосознанные вкрапления из-за недостаточного знания норм чешского литературного языка. Процесс «словакизации» захватывает сначала письменность чисто практического, делового характера, а затем и другие литературно-письменные сферы[8]. В связи с ростом национального сознания словаков начинают проявляться и сознательные стремления писать на родном языке. У словаков-католиков, у которых эти стремления были особенно сильны[9], словацкие языковые элементы выступают и в печатных книгах. Все это, естественно, разрушало строгие нормы библичтины, в письменности складывался специфический «словакизированный чешский язык» (slovakizovaná čeština). Особенно широкое распространение он получил в Западной Словакии, куда с конца XVI в. переместился центр политической, церковной и культурной жизни Венгерского государства. Здесь был издан первый словацкий роман[10]. Предпринимались и другие аналогичные попытки (например, в Восточной Словакии также издавались книги на словацком диалекте).

Все это свидетельствует о том, что в плане развития языка и письменности в Словакии выступление Бернолака нельзя считать неожиданным или искусственным актом. Как было показано, в развитии языковой ситуации в Западной Словакии заметно выявлялась и была определяющей тенденция к словакизации письменности. Языковая реформа Бернолака явилась завершением сознательных стремлений писать по-словацки, развивать литературу на своем родном языке. Заслуга Бернолака состоит в том, что он предложил целостную программу узаконения самостоятельного словацкого литературного языка как языка единого и нормализованного и написал ряд лингвистических трудов[11], представляющих первую научно обоснованную попытку в этом направлении.

Первый лингвистический труд Бернолака «Филологическо-критическое рассуждение о славянских письменах» с приложением краткого наставления по словацкой орфографии был издан в 1787 г. анонимно[12]. При создании этого труда Бернолак опирался на помощь своих коллег по генеральной семинарии в Братиславе, где был создан кружок любителей родного языка. Известно, что одним из авторов был А. Кубица, но

[8] В настоящее время словацкие лингвисты уделяют серьезное внимание изучению вопроса о соотношении чешских и словацких языковых черт и явлений в словацкой письменности добернолаковского периода (XVI—XVIII вв.). См. новейшие работы: J. D o r u l'a, O češtine na Slovensku v 16. a 17. stor. a o vývine slovenskej slovnej zásoby, «Slavica slovaca», II, 1, 1967, стр. 23—35; čís. 4, стр. 364—378; е г о ж е, O jazyku administratívno-právnych písomností obdobia predbernolákovského, «Slavica slovaca», III, 1968, стр. 333—352; K. H a b o v š t i a k o v á, O vzt'ahu slovenčiny a češtiny v slovenských písomnostiach zo XVI.—XVIII. storočia, «Slavia», 37,2,1968, стр. 235—252.

[9] Словацкие протестанты в XVI и в XVIII вв. также иногда высказывались за применение родного языка в письменности, но все же у них в силу целого ряда обстоятельств побеждала противоположная тенденция — сохранять чешскую литературную норму.

[10] J. I. B a j z a, René Mlád'enca Príhodi, a Skusenosti, W Presspurku, 1783. Байза, однако, не разработал последовательной системы литературных норм.

[11] Наиболее полный и всесторонний анализ лингвистического наследия Бернолака дается в недавно опубликованной книге: K. H a b o v š t i a k o v á, Bernolákovo jazykovedné dielo, Bratislava, 1968, стр. 445. Мы в данной статье ограничимся лишь краткой характеристикой лингвистических трудов Бернолака.

[12] «Dissertatio philologico-critica de litteris Slavorum...», Posonii, 1787. Орфография вышла в свет и отдельным изданием: «Linguae Slavonicae per regnum Hungariae usitatae compendiosa simul, et facilis orthographia», Posonii, 1787.

основная заслуга бесспорно принадлежит Бернолаку. В этом сочинении Бернолак стремится обосновать принципиальную необходимость самостоятельного словацкого литературного языка и установить его нормы в области орфографии и орфоэпии. При разработке и систематизации этих норм Бернолак опирался на принятый в то время в среде словацкой интеллигенции обиходно-разговорный язык, а также на письменную традицию католической литературы Трнавского культурного центра. Обращение к обиходно-разговорной речи, к живому узусу способствовало демократизации литературно-письменного языка, помогало выявить характерные черты и особенности, отличающие словацкий язык от чешского.

Особое внимание Бернолак обращает на устранение недостатков и непоследовательностей в правописании. Он прекрасно понимает, как важно для литературного языка «неопределенный и неясный способ написания... свести к верно установленным правилам» [13]. Исходя из того, что правописание должно основываться на живом произношении, Бернолак отказывается от традиционного этимологического принципа в правописании и вводит принцип фонетический (или точнее — фонологический). Так, например, он рекомендует последовательно обозначать мягкость согласных *t'*, *d'*, *ň*, *l'*; вместо *y*, *ý* писать *i*, *í* (поскольку в произношении *y* и *i* не различаются); буквы *q* и *x* в иностранных словах заменять сочетаниями *kw*, *ks* и т. п. Ставя перед собой задачу приспособить орфографические правила «к произношению словаков, живущих в Венгрии, а не чехов» [14], и опираясь при этом на разговорный узус, Бернолак отказывается и от ряда богемизмов, традиционно употребляемых в письменности [15]. Все это позволяет ему значительно упростить и унифицировать графическую систему, разработать новое, более легкое правописание. Следует отметить, что уже в первой лингвистической работе Бернолака отчетливо проявилось его стремление кодифицировать «правильный», «чистый» словацкий язык (не случайно автор выражал надежду, что этот труд послужит «самым действенным лекарством» от неправильного произношения и языковых ошибок). Это стремление получило дальнейшее развитие в последующих лингвистических работах Бернолака.

Продолжая свои кодификаторские усилия, Бернолак публикует в 1790 г. «Словацкую грамматику» [16]. Она была задумана как учебное пособие, как книга, «заключающая в себе искусство хорошо читать, говорить и писать по-словацки» [17]. По существу же эта работа Бернолака является первой описательной грамматикой словацкого языка [18]. Книга состоит из пяти частей. Первая часть посвящена характеристике фонетической системы. Во второй части дается детальное описание морфологического строя словацкого языка. Синтаксические проблемы рассматриваются в третьей части книги. Здесь же имеется небольшой раздел о порядке слов в предложении. В четвертой части описываются правила долготы и краткости слога и нормы правильного произношения. Последняя часть посвящена орфографии. В качестве приложения дается небольшое собрание словацких пословиц. При написании данной работы Бернолак опирался на предшествующую грамматическую традицию и прежде всего на работы чешских грамматистов. Но это не была простая компиляция, механическое подражание известным образцам. Бернолаку удалось выявить и описать ряд характерных специ-

[13] «Gramatické dielo Antona Bernoláka», Bratislava, 1964, стр. 23.
[14] Там же, стр. 23.
[15] См.: E. P a u l i n y, Dejiny spisovnej slovenčiny, стр. 94.
[16] A. B e r n o l á k, Grammatica slavica, Posonii, 1790. После смерти Бернолака она была переведена с латинского языка на немецкий: «Schlowakische Grammatik», Ofen, 1817.
[17] «Gramatické dielo Antona Bernoláka», стр. 132—133.
[18] Ср.: K. H a b o v š t i a k o v á, Bernolákovo jazykovedné dielo, стр. 130.

фических черт грамматического строя словацкого языка (как в морфологии, так и в синтаксисе). В этом труде также проявляются просветительские устремления Бернолака. В частности, желая привить своим соотечественникам любовь и уважение к родному языку, он ссылается на пример других народов и прежде всего чехов, поляков и русских, которые успешно развивают свой язык и литературу. При этом среди трудов по русскому языку Бернолак отмечает и «Российскую грамматику» М. В. Ломоносова.

В 1791 г. выходит из печати новый лингвистический труд Бернолака, посвященный проблемам словообразования [19]. Основное внимание автор сосредотачивает на характеристике трех типов деривационного словопроизводства: образование имен существительных женского рода от имен существительных мужского рода, образование уменьшительных слов и, наконец, прочие способы словообразования существительных, прилагательных и глаголов. Вторая часть работы посвящена описанию типов сложных слов. В приложении даются списки различных терминов и наименований.

Понимая, что развитие самостоятельного словацкого литературного языка потребует значительного обогащения словарного состава и, в частности, научной терминологии [20], Бернолак стремился выявить и узаконить основные принципы и нормы словацкого словообразования, определить правила, по которым можно было бы создавать новые слова. В научно-лингвистическом аспекте данная работа имела немало слабостей и недостатков и во многих отношениях быстро устарела. Следует, однако, учесть, что это была «первая попытка разработки вопросов словообразования в литературном словацком языке» [21].

Много сделал Бернолак и в плане изучения и обработки словацкой лексики. Еще в 1787 г. он начал работу по созданию словацкого словаря, над которым самоотверженно трудился в течение двадцати лет. В 1791 г. рукопись словаря в основном была уже готова, но Бернолак продолжал работу, внося в рукопись поправки и дополнения. Итогом поистине титанических усилий Бернолака явился многотомный пятиязычный «Словацкий, чешско-латинско-немецко-венгерский словарь». Этот словарь, содержащий более 80 000 заглавных слов, был издан лишь после смерти Бернолака [22].

Бернолак стремился придать «Словарю» нормативный характер как отбором слов, так и оценочными пометами. Этот труд завершает кодификаторскую деятельность Бернолака. По поводу словаря Бернолака в литературе было много споров. По-разному оценивались его научные достоинства (иногда весьма негативно) и целевая направленность. И хотя он действительно не лишен существенных недостатков (некоторые несовершенства в методике лексикографической обработки слов, большое количество искусственных новообразований или малоупотребительных слов и др.), все же для своего времени это было немалое достижение [23]. Этот словарь является важным источником для словацкой исторической лексикологии.

[19] «Etymologia vocum slavicarum», Tyrnaviae, 1791.

[20] О роли Бернолака в развитии словацкой терминологии (прежде всего лингвистической) см.: V. S l i v k o v á, K počiatkom slovenskej terminológie hláskoslovia, «Slovenské odborné názvoslovie», 7, Bratislava, 1959, стр. 129—135; e e ж e, Pramene Bernolákovej gramatickej terminológie, «Slovenské odborné názvoslovie», 5, Bratislava, 1957, стр. 65—68; K. H a b o v š t i a k o v á, K charakteristike slovnej zásoby a terminológie u Bernoláka, «Československý terminologický časopis», I, 1962, стр. 377—379.

[21] K. H a b o v š t i a k o v á. Bernolákovo jazykovedné dielo, стр. 214.

[22] «Slowár Slowenskí, Cesko-Lat'insko-Nemecko-Uherskí», I—VI, Budae, 1825—1827.

[23] См. новейшую литературу об этом словаре: M. H a y e k o v á, Slovnikárske poznámky k Slováru A. Bernoláka, «Slovenská reč», XXIII, 1958, стр. 102—116; J. P o v a ž a n, Slowár Antona Bernoláka. «Sborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského», Philologica, 10, 1958, стр. 120—134; e g o ж e, Príprava a vydanie Bernolákovho

Все охарактеризованные выше труды Бернолака объединяет единство цели, все они составляют необходимые части целостной программы по узаконению самостоятельного литературного словацкого языка.

Изучение лингвистических работ Бернолака позволяет сделать общий вывод о том, что кодифицированная им система норм является системой западнословацкого типа. Однако более точно определить и конкретизировать языковую (или диалектную) базу бернолаковского литературного языка — «бернолаковщины» (или «бернолачины») [24] довольно сложно. В старой литературе обычно подчеркивалась непосредственная диалектная основа бернолаковщины (назывался тот или иной западнословацкий говор), иногда основной источник усматривался в языке католической письменности Трнавского центра или же в чешском литературном языке. Сам Бернолак неоднократно подчеркивал, что он опирался на «узус образованных людей». Точная расшифровка этого понятия затруднительна, но во всяком случае ясно, что это был не конкретный местный словацкий диалект, а речь, характерная для культурного общения образованных слоев общества. Новейшие исследования словацких лингвистов (Э. Паулини, К. Габовштяковой, Э. Йоны, Р. Крайчовича) показывают, что в основе бернолаковской кодификации лежит не какой-то определенный западнословацкий говор, а так называемый «культурный западнословацкий язык» (kultúrna západoslovenčina) [25]. Под термином «культурный западнословацкий язык» имеется в виду своеобразная языковая формация наддиалектного (или интердиалектного) характера, которая складывалась в Западной Словакии в XVI—XVIII вв. на базе чешского литературного языка и живых словацких говоров. «Культурный западнословацкий язык» широко употреблялся в среде словацкой интеллигенции (сначала в разговорной, а затем и письменной форме). Он и явился главным, основным источником бернолаковской кодификации. Через «культурный западнословацкий язык» бернолаковщина связана и со словацкими диалектами (причем не только западнословацкими, но частично и среднесловацкими), и с чешским литературным языком (библичтиной). Наряду с этим можно предполагать и прямое отражение в нормах бернолаковщины словацких диалектных черт и богемизмов.

Таким образом, характеризуя исходную базу бернолаковской кодификации, следует иметь в виду совокупность взаимосвязанных факторов и источников, которые в какой-то мере покрываются общим понятием «культурный западнословацкий язык» [26]. В связи с этим. узаконенный Бернолаком язык, предстает как закономерный этап развития по линии, которую

Slowára, «Jazykovedný časopis», IX, 1958, стр. 88—103. Большой раздел, дающий детальный анализ словаря Бернолака и содержащий много новых интересных наблюдений, находим в книге К. Габовштяковой («Bernolákovo jazykovedné dielo», стр. 218—266).

[24] Могут употребляться обе названные формы. Однако, по мнению Л. Двонча, в словацком языке образование *bernolákovčina*, в отличие от *bernoláčtina*, является более правильным, соответствующим системным нормам словопроизводства (см.: L. Dvonč, Bernoláčtina, «Slovenská reč», XXXI, 1, 1966, стр. 45—47). В связи с этим мы будем далее употреблять форму «бернолаковщина» как соотносительную со словацкой формой *bernolákovčina*.

[25] Этот термин ввел в научный обиход Э. Паулини (см.: E. Pauliny, Čeština a jej význam pri rozvoji slovenského jazyka...).

[26] Следует отметить, что вопрос о «культурном западнословацком языке», на наш взгляд, требует дальнейшего изучения. Важно было бы уточнить соотношение таких частично перекрещивающихся понятий, как «культурный западнословацкий язык», «узус образованных людей» (úzus vzdelancov), «словакизированная чештина»; более строго описать нормы западнословацкого культурного языка в его разговорной и письменной разновидностях. В связи с интересной статьей И. Котулича (I. Kotuli č, O formovaní kultúrneho jazyka slovenskej národnosti, «Jazykovedný časopis», XIX, 1—2, стр. 134—149), который предполагает существование в Словакии «местного куль-

схематически (огрубленно) можно представить в следующем виде: литературный чешский язык (библичтина) — культурный западнословацкий язык — бернолаковщина.

Оценивая вклад Бернолака в формирование литературного словацкого языка, нельзя ограничиться лишь характеристикой его научных лингвистических трудов, которые он написал, реализуя свою программу кодифицирования литературных норм словацкого языка. Важно также показать судьбу «детища» Бернолака — бернолаковщины, ее место в истории словацкого литературного языка. При этом, как нам кажется, следует видеть и разграничивать два аспекта: с одной стороны, собственно лингвистический (практическое применение бернолаковщины, ее функционирование, судьбу самих языковых норм, кодифицированных Бернолаком) и, с другой стороны, более широкий национально-культурный аспект.

Дело в том, что в силу ряда объективных причин [27] бернолаковщина в середине XIX в. была заменена другим вариантом литературного словацкого языка, основоположником которого явился Людовит Штур (1815—1856),— штуровщиной. Кроме того, бернолаковщина не была системой литературных норм, обязательных для всех словаков, единым литературным языком словаков. Она получила признание лишь в среде словацких католиков. Словаки-протестанты по-прежнему продолжали пользоваться чешским литературным языком (библичтиной). Следует подчеркнуть, что у католиков бернолаковщина получила довольно широкое распространение и просуществовала в практическом пользовании около шестидесяти лет. В течение десятилетий в католических школах велось обучение на бернолаковщине [28]. Активно способствовало проникновению в жизнь кодифицированного словацкого языка «Словацкое ученое товарищество» (1792), объединявшее сторонников бернолаковской реформы. В Трнаве (где был его центр), Нитре, Банской Быстрице, Кошицах, Рожняве и других городах Словакии члены этого общества (а их число доходило до 500 человек) вели большую работу по изданию и распространению литературных произведений на бернолаковщине. При этом выпускались книги не только религиозного, но и светского характера. Публиковались переводы на бернолаковский язык. Была даже выдвинута идея об издании газеты [29].

Бернолаковщина выступала прежде всего как книжно-письменный язык. На этом языке писал и публиковал многие свои произведения Ю. Фандли (1754—1811). Он явился автором первой печатной книги на бернолаковщине [30], а также целого ряда других произведений исторического, религиозного и, что особенно важно, просветительского характера (например, по народной медицине, сельскому хозяйству, пчеловодству и т. п.). В сфере литературно-художественного творчества бернолаковщину особенно ярко представляли поэтические произведения Я. Голлого (1785—1849), который писал эпические поэмы («Сватоплук», «Кирилло-Мефодиада» и др.), оды, переводил на бернолаковщину сочинения Гомера, Горация, Вергилия, Овидия и др. Свой вклад в распространение кодифицированного словацкого языка в литературно-письменной сфере [31]

турного языка» (domáci kultúrny jazyk) еще до XIV в., также возникает ряд вопросов, касающихся процесса формирования «западнословацкого культурного языка».

[27] См. об этом: E. P a u l i n y, Dejiny spisovnej slovenčiny, стр. 100; K. H a b o v š t i a k o v á, Bernolákovo jazykovedné dielo, стр. 347—348.

[28] E. J ó n a, Vplyv bernoláčtiny a bernolákovcov na štúrovskú spisovú normu, сб. «K počiatkom slovenského národného obrodenia», Bratislava, 1964, стр. 463.

[29] Ср.: E. P a u l i n y, Dejiny spisovnej slovenčiny, стр. 97.

[30] G. F á n d l y, Dúwerná Žmlúwa mezi Mňichom a Diáblom o prwních Počátkoch, o starodáwních, ag wčúlágších Premenách Reholňíckích, W Presporku, 1789.

[31] Как письменный язык донационального периода бернолаковщина выступала прежде всего в роли книжного языка. Она, естественно, не характеризовалась той

вносили и другие бернолаковцы [32]. По-видимому, с полным правом можно говорить о том, что усилиями бернолаковцев и их сторонников постепенно складывалась определенная литературно-письменная традиция на словацком языке. За сравнительно небольшой период фактического применения бернолаковщины наметилась и некоторая жанровая и стилистическая ее дифференциация (ср., например, язык произведений Ю. Фандли и Я. Голлого). Роль бернолаковщины в развитии стилей словацкого литературного языка отмечает Э. Паулини [33]. Следует отметить, что в некоторых произведениях, написанных на бернолаковщине, обнаруживаются известные отклонения от кодифицированных норм [34]. Тем не менее бернолаковщину можно признать достаточно строго нормализованным литературно-письменным языком [35].

Как мы уже отмечали, языковая реформа Бернолака вопрос о литературном языке словаков в сущности окончательно не разрешила. Ведь в Словакии наряду с бернолаковщиной литературно-письменные функции продолжал выполнять чешский язык (библичтина). Им пользовались словацкие протестанты. Некоторые из них (Б. Таблиц, Ю. Палкович и др.) активно выступали против бернолаковской реформы и прилагали немало усилий для укрепления позиций библичтины как литературного языка чехов и словаков. Таким образом, после выступления Бернолака в Словакии сложилось своеобразное литературно-письменное двуязычие, если говорить о языках, непосредственно связанных с развитием словацкой национальной культуры (латинский, немецкий, венгерский языки тоже применялись в письменности, но они не могли претендовать на роль литературного языка словаков). Указанное литературно-письменное двуязычие явилось следствием и отражением сложной обстановки и противоречивых тенденций в развитии словацкого национального движения конца XVIII и первой половины XIX в.

Одной из характерных черт этого периода было то, что силы патриотически настроенной словацкой интеллигенции были разобщены. Они распадались на две группировки или два течения: по принадлежности к разному вероисповеданию (конфессиональные противоречия выступали в этот период еще довольно остро) и, что, пожалуй, более существенно, по своим национально-идеологическим программам. Католики-бернолаковцы выступали за национальную самобытность, самостоятельность словаков, протестанты — за чехословацкое национально-культурное единство. Подобное разобщение сил было не в интересах развития национально-патриотического движения словаков, оно становилось все более заметным тормозом и препятствием в решении актуальных общенациональных задач. Не случайно представители той и другой стороны пытаются найти пути к объединению или хотя бы к сближению обоих течений [36]. Это находит свое отражение и в литературно-языковой сфере. Так, в 20-х годах XIX в.

поливалентностью, которая свойственна современному словацкому литературному языку.

[32] Сведения о литературной деятельности представителей бернолаковского движения и библиографию их работ дает книга: J. K o t v a n, Bibliografia bernolákovcov, Martin. 1957.

[33] E. P a u l i n y, Dejiny spisovnej slovenčiny, стр. 97—98.

[34] Об отклонениях от бернолаковской нормы в языке Ю. Фандли писала Л. Свречкова (L. S v r č k o v á, Juraj Fándli a bernolákovská jazyková norma, «Jazykovedný sborník», IV, Bratislava, 1950, стр. 193—208.

[35] Кстати сказать, Бернолаку и Фандли пришлось защищать эти нормы от острой критики со стороны Й. И. Байзы. Интересный материал по этому вопросу собран в книге: «Bernolákovské polemiky». Edične pripravil, poznámky a vysvetlivky napísal dr. I. Kotvan, Bratislava, 1966.

[36] См. об этом подробнее в кн.: J. B u t v i n, Slovenské národnozjednocovacie hnutie (1780—1848), Bratislava, 1965.

П. Й. Шафарик делает попытки сблизить библичтину со словацкой речью, создать литературный язык на основе чешских грамматических норм, но с привнесением словацкой лексики и фразеологии. Шафарик считал, что такой особый литературный стиль (spisovný sloh), в какой-то мере отражающий специфический словацкий колорит, близкий и понятный словацкому народу, позволил бы сохранить литературное единство чехов и словаков и послужил бы средством к сближению двух словацких национальных течений. В этом же направлении предпринимали шаги Ян Коллар, а позднее М. Годра. В кругу бернолаковцев также наблюдается тенденция к сближению со словаками-протестантами. Здесь прежде всего следует отметить усилия М. Гамульяка, Я. Голлого и др. В 1834 г. представители обоих течений создают в Будапеште «Общество любителей словацкого языка и литературы», которое издает альманах «Zora», где публикуются статьи и на чешском языке — библичтине, и на словацком языке — бернолаковщине. Такая форма сотрудничества в литературно-языковой сфере была лишь «проявлением взаимного уважения» [37], временным компромиссом. Литературно-письменное двуязычие продолжало существовать. Оно было преодолено лишь в середине XIX в., когда благодаря усилиям Л. Штура и его сторонников был введен в жизнь другой вариант словацкого литературного языка, базирующийся на «среднесловацком культурном языке». Новый словацкий литературный язык постепенно проникал в различные сферы общественной и культурной жизни, получая все большее признание и распространение: его нормы уточнялись и стабилизировались. В результате объединенных усилий штуровцев и бернолаковцев были разработаны такие нормы литературного словацкого языка, которые согласились признать представители обоих течений, в сущности это была штуровская кодификация с некоторыми поправками в правописании, фонетике и морфологии, принятыми по настоянию М. М. Годжи, М. Гатталы и др. [38]. В 1852 г. вышла в свет «Krátka mluvnica slovenská» М. Гатталы, которая узаконила единые нормы. Это была уже та кодификация словацкого литературного языка, которая с незначительными изменениями удержалась до настоящего времени.

Итак, система литературных норм, предложенная Бернолаком, на последующем историческом этапе развития словацкого литературного языка была отвергнута и заменена другим кодифицированным словацким языком — штуровщиной. Этому языку уступила свои позиции также и библичтина.

Все же бернолаковщина оказала определенное влияние на штуровский язык. Известно, что Штур сознательно, опираясь на опыт Бернолака, ввел фонетический (фонологический) принцип правописания. Вероятно можно говорить и о роли бернолаковщины в развитии лексики словацкого литературного языка (например, о роли поэтического языка Я. Голлого) [39]. Некоторые детали бернолаковской кодификации, отражавшие общесловацкие фонетические и грамматические языковые черты, также нашли свое место в штуровщине и в словацком литературном языке на последующих этапах его развития.

Большое значение реформа Бернолака имела в широком национально-культурном плане. Просветительская «будительская» деятельность бернолаковцев была тесно связана с развивающимся словацким национальным движением. Узаконение самостоятельного литературного языка, его практическое применение способствовало росту национального самосознания

[37] J. Butvin, указ. соч., стр. 185.
[38] Ср.: E. Pauliny, Dejiny spisovnej slovenčiny, стр. 121.
[39] Ср.: Н. А. Кондрашов, Возникновение и начальный этап развития словацкого литературного языка. Автореф. докт. диссерт., М., 1968, стр. 34.

словаков и стало важным стимулом в их борьбе за равноправие родного языка, за развитие национальной культуры и литературы.

Национально-патриотические устремления Бернолака, принципиальная направленность его языковой реформы были положительно оценены деятелями словацкого национально-освободительного движения середины XIX в. и прежде всего самим Л. Штуром, а также М. М. Годжой, А. Сладковичем и др. Так, например, Л. Штур прямо указывал, что к идее о поднятии словацкой народно-разговорной речи на уровень литературного языка «нам пробивали и прорубали дорогу замечательный наш Бернолак и его последователи...» [40]. В бернолаковщине Штур видел мост от чешского языка к «чистому» словацкому языку. Введение в жизнь литературного языка среднесловацкого типа он считал «завершением, дополнением» шагов, предпринятых бернолаковцами. Таким образом, отказавшись от бернолаковщины как системы норм литературного языка западнословацкого типа, Штур в принципиальном плане пошел по тому же пути [41], доказывая необходимость самостоятельного литературного языка словаков, развивая и углубляя идею самобытности словацкого языка в кругу других славянских языков.

Итак, бернолаковщина в литературно-письменном применении просуществовала всего около шестидесяти лет. Тем не менее этот период в истории словацкого литературного языка является чрезвычайно важным. Особенно существенным нам представляется следующее. Как мы отмечали, наряду с бернолаковщиной, продолжала функционировать в роли литературно-письменного языка словаков и библичтина (правда, социальная база пользующихся ею значительно сузилась). Иначе говоря, языковая реформа Бернолака не прервала многовековую традицию чешского литературного языка в Словакии. Однако с появлением бернолаковщины заявило о себе принципиально новое направление в развитии литературно-языковых норм, основной смысл которого состоял в поисках путей создания литературного языка словаков на основе родной речи. И хотя бернолаковщина не удержалась и не поднялась до уровня общенационального словацкого литературного языка, открытое ею направление в развитии литературно-языковых норм оказалось перспективным.

Говоря о месте бернолаковщины в процессе формирования и развития словацкого литературного языка, следует затронуть еще один вопрос.

В нашей лингвистической литературе, посвященной рассмотрению проблем истории литературных славянских языков, можно встретить такие высказывания относительно истории словацкого литературного языка, которые, на наш взгляд, требуют пояснения и уточнения. Мы имеем в виду утверждение о том, что словацкий национальный литературный язык, сложившийся в середине XIX в., не имел предшествующей письменно-литературной традиции. В. В. Виноградов в докладе на V Международном съезде славистов отмечал: «Для ряда славянских языков наблюдается положение, когда литература на языке данной славянской нации возникает лишь после создания национального литературного языка. Таково положение с македонским, словацким, отчасти сербским...» [42]. Л. Л. Гумецкая писала: «Словацкий литературной язык в середине XIX в. и македонский в середине XX в. формируются без предшествующего периода древнего письменно-литературного языка» [43].

---

[40] Ľ. Štúr, Slovenčina naša, Bratislava, 1957, стр. 23.

[41] Ср.: E. Jóna, указ. соч., стр. 464.

[42] В. В. Виноградов, Различия между закономерностями развития славянских литературных языков в донациональную и национальную эпохи, М., 1963, стр. 28.

[43] «Славянска филология», I, София, 1963, стр. 26.

Что касается словацкого языка, то здесь не все просто и однозначно. Еще до возникновения штуровщины, ставшей впоследствии общенациональным литературным словацким языком, существовала иная система литературно-письменных норм словацкого языка (бернолаковщина) и складывалась, как было показано выше, определенная литературно-письменная традиция на родном языке словаков. Это дает основание считать бернолаковщину и штуровщину вариантами литературно-письменных норм словацкого литературного языка. Их различие в аспекте лингвистическом состоит прежде всего в исходной диалектной (точнее интердиалектной) базе. Не случайно, бернолаковщина называется литературным языком западнословацкого типа, а штуровщина — литературным языком среднесловацкого типа. Словацкие лингвисты вполне закономерно рассматривают бернолаковщину и штуровщину как два взаимосвязанных этапа в развитии словацкого литературного языка [44].

В аспекте внешнелингвистическом все это бесспорно. Штуровщина по отношению к бернолаковщине выступает как н о в ы й словацкий литературный язык. Если же говорить о внутренней истории самого штуровского литературного языка, то можно признать, что штуровщина действительно не опиралась на предшествующую литературно-письменную традицию на «среднесловацком культурном языке»: речь идет прежде всего об отсутствии книжно-литературной традиции, так как определенного рода письменность на языке среднесловацкого типа существовала и до возникновения штуровщины (записи различных фольклорных материалов, в том числе и прозаических, деловые документы и т. п.). Нам представляется, что этот вопрос требует дальнейшей разработки.

*

Антон Бернолак заложил научные основы словацкого литературного языка, сделав важный новаторский шаг на пути его нормализации и унификации. Деятельность Бернолака и его последователей открыла начальный этап становления и развития словацкого литературного языка. Лингвистические труды Бернолака представляют собой первую научно обоснованную программу по узаконению литературно-письменных норм словацкого языка, охватывающую различные ярусы языковой структуры. Они являются серьезным вкладом в словацкое языкознание. Труды Бернолака оказали заметное влияние на развитие словацкой национальной культуры. В языковой реформе Бернолака можно видеть одно из проявлений начинающегося процесса формирования словацкой нации.

[44] См., например, Е. Ј б п а, указ. соч., стр. 459. Эту точку зрения разделяет и Н. А. Кондрашов. Он пишет: «Литературные языки, кодифицированные Бернолаком (бернолачина) и Штуром (штуровщина), несмотря на различие общественно-культурных условий их возникновения и отличную диалектную базу, рассматриваются нами как два последовательных этапа становления словацкого литературного языка» (указ. соч., стр. 3).

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 6 1969

В. А. ДЫБО

ДРЕВНЕРУССКИЕ ТЕКСТЫ КАК ИСТОЧНИК ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦИИ ПРАСЛАВЯНСКОГО УДАРЕНИЯ

(Praesens)

Древнерусский язык в середине XIV в. (насколько можно судить по единственному известному нам акцентуированному тексту этого времени Чудовскому Новому Завету — Чуд. Нов. Зав. [1]) сохранял все три акцентных типа в виде, соответствующем праславянскому [2]:

		Sing.	Pl.	Dual.
a)	1-е лицо	боу́доу	боу́демъ	боу́девѣ
	2-е лицо	боу́деши	боу́дете	боу́дета
	3-е лицо	боу́деть	боу́доуть	боу́дета
b)	1-е лицо	могоу̀	мо́жемъ	мо́жевѣ
	2-е лицо	мо́жеши	мо́жете	мо́жета
	3-е лицо	мо́жеть	мо́гоуть	мо́жета
c)	1-е лицо	не́соу (соотв.: при́несоу, не́ принесоу, и́ не принесоу)	несѐмъ	несевѣ̀
	2-е лицо	несе́ши (вариант:-ши̇)	несетѐ	несета̀
	3-е лицо	несѐть	несоу̀ть	несета̀

В Чудовском Новом Завете они представлены достаточно полно:

Парадигма *a*

Sing. 1-е лицо: боу́дꙋ 48[2], ѿве́ргуса 7[1]; о̀бра́щю вы 121[1], о̀бра́щю са 121[1], приѡ̀бра́щю 163[1]; надѣ́юса 163[1]; жа́жю 51[3], смѣ́ю 120[1], не ꙁна́ю 26[1], глаголы на *-i-*: сла́влю 46[1], просла́влю 48[2]; ви́жю 20[3]; и̇ ви́жю 46[2]; не о̀ста́влю 49[2], поко́ю вы 7[3], оуподо́блю 7[2], 163[1], прїе̑млю 43[4].

Sing. 2-е лицо: и̇ боу́деши 127[1], кра́деши 100[1], bis, не укра́де 21[3]; ѿве́ржеши са 49[1], сподвїже 18[4], оумы̀ю 48[3], не пока́юшиса 149[3]; глаголы на *-i-*: не о̀ста́виши 59[4], допра́виши 140[3], и̇спо́лниши ма 59[4], опра́вдіши 8[1], о̀пра́вдишиса 100[2], і̇ вꙁненави́ди 5[1].

Sing. 3-е лицо: пребу́де 49[3], пребꙋ́де 49[3], не пребоу́де 48[3], сбоу́детса 128[1]; ве́рже 4[4], ѿве́ржеть 7[1]; обра́ще 23[3], прїо̀бра́ще 20[4], прїо̀бра́ще 10[1]; ѿкры̀ю 129[1]; ꙁна́ю 7[3], не поꙁна́еть 7[1]; пови́сне 10[3], не оуга́сне 21[2], і погра́зне 10[3], погі́бне 47[4], проꙁ|бне 13[3], поѐмлеть 13[4]; глаголы на *-i-*: іспо́лнить 4[1], и̇спо́лнить 25[4], 48[2], 48[4], 49[4], 51[3] и др.; скве́рні 9[2]; просла́вить 48[2],

[1] Список сокращений использованных текстов см. в конце статьи.

[2] Праславянская реконструкция ударения презенса дается в статье: В. А. Дыбо, Среднеболгарские тексты как источник для реконструкции праславянского ударения (Praesens), ВЯ, 1969, 3.

49[1], прослáвитъ 48[4], bis и др.; възвели́чисѧ 128[1], не ѻпрáвдитсѧ 122[3]; не ѻпрáвді|тсѧ 122[3]; смѣ́ритъ 35[2]; възвы́си 12[4]; уподóвітъ 5[4] и др.

Pl. 1-е лицо: остáнесѧ 52[4]; глаголы на -*i*-: да ві|ди 24[4], оупод|би 18[2].

Pl. 2-е лицо: боу́дете 59[1], бу́дете 23[2], бу́де|те 49[3]; пребоу́дете 49[3], пребу́дете 49[3], bis, пребу́|дете 49[3]; и̂ обрѧ́щете 52[2], ѡ̂брѧ́щете сѧ 62[1], ѻ̂брѧ́ще 5[3], 7[3], 26[4]; знáюте 49[1]; глаголы на -*i*-: ѻ̂стáвіте 50[2], остá|віте 8[3], не ѻ̂стáви 10[4], и̂ ви́дите 49[1], вїдіте 20[3]; слы́шите 59[4], оуслы́ші 8[2].

Pl. 3-е лицо: і̂ встáноу 7[1], ѿ|кры́ютъ 27[1], встáю 7[2], растéргну 5[3], погíбну 6[3], погíбну 17[3], и̂ не поги́бноу 47[1], глаголы на -*i*-: и̂спо̂лнѧтъ 26[1], оурáнѧ 6[4], сквéрнѧ 7[3], сквéрн 20[1], осквéрнѧтъ 50[4]; порáтѧтсѧ 156[2], оуслы́шаⷮ 47[1], і̂ ві|дѧ 18[3], и̂ по|рабóтѧтъ 62[2]

Dual. 1-е лицо: е̂млевѣ 40[2]— а. п. вторична.

Dual. 2-е лицо: ѻ̂брѧ́щет 22[1], обр|щетà 11[3]

Dual. 3-е лицо: і бу́дета 21[3], да сѧ́де 11[3]

Парадигма *b*

Sing. 1-е лицо: і|дбу 49[2], идбу 49[1], ідꙋ 49[2]; прідꙋ 49[2], придбу 107[1], прї|дбу 115[3], и̂ прідꙋ 49[2] придоу́ же 115[3], при|доу́ бо 120[4]; пойдбу 107[1], пройдꙋ 115[3] и др.; могꙋ 6[3], 15[1], могбу 64[1], не могбу 49[1]; но и̂щю 129[3], пи́шю 135[2], пока|жю 62[2]; лобжю 15[1]; хощю 5[4], 6[3], 7[3], 14[4], 19[2], хощю 50[3], не х̊|щю 9[3], х̊|щю 17[1], хощ 24[1] и др.; и̂ скажю 50[3], прикосну́сѧ 6[3], прікосну́сѧ 18[4]; послю 16[3], 62[4], 141[2], послю тѧ 75[2], послю 48[3]; возмбу 52[1]; прии́моу вы 118[3]; глаголы на -*i*-: изгоню 7[4]; сужю ти 37[4], да сꙋжю 48[3], не соужю 48[3], соужю 62[2]; слоужю 76[3], 138[4]; възлюблю 49[2], люблю тѧ 52[2] bis, 52[3]; и̂|похожю 118[3], всхожю 52[1]; молю 50[2], bis, оумол| 49[2], молю 50[3], оумолю 50[1]; прошю 19[2], въ|прошю вы 22[3]; хвалю сѧ 119[4], не хвалю 112[4] хвалю|же 112[3], похвалю ли 113[1]; прицѣплю сѧ 105[1]; ношю 94[1], ѻ̂тъплачю 141[4]; сбла|жню сѧ 14[4].

Sing. 2-е лицо: мо̂же 17[1], хо́щеши 62[4], да во́змеши 50[2]; глаголы на -*i*-: възлю́би 5[1], лю|би 47[2], лю́биши 52[2], bis, осꙋ́дишисѧ 8[1], хвáлишисѧ 109[3], и̂ мо̂лби 33[1], іскꙋ́си 28[1].

Sing. 3-е лицо: и̂де 48[2], изи́|де 3[4]; мо́же 47[1], не мо́же 24[4], пи́шетъ 20[4], 22[4], покáже 23[4], пострá|же 20[4], ко́снетсѧ 148[2], подо́бле 10[1]; и̂ пожне 119[3], 124[2], bis; прíме 7[1], да по́йме 12[3], да во́зме 51[3], да не зáйде 126[3]; глаголы на -*i*-: свѣ́ті 4[3], восвѣ́тітъ 4[3]; не погꙋ́би 7[2], и̂схо́ди 9[3], прíхо́ди 18[1], прíхо́ди 23[4], прїхо́ди 24[3], и̂схо́ди 49[4]; не сло̂ми 7[4]; сблáзні 10[2]; и̂згóні 17[4]; плодоно́си 18[2]; впро̂си мѧ 49[4]; не скроу́шітъ 51[3]; похвáлитсѧ 125[3]; соу́ди|тсѧ 112[3]; послꙋ́жи 11[3].

Pl. 1-е лицо: но мéще 51[3]; по́жнемъ 111[4]; не оу́снемъ 115[2]; глаголы на -*i*-: блоу́димъ 112[1]; не сблáзни 10[2]; ѻ̂сꙋ́димсѧ 165[3].

Pl. 2-е лицо: и̂дете 49[3], ізи́дете 19[1]; мо́же|те 8[1], не мо́же|те 49[4], не мо́же 49[1], взмо́жете 127[2]; взїщете 49[1]; хо́щете 24[3], 61[4], и̂ хо́ще|те 61[4]

хо̂щете 24³; глаголы на -*i*-: сблáзніте 14⁴, не сблáзніте 49¹; блу̂діте 22⁴; сýдіт 5³; прóсіте 22², 49³; прóсите 50¹, bis; лю|біте 49³, лю̂біте 49²; прінóсіте 50¹; оумéртвите же 131².

Pl. 3-е лицо; ізи́дꙋ 8⁴, і разидуть 24¹; мóгꙋт 4²; пи́шоть 52¹, 52³; накáжютсѧ 135³; прі|и́моу 63⁴, и̂ вóзмоу 51³; і оу́бь|ю 21¹, да прéбью 51³; и̂ сдрóгноуть 80³; глаголы на -*i*-: хóдѧ 7², исхóдѧ 9³, пріхо̂дѧ 18¹, и̂ прихóдѧ 24¹, схóдѧть 50⁴; і плодонôсѧ 18²; ни жéнѧть 22⁴; і о̂брáтѧть 48³; и̂звóдѧ 24⁴; да не о̂бли́чать 42³; прі|цѣ́пѧтсѧ 105¹; сблâзнѧть 13², сблáзнѧть 14⁴.

Dual. 1-е лицо: мо̂жевѣ 11³, 21⁴; хóщевѣ 21⁴; глагол на -*i*-: прôсивѣ 21⁴.

Dual. 2-е лицо: мо̂жета 11³, мо̂|жета 21⁴; хо̂щета 21⁴; и̂щета 41⁴; глагол на -*i*-: прôсіта 21⁴, прôсітà 11³.

Парадигма с

Sing. 1-е лицо: грѧ́дꙋ 50², грѧ́доу 155⁴; рéкꙋ 43³, рéкоу 102³, 113², 120⁴, 129²; тéкоу 122²; жи́вꙋ 49² жи́воу 122⁴, bis, жи́ву 44⁴; дáю 47¹, 49¹; глаголы на -*i*-: твóрю 12¹, bis, 22³, 33¹, 43⁴, 45⁴, 47¹, 47², 48³, 49¹, 102⁴ и др., створю 14³, 21³, 21⁴, 37³, 49¹, bis, 73³; вá|рю 14⁴, вáрю 24¹; да свéршю 43⁴; да ꙗ̂влю 103⁴; щáжю 111¹; да сгóрю 113⁴; вéлю 21¹; тéрплю 10², 21¹; стóю 78¹; сдéржю 34³; лéжю 123¹; приставочные формы: пóтрѧсоу 148³; прі́влекоу 48⁴; рáспну 51²; пóложю 12⁴, 23¹, 33³, 49¹; і́цѣ|лю 48³; рáзорю 34¹; рáщиню 113¹; пóгоублю 103¹; оу́зрю 50¹; рáздражю 104⁴; формы с отрицательной частицей *не*: нé мню 36³, да нé мню 119¹; нé пощажю 121²; нé погоу|блю 44³; формы с предшествующими союзами: нó чту 46¹; і́ вложю 52¹; і́ мню 129¹; и̂ възгрáжю[3] 69¹; тó творю 102³.

Sing. 2-е лицо: живеши̂ 122³; чтеши̂ 64¹; да сбл|дéши 50²; і про|зовéши 25⁴; не кленéши 5¹; глаголы на -*i*-: о̂должи́ши 141⁴; положі́шї 49¹; стои́ши 62⁴; спи́ши 24¹.

Sing. 3-е лицо: зовéть 26³, прозовéть 23³; ростéть 53⁴; прочтéть 131⁴; глаголы на -*i*-: неразорі́ть 13²; і пріложи́ть 18²; оу|чи́ть 88¹; случі́ть 24¹; потреби́ть 60³; пусти́ 164³; да всели́тсѧ 120⁴, и̂ всели́тсѧ 153¹; въобрази́тсѧ 123³; о̂сти́ть 127¹; да о̂бщи́тсѧ 124²; о̂жести́ть 103⁴; темни́тсѧ 152³; кр̃ти́т 16⁴; да іскорени́тсѧ 9².

Pl. 1-е лицо: да не злоби́мъсѧ 124²; и̂ весели́мъсѧ 157¹.

Pl. 2-е лицо: сблюдетѐ 49³; прінесетѐ 49³, прїне|сетѐ 49³; жи|ветѐ 62²; и̂ и̂|женетѐ 13², рчет 13²; оумретѐ 45⁴, оумретé 45⁴; і пропнетѐ 13¹; пьéтѐ 112³, ни пьéтé 44³; даéтѐ 14³, 23⁴; глаголы на -*i*-: творітѐ 19⁴, 48⁴, створітѐ 8¹, ство|рітѐ 49³; разрѣшітѐ 10³; мнітѐ 59³, не мнітѐ 13⁴; о̂солі 21²; іскорені 8³; ѿпоустітѐ 52¹, не ѿпуститѐ 22²; раздражитé 53¹; оузрітѐ 23²; не оузрітѐ 49⁴; стоітѐ 11², стоитѐ 22², стои́тѐ 59¹; держитѐ 52¹.

Pl. 3-е лицо: глю̂ 47²; не тру̂ 19⁴; оупью̂ть 42¹; глаголы на -*i*-: творѧ́ 7³; разорѧ́тсѧ 87⁴; да ꙗвѧ́ть 5²; положа́ 25¹; ѿпоустѧ́ть 52¹; пакостѧ́ть

[3] В тексте над *а* очень короткая и почти вертикальная черточка, которая может быть и случайной помаркой.

134[2]; не гсита́тса 6[3], гсита́тъ 29[1]; и вѣвесела́|тса 153[3]; скрата́тъ 13[3]; держа́тса 52[1].

Dual. 1-е лицо: створи́вѣ 49[2].

Dual. 2-е лицо: йспвѣ́тѣ 21[4], іспа́іе 11[3]; глаголы на *-i-*: творі́тѣ 22[1]; крті́тѣ 21[4].

Dual. 3-е лицо: гоглситѣ 10[3]; да помолчитѣ 11[3].

Отклонения от этой системы единичны, они заключаются в основном в распространении на глаголы типа *c* окситонированной формы 1-го лица ед. числа: 1) а да́ю ва 49[2], 2) да ѿстк҃ою ки́ну 120[2], 3) і рко҃у ѣ҃м 35[4], 4) не йжжеіо҃у вс҃ѣх҃ 44[3], 5) и власю́ гер҃ѣ҃тъ мси 52[1], 6) да прозрю́ 22[1], 7) створю́ кс҃лю 12[1], 8) ко вскр҃ѣшю́ и 44[3], 9) и пресемю́ въı 63[1], 10) поклонюса 3[4], 11) кр҃цю́ са 21[4].

По-видимому, эти отклонения следует рассматривать как начало процесса замены формы-«энклиномена» 1-го лица ед. числа презенса в парадигме *c* современной окситонированной формой. При оценке причин этого явления следует учитывать ряд факторов: падение интонаций, перестройку и ликвидацию системы фразовых единств, давление на единичную форму 1-го лица всех остальных форм презенса, поддержанное наличием окситонированной формы в парадигме *b*, массовый переход краткосложных глаголов на *-i-* парадигмы *b* в парадигму *c* и др.

Форма 1-го лица ед. числа презенса парадигмы *c* с накоренным ударением, перемещающимся на приставку и отрицание, широко представлена в русских памятниках XVI—XVII вв. Большая выборка этих форм была приведена еще Л. Л. Васильевым:

1. Формы-энклиномены от глаголов парадигмы *c*: пе́ю Ап. 1564 г. 230, Тр. П. 1589 г. 16, Торж. XVI в. 166; жи́вѣ Тр. П. 1589 г. 201 об.; зе́вѣ Тр. П. 1589 г. 126 об., Охт. 1594 г. 47 об., при́зовѣ Ап. 1564 г. 230, Час. 1565 г. 117 об., ке́ззовѣ Ап. 1564 г. 239 об.; на́ведѣ Тр. П. 1589 г. 110 об., при́ведѣ Мин. 1600 г. 166, и в'ве́дѣ Тр. П. 1589 г. 64 об.; пе́женѣ Час. 1565 г., 115 об.; при́несѣ Окт. 1594 г., 276, по́несѣ Тр. П. 1589 г., 107; глаголы на *-i-*: гле́рю Ратн. 67 об., 211; вѣ́жѣ Тр. П. 1589 г. 331 об.; ле́жѣ Тр. П. 1589 г., 102, 114; сте́рю Тр. П. 1589 г., 101; пе́требаю Тр. П. 1589 г., 231 об.; гле́рю Тр. П. 1589 г., 417 об.; на́оучю Час. 1565 г., 25 об.; ве́звѣцѣ Служ. 1602 г., 333 об.; по́ложю Псалт. 1568 г., 13 об.; ѡ'стею Ап. 1564 г. 175 об.; бе́йса Тр. П. 1589 г., 39 об., кого́са оу҃бею Ап. 1564 г., 230 [В Новгородской летописи еще: по́ложѣ 488 об., ст'ложѣ 642].

2. Формы-энклиномены от глаголов парадигмы *b*: ѣмсчю Час. 1565 г., 102 об.; Час. 1598 г. 116 (ср.: ѣмѣ́читъ Ев. 1606 г., II, 86 об.); при́несшѣ Охт. 1594 г., 231 об., 389 об. (ср.: прине́сите ib., 40): да пе́кежѣ Новг. лет. 192 (ср.: пекѣ́жемъ ib. 344 об.); ве́здѣжѣ Час. 1565 г., 74 (ср.: воздеже́ Тр. П. 1589 г., 179 об.)[4].

Важной особенностью этих форм является открытый характер *o* в корне и приставке под ударением в текстах, отмечающих закрытый *ô* при помощи каморы (о҃). В текстах такого рода, исследованных Л. Л. Васильевым, отмечены: пе́ю Псалт. 10б, 15б, 33а, 119б, взи́|вѣ ib., 74а, по́жрѣ ib. 215 б, гле́жрсу ib., 70 б, при́лю ib. 194а[5].

[4] Л. Л. Васильев, О значении каморы в некоторых древнерусских памятниках XVI—XVII веков. К вопросу о произношении звука *о* в великорусском наречии, Л., 1929, стр. 47—48.

[5] Там же, стр. 47, 50.

Эта особенность *о* свидетельствует о его «циркумфлектированном» характере («циркумфлекс» краткостей). В то же время в формах, где ударение появилось в результате передвижения к началу слова устойчивого акцента, в этих текстах регулярно отмечается закрытый *ô* (ô), который является рефлексом нового акута краткостей: пôйдоуть Псалт. 113а, 122б и др., пôжнꙋ ib., 181а, пôслеть ib. 157а и др. [6]

В этот период в диалектах, сохраняющих форму-«энклиномен» 1-го лица ед. числа презенса, по-видимому, устанавливается следующая система:

	a	*b*	*c*
1-е лицо	*ста́влю, поста́влю*	*хвалю̀, похвалю̀* *хва́лю, по́хвалю*	*клоню̀, наклоню̀* *кло́ню, на́клоню*
2-е лицо	*ста́виши, поста́виши*	*хва́лиши, похва́лиши*	*клони́ши, наклони́ши*
3-е лицо	*ста́витъ, поста́витъ*	*хва́литъ, похва́литъ*	*клони́тъ, наклони́тъ*

В данной системе форма-«энклиномен» и окситонированная форма 1-го лица ед. числа выступают как варианты, которые в равной степени характерны как для парадигмы *c*, так и *b*.

Иллюстрацией может служить распределение форм 1-го лица ед. числа презенса в Пс. № 62:

Акцентная парадигма *a*: не бꙋ́дꙋ 41а, бꙋ́дꙋ 18а; не забꙋ́дꙋ 134а; не сѧ́дꙋ 24б; вста́нꙋ 60а, пре́ста́нꙋ 3б; прелѣ́зꙋ 15б; оу҆мы́ю 24б (ср.: ô|мы́еши мѧ̑ 54а); покры́юсѧ 63б (ср.: покры́еши 29б); не подви́жꙋсѧ 8б, не подви́|жꙋсѧ 63б (ср.: не подви́житсѧ 19а, да подви́жꙋтсѧ 31б, да не по|дви́жꙋтсѧ 13а); дости́гну 159б, и҆ пости́гнꙋ 16а; в этот же тип вторично как исключительно книжные, церковнославянские формы, попали: и҆ ôбы́дꙋ 24б, не ôты́дꙋ 41а; и҆ взы́щꙋ 131а; ѿве́рзꙋ 50б (ср.: ѿве́рзеши 54б, вероятно, результат смешения с ѿве́ргу).

Глаголы на *-i-*: и҆ ї҆зба́влю 101а (ср.: и҆зба́виши мѧ 16б, и҆зба́вит мѧ 15а); и҆ наста́влю тѧ 30б (ср.: на|ста́виши мѧ 28б, поста́|виши мѧ 16б, не ôста́виши 12б), и҆ просла́влю 94а, 101а, и҆ просла́|влю 159а; и҆спо́лню 101а, и҆ ї҆спо́|лню 90а; и҆ ôчи́щꙋсѧ 18а, 54а; насы́щꙋ 159б (ср.: насы́тѧтсѧ 21а, 37б); размѣ́рю 62б, 121а; оу҆слы́шꙋ 93а, и҆ оу҆слы́|шꙋ 101а; вторичны глаголы с кратким гласным в основе, вошедшие в этот тип: и҆ оу҆подо́блюсѧ 26а (ср.: оу҆подо́битсѧ 41б, 96б), оу҆гото́влю 96б (ср.: оу҆гото́ви|тсѧ 96б).

Акцентная парадигма *b*: 1. Формы-«энклиномены» — во́здежꙋ 64б; не́ оу҆тонꙋ 72а; по́молюсѧ 27б (ср.: помо́литсѧ 30б); во́схвалю 35а, 73а, 153б, 154б (ср.: восхва́|ли 153б, восхва́лѧтъ 21а, да во|схва́лѧтъ 73а, да восхва́|лѧтъ 120б); по́хвалю 59а, bis (ср.: хва́лиши 55а, похва́лимсѧ 46а, похва́лѧсѧ 4а).

2. Окситонированные формы — преидꙋ̀ 151а, не возмогꙋ̀ 148а, оу҆бі́ю 163б; и҆ претерплю̀ 55б (ср.: прете́рпитъ 32а, поте́рпи 66б); сломлю̀ 80б (ср., сло́ми 49а); ô|мочю̀ 4б (ср.: да ô̄мо́читсѧ 70а); молю́|ти сѧ 178б, и҆ молю́ тѧ 182а, 183а, и҆ молю́сѧ 181а, помлю́сѧ 3б (ср.: по|мо́лѧтсѧ 48а).

Акцентная парадигма *c*: 1. Формы-«энклиномены» — во́знесꙋ 68а, и҆ во́знесꙋ 129а, и҆ во́з|несꙋ 159а, ôблекꙋ 143б, bis; и҆ по́пекꙋсѧ 40а; при́зовꙋ тѧ

[6] Там же, стр. 50—51.

108б, при|зовѫ тѧ 147б; пою 60а, 75б, 153а, 154а, 178б, и пою 11а, 59б, 121а; воспою 6б, 11а, 62а, bis, 108а, 113б, 121а, 147а, 153а, и воспою 25б, воспою тя 21а, 21б (ср.: воспоѣтъ 67а); поманѫ 48б, 75а, 82а, не поманѫ 147а, ни по|манѫ же 12а (ср.: поманѣши 165а, поманѭ 216).

Глаголы на *-i-*: приклоню 50б, поклоню ся 147б (ср.: и поклони|ши ся 48а, и поклонятся 76а, преклонится 8б); возвѣщѫ 75а, bis, 96а, и возвѣщѫ 57б (ср.: во|звѣстятъ 54б); наложѫ 121б, прило|жѫ 168а, положѫ 28б, 98а, 123б, и положѫ 98а, і положѫ 97б, положѫся 10а (ср.: возложатъ 54б); наоучю 143б, поучюся 82а, 130а, и поучю 130б, и поучюся 135а (ср.: поучится 1а, 75б); оупою 163б (ср.: напоити 36а); возвеселюся 113б (ср.: возвеселится 11б, 32а); оутвержѫ 30б (ср.: да оутвердится 97а); повежѫ 97б (ср.: и поведиши 53б); сотворю 163б (ср.: сотвориши 51б, сотво|рити 54а); ни оскверню же 98а (ср.: оскверната 98а); не преселюся 64а (ср.: и преселит тя 55а); сохра|ню 98а, и сохраню 61б, 129б, 131б, 133б, 136б; и сохра|ню ся 15б, и сохраню 131а (ср.: сохранишн 10б, и сохранитъ 121а); не оубоюся 22а, 58б, не|оубоюся 22а, кого ся оубою 24б (ср.: не оубо|ятся 25а). В эту же парадигму, по-видимому, входили: и полецѫ 57а, послажѫ 143б, возрацѫ 143б, ѿ кого ся оустрашѫ 25а, и не оумилюся 28а, по|ражѫ 163б, ро|зражѫ 163б, прохлажю ся 41а.

2. Окситонированные формы — рекѫ 44б, не рекѫ 52б, и не|кѫ 163б; градѫ 42а; поженѫ 16а; пою 25б, воспою 188а, и воспою 6а, да пою ти 183а, воспою 59б (ср.: воспоѣтъ 67а); піѭ 59б (ср.: и оупіѭтся 36а); вознесѫ ся 49а, bis, вознесѫ ся 121а, вознесѫ тя 153б; при|зовѫ тя 59а.

Глаголы на *-i-*: сохраню 40а, (ср.: сохра|нятся 38а); возвещѫ 151а (ср.: во|звѣстятъ 54б); ѿвращѫ 162а (ср.: да ѿвратятся 8а, 59а; развратишася 15б); возвращѫ ся 16а (ср.: возвратитъ 56а, 56б, ѳвратятся 21б, 54б, 77б); наоучю 33а, наоучюся 133а, bis, поучюся 130а, 133а, и по|оучюся 82а (ср.: поучятся 38а); вселюся 63а, 143б, и вселюся 148б (ср.: да вселитъ 5б, и вселя|тся 38а); и ѣвлюся 43б (ср.: ѣвитъ 61б); и возвеселюся 28б, и во|звеселюся 6б (ср.: веселятъ 48б); поклоню|ся 4а (ср.: поклонішися 90а; да поклонится 67а); ѳличю тя 52б (ср.: обличиши 4б); боюся 51а, не оубою-ся 2б, 59а (ср.: не оубо|ятся 25а).

Таким образом, в акцентной системе памятников XVI—XVII вв. уже потеряна та непосредственная соотнесенность форм-энклиноменов 1-го лица ед. числа презенса с акцентной парадигмой *c*, которая характерна для языка XIV в. В обеих парадигмах (*b* и *c*) существуют два акцентных варианта 1-го лица ед. числа презенса: окситонированный и «энклиномен», которые, по-видимому, находятся между собой в отношении свободной конкуренции. В дальнейшем энклитические формы 1-го лица ед. числа презенса полностью исчезают из памятников письменности, заменяясь окситонированной формой.

Однако еще в начале XX в. в русских диалектах были отмечены следы энклизы 1-го лица ед. числа презенса, правда, довольно скудные. Ср. приводимые Л. Л. Васильевым: *не́ боюсь*, *не́ вскочу*, *за́гону*, *за́брошу* [7].

Парадигматическая отнесенность этих форм уже, вероятно, полностью потеряна.

Видимо, единственной восточнославянской областью, сохранившей накоренное ударение 1-го лица ед. числа презенса в парадигме *c*, являются

[7] Там же, стр. 48—49.

украинские гуцульские диалекты. О распространении этого типа наиболее четкое указание можно найти у И. Панкевича: «Отмечается еще одно различие в ударении настоящего времени, а именно, начиная от Боржавской долины на восток вместе с Гуцульщиной, бесприставочные глаголы I класса в 1-м лице ед. числа переносят ударение с окончания на предшествующий слог: *n|esty — n|esu*, *-|eš*, *v|esty — v|edu*, *-|eš*, *bost|y — b|odu*, *-|eš*, *kl|asty — kl|adu*, *-|eš*, *mest|y — m|etu*, *-|eš* и т. д. То же и в III и IV классах: *terp|ity — t|erpl'u*, *terp|yš*, *syd'|ity — s|yžu*, *syd|yš*, *has|yty — h|ašu*, *has|yš*, *hat|yty — h|aču*, *vert'|ity — v|erču*, *vert|yš* и т. д.»[8] (ср.: *p|eku p|asku*, *on|y pek|ut' p|asku*, *ja s'|iku chvor|ost*, *ony s'ik|ut' d|ын'u*, *r|iкы tek|ut'*, *str|ыhu vol|os'a*, *on|y strыh|ut' vúc'i*, *r|eku tob'i*, *on|y rek|ut'*[9]). Материалы, приведенные Л. Л. Васильевым (а затем Хр. Стангом)[10] из записей В. Гнатюка[11], относятся к этой же диалектной области.

Эта особенность ударения 1-го лица ед. числа настоящего времени глаголов, относящихся к акцентной парадигме *c*, вероятно, раньше встречалась (а может быть, и сейчас встречается) на более обширной территории. Интересны в этой связи факты, отмеченные в доливском говоре (в районе Перемышля и Ярославля), где: *сыджу — сыдíш — сыдíт*, *смéрджу — смердúш — смердíт*, даже *мóвю — мовíш*, при *мóвiтi*, но *лечý — летíш — летíт*, *біжý — біжúт*, *стрижý — стрыжýт*, *печý — печýт* и т. п.[12]

Следы подобного подвижного типа парадигмы *c* отмечены также Г. П. Клепиковой в одном переходном гуцульско-покутском говоре[13]. Форма акцентной кривой в этом типе у бесприставочных глаголов соответствует форме акцентной кривой древнерусской парадигмы *c*:

Sing. 1-е лицо *дбíу*, 2-е лицо *дойíш*, 3-е лицо *дойíт*; Pl. 1-е лицо *дойímó*, 2-е лицо *дойítá*, 3-е лицо *дойáт*. Однако здесь этот тип лексически и в некоторой степени морфологически ограничен: он сохранился лишь у определенных видов основ и лишь у небольшого числа глаголов: один глагол тематического класса — *вáзтə*; глаголы на *-i-*: *ростéтə*, *дойíтə*, *клəйíтə*, *кройíтə*, *тройíтə*, *млойéтə*, *гáйитə*. Глаголы на *ě/i*: *ляж'éтə*, *сəд'íтə*, *тəрп'íтə*.

Характерным является сохранение формы 1-го лица ед. числа презенса с накоренным ударением лишь у глаголов, входящих в тип, сохраняющий маргинальную окситонезу (тип «б» по классификации Г. П. Клепиковой), в типе с ударением на тематическом гласном (тип «а» Г. П. Клепиковой) формы с накоренным ударением не отмечены.

Такое распределение форм 1-го лица ед. числа с накоренным ударением делает невозможным объяснение их ударения поздней оттяжкой с конечного открытого слога[14].

Энклиза этой формы в положении после союзов, отрицаний и приставок в данной группе диалектов, по-видимому, потеряна. Лишь в одном случае можно видеть ее реликт: *нáцси*[15]. Но такое ударение может быть и результатом контракции.

---

[8] І. Панькевич, Українські говори Підкарпатської Русі і суміжних областей, I, Praha, 1938, стр. 330.

[9] Там же, стр. 301. Вертикальная черта обозначает ударность следующего гласного.

[10] Л. Л. Васильев, указ. соч., стр. 49—50; Chr. Stang, Slavonic accentuation, стр. 110.

[11] См.: «Етнографічний збірник», VI, Львів, 1899.

[12] І. Верхратский, Про говор долівский, «Записки Наукового товариства імени Шевченка», XXXV—XXXVI, кн. III—IV, Львів, 1900, стр. 76—78.

[13] Г. П. Клепикова, К характеристике системы ударения одного переходного гуцульско-покутского говора, «Краткие сообщения Ин-та славяноведения АН СССР», 41, 1964, стр. 40—54.

[14] Ранее нами допускалась такая возможность, ср.: В. А. Дыбо, О реконструкции ударения в праславянском глаголе, ВСЯ, 6, 1962, стр. 11—12.

[15] І. Панькевич, указ. соч., стр. 470 (из текста).

Наряду с энклизой 1-го лица ед. числа презенса в Чудовском Новом Завете сохранились следы проклизы этой формы по правилу Васильева-Долобко: постыжюсѧ̀ (128[1],) не стыжюсѧ̀ 119 [4]. В большинстве случаев, однако, в связи с возвратной частицей выступает окситонированный вариант формы 1-го лица ед. числа презенса: поклоню́сѧ 3[4], кр҃щю́сѧ 21[4], не бою́сѧ 37[1], вселю́сѧ 118[3].

По-видимому, не случайна также акцентовка следующих сочетаний: г҃лю ті̀ 4[4], г҃лю ти̇̀ 30[3], ре́кꙋ ти̇̀ 3[4], створю ти̇̀ 22[1], бл҃го|дарю ти̇̀ 37[1], ꙗ҆влю ти̇̀ 78[1]; живоу жѐ 122[4], щажю же́ сѧ 120[4], сдержю же́ сѧ 128[2].

В то же время формы 1-го лица ед. числа презенса от глаголов парадигм *a* и *b*, как правило, проклизе не подвергаются и «энклитики» после них ударения не получают [16]:

1. a) надѣ́юсѧ 128[4], 163[1], ѿве́ргусѧ 7[1], о̀бра́щюсѧ 121[1], и҆спо́лнюсѧ 138[4]
   b) прікосну́сѧ 6[3], прікосну́сѧ 18[4], хвалю́сѧ 119[4], прицѣплю́сѧ 105[1]
2. a) вспомина́ю ти 138[4]
   b) придоу́ ти 149[3], сужю́ ти 37[4]
3. a) впраша́ю же 65[3]
   b) придоу́ же 115[3], хощю́ же 130[4], хвалю́|же 112[3], гоню́ же 129[1], молю́ же сѧ 121[2].

В памятниках XVI—XVII вв. проклиза 1-го лица ед. числа презенса перед «энклитиками» уже не отмечается. Формы-энклиномены в этих текстах передают свое ударение приставкам и другим проклитикам даже при наличии следующих за ними энклитик. Ср. в Пс. № 62: по́клонюсѧ 147б, по́ложꙋсѧ 10а, по́оу̑чюсѧ 82а, 130а, во́звеселюсѧ 113б, ѻ҆́скверню же 98а, не́ преселюсѧ 64а, при́зовꙋ тѧ 108б, и҆ по́пекꙋсѧ 40а и др.

Эта особенность поразительно соответствует не только энклизе «энклитик» в позиции после предлогов в текстах XVI—XVII вв. (на́ сѧ, на́ тѧ, на́ нѧ), но и их энклизе в начальных союзных группах: ꙗ҆́ко же, а҆́ще бо и др. (в отличие от аналогичных групп Чудовского Нового Завета: ꙗ҆кожѐ, а҆щебо̀ и др). Следует отметить, что при местоимении вы, подвергающемся энклизе после союзов и предлогов в Чудовском Новом Завете, формы-энклиномены в этом памятнике обычно не подвергаются проклизе, а вы обычно остается безударным: те́рплю вы 21[1], оу́зрю вы 148[4], ва́рю вы 24[1] (смешение: ва́|рю вы̀ 14[4]), ср. также в местоименных группах: та́ко вы 162[2], са́ми вы 42[3].

Если принять во внимание аналогичные особенности в некоторых сербских текстах XVI в.: отсутствие оттяжки ударения на энклитики в формах-энклиноменах 1-го лица ед. числа презенса, энклизу частиц се, те, ме при предлогах и начальноударность союзных групп типа ꙗ҆́ко же, а҆́ще бо, то можно думать об определенном параллелизме механизма утраты системы, построенной на правиле Васильева-Долобко, в русских и сербских диалектах. Однако этот вопрос нуждается в дополнительном исследовании.

Проведенное исследование, по-видимому, с достаточной степенью надежности показывает мнимый характер сближения конечного ударения

---

[16] Исключение вижю тѧ̀ соу́ща 63[4], возможно, мнимо, так как здесь местоимение тѧ, вероятно, входит в одну синтагму с причастием соу́ща, фонетически отделяясь от предшествующего глагола, и, находясь в этой синтагме в препозиции, получает ударение. В глаголе вижю таким образом, по-видимому, пропуск знака ударения.

формы 1-го лица ед. числа презенса глаголов акцентной парадигмы *c* в восточнославянских языках с аналогичным ударением этой формы в литературном болгарском и его северо-восточных диалектах и подтверждает реконструкцию Хр. Станга [17].

ЛИТЕРАТУРА

(принятые в статье сокращения названий)

Ап. 1564 г.— Апостол, 1564 г.—старопечатная московская книга. Цит. по Л. Л. Васильеву (Васильев).

Васильев — Л. Л. Васильев, О значении каморы в некоторых древнерусских памятниках XVI—XVII веков. К вопросу о произношении звука *о* в великорусском наречии, Л., 1929.

Ев. 1606 г.— Евангелие, 1606 г.— старопечатная московская книга, цитируется по Л. Л. Васильеву (Васильев).

Мин. 1600 г.— Минея общая, 1600 г. (19/VIII) — старопечатная московская книга. Пример приведен у Л. Л. Васильева (Васильев, стр. 47), но при наборе ошибочно опущено сокращение названия, по этой причине, вероятно, отсутствует и в списке сокращений. Проверено по экземпляру Всесоюзной государственной библиотеки им. В. И. Ленина.

Новг. Лет.— Новгородская летопись XVI—XVII вв. (с 384 л.) — Библиотека АН СССР (Ленинград). Отделение рукописей, шифр: 34.4. 32. Примеры приводятся по Л. Л. Васильеву (Васильев).

Охт. 1594 г.— Охтаик, 1594 г.— старопечатная московская книга. Цит. по Л. Л. Васильеву (Васильев).

Пс. № 62 — Список 1-й половины XVII в. с перевода псалтыри Максимом Греком — Всесоюзная государственная библиотека им. В. И. Ленина, Отдел рукописей, ф. 304, № 62.

Псалт.— Псалтырь XVI в., рукопись ГПБ, Г I № 7. Примеры приводятся по Л. Л. Васильеву (Васильев).

Псалт. 1568 г.— Псалтырь, 1568 г.— старопечатная московская книга. Цит. по Л. Л. Васильеву (Васильев).

Ратн.— Книга о ратном строении, 1647 г.— старопечатная московская книга. Цит. по Л. Л. Васильеву (Васильев).

Служ. 1602 г.— Служебник 1602 г.— старопечатная московская книга. Цит. по Л. Л. Васильеву (Васильев).

Торж. XVI в.— Торжественник, XVI в. ГПБ, приобретения 1907 г., № 96. Цит. по Л. Л. Васильеву (Васильев).

Тр. П. 1589 г.— Триодь постная, 1589 г.— старопечатная московская книга. Цит. по Л. Л. Васильеву (Васильев).

Час. 1565 г.— Часовник, 1565 г.— старопечатная московская книга. Цит. по Л. Л. Васильеву (Васильев).

Час. 1598 г.— Часовник, 1598 г.— старопечатная московская книга. Примеры приводятся по Л. Л. Васильеву (Васильев).

Чуд. Нов. Зав.— Новый завет господа нашего Иисуса Христа. Труд святителя Алексия Митрополита Московского и всея Руси (Фототипическое издание Леонтия, митрополита московского), М., 1892.

[17] Предварительный просмотр старосербских текстов приводит к аналогичному результату.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 6 1969

И. ЗАИМОВ

БИТОЛЬСКАЯ НАДПИСЬ БОЛГАРСКОГО САМОДЕРЖЦА ИВАНА ВЛАДИСЛАВА 1015—1016 гг.

1. Эта чрезвычайно интересная древнеболгарская надпись была обнаружена в южномакедонском городе Битоли в 1956 г., когда разрушали старую Чауш мечеть, построенную в 1522 г. Мраморная плита этой надписи вторично использовалась турками как порог внутренней части мечети; поэтому она стала известной только после разрушения давно покинутой мечети. Надпись стояла, очевидно, на стенах крепости возле города, как это следует из текста. Она является историческим свидетельством о последних годах первого болгарского царства. Надпись была опубликована дважды. Несмотря на это, она все еще не получила должного места в славистике. Первая публикация надписи принадлежит перу покойного болгарского ученого А. К. Бурмова в журнале «Пламък» (София, 1959, № 10, стр. 84—86); к сожалению, помещенный им снимок недостаточно ясен, большая часть даже сохранного текста надписи на нем не видна. Автор как историк сделал выводы о значении надписи для болгарской политической истории последних лет царствования Самуила, который сохранил государственную традицию прежних болгарских владетелей Петра и Симеона; автор использует свидетельства надписи для установления этнического облика Македонии начала XI в.— ее население было болгарским, так как самодержец, который титуловался самодержцем болгарским и был по происхождению болгарин, построил крепость для своих подданных болгар.

Издание надписи с подробным ее анализом принадлежит Владимиру Мошину («Македонски јазик», XVII, 1966, стр. 51—61). К сожалению, Мошину осталась недоступной статья болгарского ученого. Мошин исследовал надпись с точки зрения палеографии и языка и сделал первую и во многих отношениях удачную реконструкцию потерянного текста. Однако автор не определил подлинное место надписи в истории болгарского языка, ее исключительное значение для болгарской и славянской палеографии, а также для болгарской истории начала XI в.

Видимо, не турки разрушили крепость, чтобы построить мечеть, а крепость была разрушена в результате их нападений на город, так как вряд ли они стали бы разрушать ее только для того, чтобы получить строительный материал. Отсюда можно заключить, что последние болгарские защитники города Битоли в конце XIV в. сдали город туркам лишь после жестокого сопротивления.

Размеры каменной плиты большие: длина 92 см, высота 58 см, толщина 15 см. К сожалению, надпись не сохранилась целиком. Для стройки турки отломили несколько сантиметров левой, верхней и правой стороны плиты и испортили текст. Величина букв неодинаковая. Обнаруживаются большие колебания в начертаниях одной и той же буквы. Средняя высота букв — около 30 мм, толщина отдельной хасты от 3 до 4 мм; в ширине букв наблюдаются большие различия в зависимости от их очертаний.

По содержанию надпись Ивана Владислава строительная: болгарский самодержец рассказывает, что он построил крепость с помощью святой богородицы «для убежища, для спасения и для жизни болгар». Строительной тематике посвящено менее половины всего текста надписи. Это соотношение показывает, что автор надписи — самодержец Иван Владислав — преследует и другую цель. Во второй половине надписи он рассказывает о себе, следуя традиции надписей первоболгарских владетелей, согласно которой владетель говорит о своем происхождении в связи с остальным содержанием надписи. В этом отношении древнеболгарские надписи решительно отклоняются от эпиграфической традиции византийских надписей, отражая влияние Ближнего Востока.

Для понимания исторического содержания надписи следует ближе познакомиться с последними десятилетиями истории первого болгарского царства. После царствования Симеона (893—927), когда Болгария достигла больших политических и военных успехов, а также успехов в области литературной деятельности (с центром восточноболгарской письменной школы в столице Преславе), наступает длительный и медленный упадок; в правление его сына Петра (927—969) византийское влияние начинает проникать во все области болгарской жизни. Спустя три года после смерти царя Петра византийский император Иоанн Цимисхий вместе с русским князем Святославом заняли столицу болгарского государства Преслав, сожгли и разорили ее. Восточная часть болгарских земель оказалась под властью Византии. Сопротивление перенеслось в западную часть, где сыновья местного правителя комита Николы — Давид, Арон, Моисей и Самуил продолжали борьбу с византийцами. Самуил и Арон, возглавлявшие болгарские войска, нанесли 17 августа 986 г. в ущелье Траянови врата около теперешнего города Ихтиман в Западной Фракии жестокое поражение войскам византийского императора Василия II после его безуспешного похода и осады крепости Софии. На следующий год Самуил, подозревая своего брата Арона в соглашательстве с византийцами, убил его, так как ему как старшему из всех братьев принадлежало право стать болгарским владетелем. В конце X в. Самуил стал царем и продолжил борьбу с византийцами. Он отторгнул Восточную Мизию, а на юго-западе достиг Южной Фессалии. Но день 29 июля 1014 г. был фатальным для Самуила: в ущелье Ключ между горами Беласица и Огражден его войска были окружены, и болгарский царь понес жестокое поражение. В начале октября он умер; множество его солдат (около 14 тыс.) было ослеплено по повелению императора Василия II, который позже получил прозвище Болгароубийца. Наследником Самуила стал его сын Гаврил Радомир. Он правил всего лишь около года и пал жертвой своего двоюродного брата Ивана Владислава, сына Арона. Иван Владислав долго таил свою месть, не смея предъявлять свои права на престол, пока Самуил был жив и пользовался уважением как опытный стратег и мудрый руководитель государства. Гаврил Радомир был убит весной 1015 г. в Южной Македонии. В то же время, после очередного весеннего похода Василия II в Болгарию, как сообщают тогдашние византийские хроники, пала столица болгарских царей Охрид. Новый болгарский владетель счел необходимым перенести столицу в Битолю, которая еще держалась в болгарских руках.

Одной из первых забот самодержца Ивана Владислава было восстановление крепости города Битоли, которая отчасти была разрушена во время прежних сражений с византийцами. Восстановление крепости началось 20 октября, как это указано в четвертой и пятой строке надписи.

2. Синтаксический анализ первого предложения надписи показывает, что не достает его начала; оно должно было быть в первой, утраченной строке. На основании сравнения с началом других надписей XI и XII вв.

можно предложить следующее чтение первой строки: ⰲⱃъ лѣто ѕ҃ф҃к҃г҃ отъ створениа мира обнови сѧ съ градь. Для реконструкции года в этом месте основанием служит указание в пятой строке месяца и дня начала стройки крепости при отсутствии указания года.

Надпись начинается с аемъ, которое можно дополнить спереди буквами зид как определение градь. Строка заканчивается прилагательным блъгарьско, которое следует читать как блъгарьско[мь] в качестве определения Іωаном самодрьжъцемъ. Мошин полагает, что здесь надо дополнить блъгарьско[го] и на второй строке — царьства, но такого титула болгарские владетели в средние века не знали. Вторая строка начинается с восстановления только потерянной буквы п как начало слова [п]омощїѫ. Строку надо закончить в [ъ за] и на другой строке [ст]ѫпенїе. Мошин дополняет еще чьсть и въ заст, что заставляет предполагать утрату конца для каждой строки. Он исходил из того, что первая из сохранившихся строк была и первой строкой текста, и это, на основании синтаксиса всего текста, побуждало искать ее продолжения. Третью строку следует закончить предлогом на, основание для чего находим в повторительном употреблении того же предлога в четвертой строке, что характерно для болгарского языка и до наших дней — предлоги повторяются перед каждым однородным членом предложения. Мошин начинает строку [въ тврьдо оуб]ѣжїще, заменяя предлог на предлогом въ, что противоречит синтаксису болгарского языка. После начѧть же можно восстановить быстъ, имея в виду дѣлань быст[ь] в третьей строке. У Мошина пятая строка начинается с восстанавливаемого глагола сѧ дѣлати, что, как мне кажется, не имеет достаточных оснований, так как в третьей строке уже сказано: съ же градь дѣлань быст[ь]. После слова градь Мошин читает: стыⷯ҇ апль. Таких слов не видно ясно на камне. В этом месте я вижу с[ьб] и [т]ола, где с[ь] надо считать постпозитивным членом к слову градь, после чего следует имя города (крепости): от всего имени читается и и ола; остаточные элементы других букв, без сомнения, дают основание для восстановления целого названия города, которое употреблялось в той же форме, что и теперь — *Битола*. Начало шестой строки Мошин начинает с названия месяца июнѣ и даже с определения дня — к҃ѹ҃; он полагает, что восстановление крепости кончилось в день святых апостолов, покровителей крепости. Основанием для этого служит упоминание о том, что крепость восстанавливается, чтобы приобрести покровительство этих святых апостолов. К этому соображению нужно отнестись с большой осторожностью: Мошин утверждает, что завершение восстановления крепости совпало с праздником упомянутых апостолов; но как покровительница построения крепости названа и пресвятая владычица богородица, и это дает равное основание полагать, что крепость была закончена к ее празднику (15 августа). Важнейшее возражение дает самый камень, где таких слов не видно. Далее (после испорченного названия месяца) следует ис и левая половина буквы х, которую можно дополнить исх[одѧща]; крепость закончена в конце какого-то месяца, что вполне естественно: окончание восстановления крепости нельзя связывать с точно определенным днем. Здесь заканчивается строительная часть надписи.

Следует историческая часть. Она, как представляется, начинается со слов съ самодръжъць. Мошин начинает ее со слов съ ц҃рь и самодръжъць. Вызывает сомнение возможность двойного титулования ц҃рь и самодръжецъ для Ивана Владислава, так как оно начинает употребляться лишь два века спустя — ср., например, титул Ивана Асена II в 1230 г. ц҃рь и самодрьжець блъгарωмь. Иван Владислав был первым владетелем Болгарии, который присвоил себе титул самодержца, и вряд ли он мог присвоить себе и царский титул. Однако решающим аргументом является отсутствие места на камне, где мог бы быть написан второй титул. После слов

бысть блъгарѣ̀нъ родомъ следует буква оу, которую я считаю началом слова оуноукъ «внук»; эта форма вплоть до настоящего времени распространена в юго-западных болгарских диалектах; форма *внук* (древнеболгарское къноукъ) имеет распространение в восточноболгарских областях. Мошин полагает, что оу является началом слова оубо «прочее, впрочем», что мало вероятно, так как это слово, употребляющееся в начале больших предложений и вводящее заключительную мысль, мало подходит для эпиграфического памятника. Для седьмой и следующей восьмой строки возникает еще одно расхождение с чтением Мошина: начальную букву седьмой строки к я отношу к оу[н/оу]к[ъ], а у Мошина она относится к имени Николы. Форма родительного падежа двойственного числа благовѣрноу показывает, что перед ней следует читать два имени, которые могут быть только Николы и Ри[гимиа] (дед и бабушка Ивана Владислава или отец и мать Арона и Самуила). Седьмая строка заканчивается буквой с, которую я считаю началом имени С[амоуила] и дополняю: ж[е сѫща брата ѿ҃рѣ самод]ръжавнаго. Мошин считает букву с началом слова с[тарѣиша]го что неубедительно, так как окончания го на камне нет: строка начинается с буквы ж. У Мошина эпитет [самод]ръжавнаго не сопровождается титулом црѣ, как это встречается во всех подобных случаях без исключения. Форма двойственного числа ѣже предполагает, что до этого речь шла о двух лицах: одно из них Арон, отец Ивана Владислава, а другим должен быть Самуил, так как они вместе разбили (ѣже і развѣсте) византийского императора в местности Траянови врата возле теперешнего города Ихтиман. Я полагаю естественным, что здесь надо было указать место, где произошло сражение. Это место византийские хроники обозначают точно: оно называлось Штипон, и это название сохранилось до наших дней (теперь в этой местности никакого селения нет; в конце прошлого столетия К. Иречек заметил только руины бывшего поселения. В городе Ихтиман один квартал и теперь называется «Штипонска махала»). Таким образом, девятую строку надо начинать с названия Шѣтипонѣ (у Мошина указано по восстановлению къ клисоурѣ=«в ущелье», что не указывает на место сражения). Конечно, Иван Владислав хорошо знал место, где Самуил и его отец разгромили византийские войска.

К сожалению, большая часть следующей десятой строки остается не восстановленной, так как здесь отсутствуют опорные пункты, на основании которых сделано предложенное выше восстановление испорченных строк. В этой строке было указано, какие трофеи и какую добычу взяли болгары от византийцев. Из хроник той эпохи хорошо известно, что добыча эта была велика: болгары взяли в плен даже личные императорские знаки и регалии Василия II, очень много золотых предметов (в конце девятой строки осталось только зл, вероятно от слова злато «золото» или под.). Остаток последнего поврежденного слова фоа. Фонема ф должна указывать на какое-либо греческое заимствование в болгарском языке. Может быть, здесь было слово рофеа «меч», возникшее в результате ассимиляции в слове рофоа, рофеа, встречающемся в сербском источнике XVI в. Далее следует съ же к и затем поврежденная часть. Мошин читает ее как в[ели] «великий, большой». Хр. Кодов полагает, что здесь можно прочесть В[аси]л[ия], имя византийского императора. Испорченное пространство здесь такого размера, что для пяти букв места мало, а для трех — слишком много. В конце этой строки читается ра, которое следует дополнить: ра[збѣенъ], а не ра[збѣтъ], как полагает Мошин, потому что в местном диалекте страдательные причастия до сих пор обыкновенно имеют формант *-н*, а не *-т*, ср.: *(в)зѐмен* «взятый», *пѝен*, *изпѝен* «вышитый» и т. д. Я восстанавливаю ра[збѣенъ бы], имея в виду казато бы в девятой строке. У Мошина стоит бысть и потом цр҃ѣмъ кир, которое, по-моему, излишне, так как

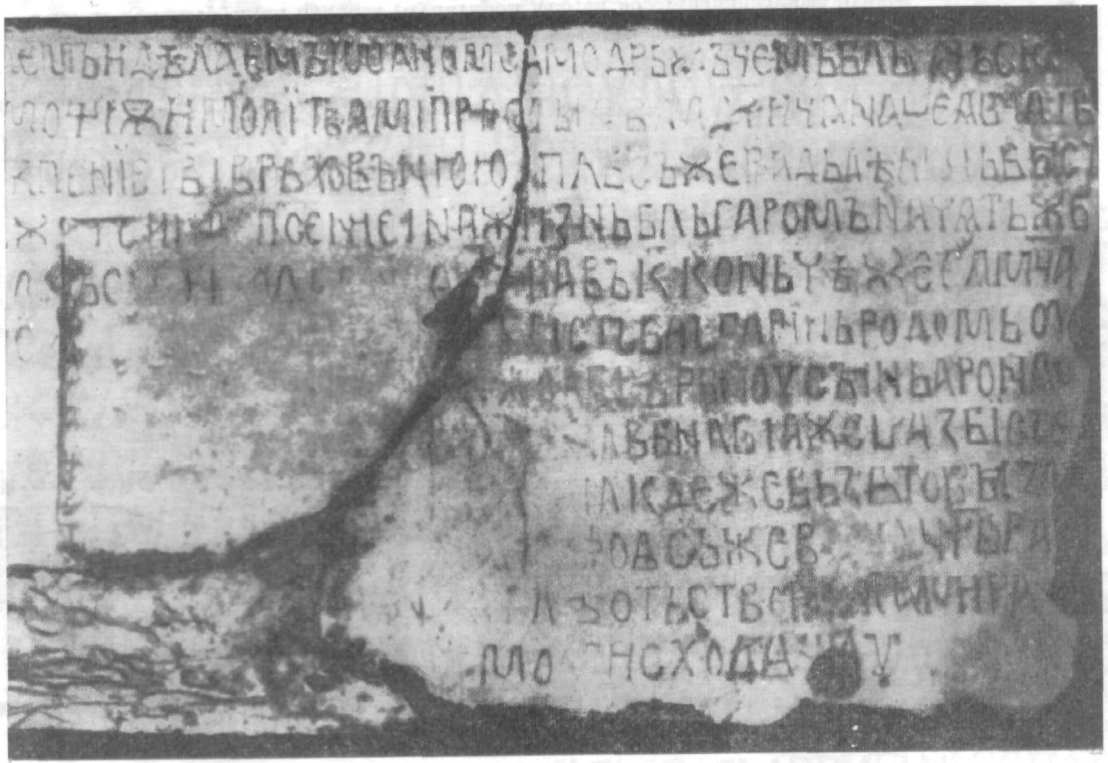


Рис. 1. Снимок надписи Ивана Владислава

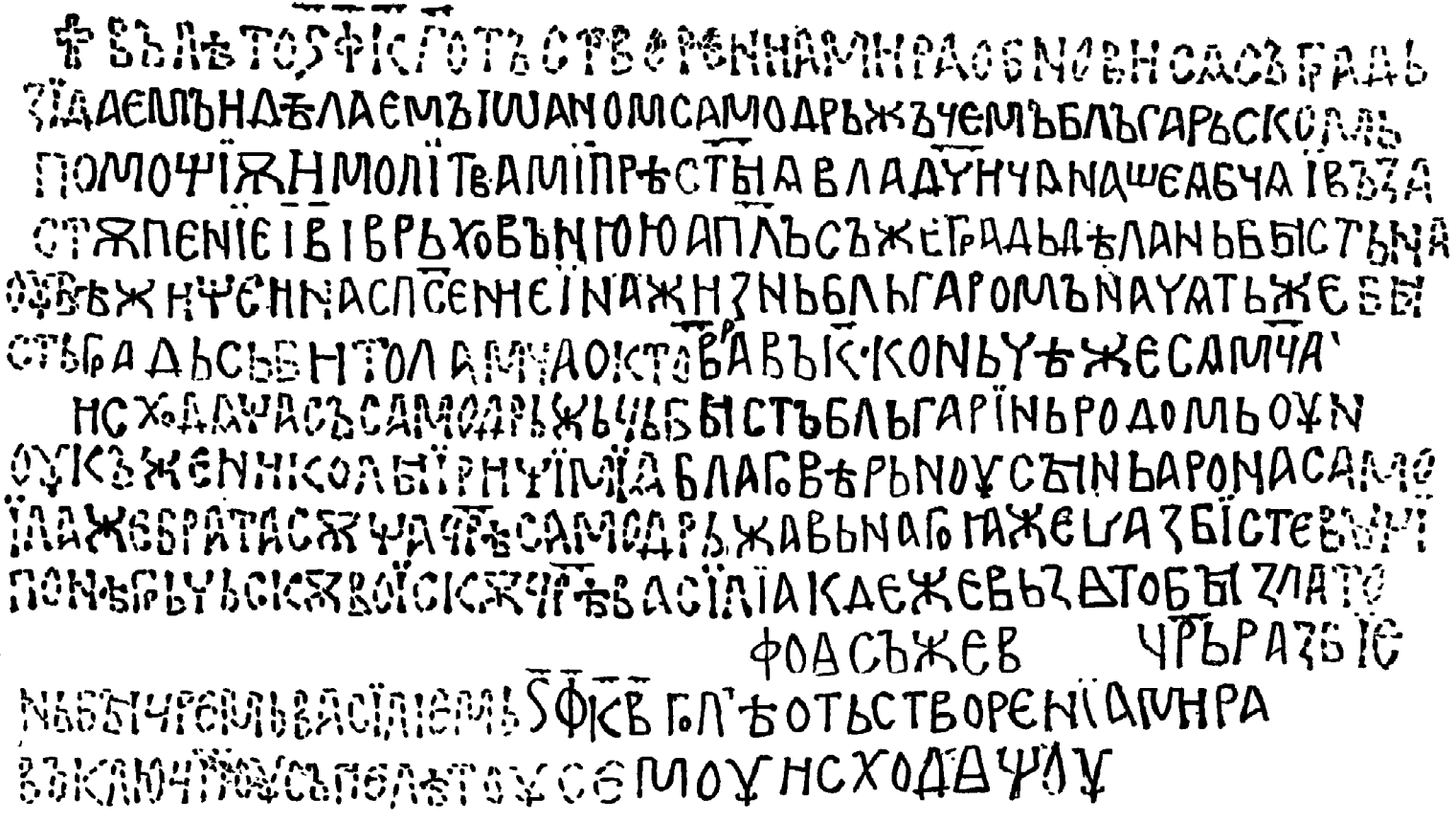


Рис. 2. Реконструкция надписи (пунктиром даются восстанавливаемые буквы)

эти слова синонимичны, и что важнее, для второго слова места нет. Далее следует обозначение года — ѕ҃ф҃кѣ, т. е. 6522 или 1014 г. н. э.— дата поражения болгарских войск Самуила в ущелье Ключ. На последней строке Мошин восстанавливает точную дату — мца июлїа къ к҃ѳ. Я полагаю, что здесь вероятнее указание на место сражения — къ Ключи. Надпись заканчивается конструкцией дательного самостоятельного [лѣтоу то]моу исходащоу «когда кончилось лето». У Мошина названная выше дата не совпадает со временем, когда кончается лето, что является недоразумением. Здесь, очевидно, имелся еще один глагол, действие которого совершилось, «когда кончилось лето». Я восстанавливаю здесь глагол оусъпе «|он|умер», относящийся к Самуилу, который умер 6 октября того же (1014) года. Сообщением о смерти царя или лица, о котором говорится в надписи, оканчивается много надписей — это обычный прием. По народному календарю лето длится со дня Святого Георгия (Гергьовден, 23 апреля) до дня Святого Димитрия (Димитровден, 26 октября). Итак, надпись сообщает, что Самуил потерпел поражение в ущелье Ключ в 1014 г. и умер в конце лета того же года. Здесь, конечно, слово лѣто имеет значение «летний сезон», а не «год». В этом значении оно встречается и в других древнеболгарских и старославянских памятниках.

Итак, на основании этих замечаний и соображений о восстановлении испорченного и поврежденного текста можно предложить следующее чтение текста надписи (дополнения даются строчными буквами): + къ лѣто ѕ҃ф҃кѓ отъ сътворениа мира обновї сѧ сѧ градъ

1 зидѧемъ и дѣлаемъ їѡанномъ самодрьжъцемъ блъгарьскомъ

2 помощїю и молитвами прѣстѣѩ владычица нашеѧ бц҃ѣ и къ за

3 стѫпенїе їѣ і врьховънюю а҃пл҃ъ. сѣ же градъ дѣланъ бысть на

4 оубѣжище и на спс҃ение и на жизнь блъгаромъ. начатъ же бы

5 ста градьѣа битола мц҃а октоврїа къ к҃. коньчѣ же сѧ мц҃а
6 ...иѯходаща. съ самодрѫжъца бысть блъгарїнъ родомъ оу҃н
7 оукъ николы и рифимиа благовѣрьноу҃, сы҃нъ прона самоѵ
8 Їна же врата сѫща цр҃ѣ самодрьжавьнаго иже і разбїете къ
9 цимонѣ грьчьскѫ воискѫ цр҃ѣ васїлїа кде же бѣзато бы злато
10 .....фоа. сѣ же к... цр҃ь рѧзви
11 енъ бы цр҃ема васїлїема ѕ҃ф҃кѣ го лѣта отъ сткорениа мира
12 къ ключї і оусъпе лѣтоу томоу҃ исходащоу҃

Перевод надписи:

в 6523 году от сотворения мира была возобновлена эта крепость,
1 построенная и сделанная Иоаном самодержцем болгарским
2 помощью и молитвами пресвятой владычицы нашей богородицы и для [получения]
3 покровительства двенадцати апостолов и [двух] верховных апостолов. Эта крепость была сооружена для
4 убежища, для спасения и для жизни болгар. Начата была
5 эта крепость Битола в 20-й [день] месяца октября. И кончилась в конце...
6 ... месяца. Этот самодержец был болгарин по происхождению,

7 внук Николы и Рипсимии благоверных, сын Арона, брата
8 Самуила царя самодержавного, которые [двое] разбили у
9 Штипона греческие войска царя Василия, где было взято золото...
10 ..... Этот же в..... царь был
11 разбит царем Василием в 6522 году от сотворения мира
12 в [ущелье] Ключ и умер в конце того же лета.

3. В палеографическом отношении следует отметить некоторые особенности надписи, которые не встречаются вообще или встречаются редко в других древнеболгарских надписях и рукописных памятниках. Прежде всего обращает на себя внимание относительная закругленность и удлиненность форм букв, свойственная, как известно, позднему этапу развития кириллического письма (для раннего этапа характерны были острые начертания). Во многих случаях эта закругленность (в зависимости от графических особенностей отдельных букв) выполнена по системе двойного квадратного очертания, которое столь отчетливо не представлено в известных до сих пор древнеболгарских надписях — Темнич (X в., при слиянии Южной и Западной Моравы), Мостич (конец X в., из Преслава в Восточной Мизии) и Самуил (от 993 г., из Южной Македонии). Согласно этой системе расширена верхняя часть у отдельных букв д, д, л и в известной мере у м, у и х. Нельзя не подчеркнуть, что эта особенность встречается лишь эпизодически в греческих надписях X и XI вв. и полностью отсутствует в греческих пергаментных памятниках молодого унциального письма. Ближе в этом отношении к надписи Ивана Владислава греческая надпись 904 г., определяющая границу между болгарами и греками на северо-западе от города Солуня. Там, однако, буквы длинные, верхняя горизонтальная черточка меньше и не выделяется столь отчетливо, как в нашей надписи. Не менее характерные параллели дают некоторые греческие надписи протоболгарских владетелей из Восточной Мизии IX—X вв. О связях между палеографическими особенностями надписи Ивана Владислава и кириллическими надписями из Восточной Мизии косвенно свидетельствует то обстоятельство, что в древнерусских надписях, сделанных в Киевской Руси начиная с XI в., некоторые особенности начертаний букв м, д отчасти з, к и некоторых других напоминают отмеченные особенности надписи Ивана Владислава [1]. Надписи Киевской Руси, как известно, написаны на древнеболгарском языке Преславской письменной школы конца X в. Об этом свидетельствуют и палеографические особенности — письменная школа Киевской Руси продолжает во многих отношениях традицию кириллической графики Восточной Болгарии. Надо подчеркнуть, что поздние древнеболгарские письменные памятники из северо-восточных и юго-западных областей показывают те же основные графические особенности, что и надпись Ивана Владислава; в известном смысле можно говорить о преемственности и единстве древнеболгарской эпиграфической и рукописной графической системы.

Такие чрезвычайно важные особенности надписи Ивана Владислава, как точная хронология и локализация, позволяют ей стать хронологическим и локализационным компасом в отношении известных и в особенности еще неизвестных древнеболгарских и вообще старославянских рукописей. Сходство ее графической системы с графикой таких памятников, как Супрасльская рукопись, Саввина книга, Хиландарские листки, листки Ундольского и др., которые в славистике относят обычно к XI в., дают право ревизовать эту хронологию и отнести их возникновение к предыдущему, десятому, веку, к которому следует причислить и древнеболгарские

[1] Ср.: С. О. Высоцький, Давньоруські написи Софії Київської XI—XIV ст., Київ, 1968, рис. 1, 2, 6 и др.

оригиналы таких русских памятников, как сборники князя Святослава 1073 и 1076 гг., которые продолжают древнеболгарскую письменную традицию северо-восточной Болгарии конца X в.

4. Лингвистический анализ надписи дает интересные результаты. Смешение употребления ъ, и ь является одной из наиболее характерных ее особенностей. Это смешение производится беспорядочно, независимо от этимологии и позиции еров, ср. самодрьжъцемъ вм. самодрьжьцемь, врьховънюю вм. врьховьнюю, съ «этот» вм. сь, градь (2 р.) вм. градъ, дѣлань мв. дѣланъ, блъгаромъ вм. блъгаромъ, сынь вм. сынъ, оть вм. отъ, блъгарїнь вм. блъгарїнъ и т. д. Надо подчеркнуть, что это смешение отличается от смешения еров, например, в Зографском евангелии, где имеются такие случаи, как дъва, но дьвѣ, вънъ, но вьнѣ; в надписи Ивана Владислава оно происходит независимо от звуковой значимости еров и возможности утраты слабых еров, ср. самодрьжъцемъ, блъгарьско[мь], врьховънюю, коньчѣ, благовѣрьноу, [самод]рьжавьнаго. Все эти примеры ясно показывают, что для большинства случаев незакономерного смешения следует говорить об известной орфографической практике. Это беспорядочное смешение никак не проявилось при более поздней правильной вокализации двух еров. Так, например, в болгарских говорах встречаются такие случаи, как *полно*, *дож/д/*, *бочва* и *темно* из древнеболгарского плъно, дъждь, бъчъва и тьмьно, хотя в исторических памятниках можно найти написания пльно, дъждь, бьчьва и тъмъно. Правильная поздняя вокализация показывает, что графика не была связана с подлинным звуковым обликом этих фонем. Смешение еров встречается и в надписи Самуила, Хиландарских листках (юго-западного происхождения), в Саввиной книге, Супрасльской рукописи (северо-восточного происхождения).

Йотация не характерна для надписи, ср. дѣлаемъ вм. дѣлаѥмъ, [заст]жпенїе вм. [заст]жпенїѥ, створенїа вм. створенїꙗ, [п]омощїж вм. помощїѭ и др. Отсутствие йотации встречается и в надписи Самуила — полагаж, в Мариинском кодексе — оумѣатъ, сѣатъ, вѣроуоуте в Супр. она непоследовательна: любимаа и нареченаꙗ, окаанааго и окаꙗньи, поѧ и поѩ. Это явление тоже характеризует памятники древнеболгарского языка, происходящие из Македонии и Восточной Мизии.

Форма коньчѣ показывает, что ѣ в начале XI в. произносилось как йотированное *а* ((=ꙗ)) или во всяком случае широкое открытое *е* (=*ě*). Этот факт является весьма показательным для истории этой фонемы в юго-западных болгарских говорах, где она сохранилась до XVI в., как об этом свидетельстуют примеры из окрестностей города Костура (на юге Македонии), ср., например, χλιαπο < *хлѣбъ*, βιατρο < *вѣдро*, βριατένο < *врѣтено*, ποβιάσμο < *повѣсмо*, так же и ряд географических названий: *Брасник* от *брѣстъ*, *Лясковик* от *лѣска* в Албании, *Сячища* в области Гребены (в Южной Македонии), Πρίλιαπος < *Прилѣпъ* (в Средней Македонии) и др.

Следует отметить отсутствие эпентетического *л'* в слове [заст]жпенїе ср. еще земѣ, на земи, избавениѥ в Драгановской минее XIII в. из Македонии. Изучение болгарских географических названий с суффиксами *-јане* и *-јь* свидетельствует о том, что после XVI—XVII вв. *л'* обнаруживает сильную тенденцию к исчезновению и оказывается нехарактерным для новоболгарского.

Наиболее интересное явление из области исторической морфологии — появление членной формы градьс[ь] с членом *-с-*, который теперь не встречается в юго-западных болгарских говорах, сохраняясь только в родопских. Другие зафиксированные примеры: пѧтось ⩽ пѧть ⩽ пѫть «дорога» XIV в. (Восточная Мизия), написа Іѡаннъ диакъ изборникъ съ великоумоу кнѧзю Ст҃ославоу 1073 г., въздоухъ сь (Иоанн Экзарх болгарский), ѡбличить мирось ѡ грѣсѣ; иже дасть намъ стоуденецось XIII в. (Добрейшово ев.)

= стоуденецьсь (Ассем. ев.), а также и географические названия: *Торо̀с* (деревня в Средней Мизии) от *тор* «навоз», с вокализацией, теперь неизвестной в говоре, как в первом примере (патось); *Вѣрлосо* (местность около города Годеч, к северо-западу от Софии) от диалектн. *върл* «крутой»; *Гърбъс* (деревня в Средней Албании); *Дало̀с* от *дол* с аканием, *Гедикес* от диалектн. *гедик* «щель, расщелина» (в Родопах), как и все случаи, которые встречаются в ранних канонических текстах, к сожалению, нелокализованных — Зогр., Мар., Ассем. и др.,— показывают единый большой ареал распространения этого явления в прошлом; в этот ареал включалась вся историческая и современная территория болгарского языка, что свидетельствует о том, что членная форма *-с-* в прошлом была характерной чертой всех болгарских диалектов. В этом отношении новый случай, который дает надпись Ивана Владислава, нельзя считать исключением. Этот случай является первым локализованным примером в истории болгарского языка.

6. Историческое значение надписи Ивана Владислава трудно переоценить. Она проливает новый свет на важнейшие события болгарской истории конца X — начала XI в. В надписи утверждается, что Арон принял участие вместе со своим братом Самуилом в сражении с византийцами около города Ихтиман в августе 986 г. Рукописные источники не давали ясного ответа на этот вопрос, что вызывало споры и порождало противоречивые мнения. До сих пор не было известно, что город Битоля был столицей первого болгарского царства после Охрида. Надпись утверждает, что крепость города Битоли была восстановлена болгарским самодержцем Иваном Владиславом, начиная с 20 октября (очевидно, 1015 г.). Как было отмечено выше, можно полагать, что в конце XIV в. турки с боем заняли город Битолю и отчасти разрушили старую крепость.

Одно из важнейших исторических свидетельств надписи относится к вопросу об этническом составе Македонии. Бросается в глаза, что автор надписи, самодержец Иван Владислав, три раза употребляет слова *болгарский*, *болгарин*. Это необычно и для архитектурного памятника, и для исторической эпиграфики. В первом случае — самодрьжъцемъ блъгарьско[мь] — нет ничего нерегулярного: эпитет самодержца составляет неразрывную часть титула владетеля. Во втором случае [на оуб]ѣжище, на спсение и на жизнь блъгаромъ «для убежища, для спасения и для жизни болгар» — объяснение следует искать в историческом положении болгарского государства, в то время, когда Иван Владислав занял престол, убив для осуществления своих замыслов законного наследника Гаврила Родомира, сына Самуила. Это не могло не встретить возмущения сторонников Самуила, опытного правителя и полководца, который вел самоотверженную борьбу с византийцами более тридцати лет. Чтобы приобрести доверие и поддержку своих подданных и приближенных покойного Самуила, новый самодержец должен был обещать, что он продолжит борьбу с византийцами до окончательной победы. Но этого, как видно, не было достаточно. Он должен был сказать еще, что он такого же происхождения бысть блъгарінь родомь), какого и само население. Он пишет, что он тоже болгарин, что его связывает с престолом успех его отца и Самуила в поражении византийцев 986 г. То, что Иван Владислав говорит о себе, совпадает с традицией протоболгарских владетелей, которым он подражает в этой части надписи. С другой стороны, его заявление, что он болгарин и что его подданные тоже болгары, имеет большое этногенетическое значение. Оно свидетельствует, что этнический дуализм протоболгар и славянского населения (др.-болг. словѣне) уже давно не существовал. Слова Ивана Владислава, что он «по происхождению болгарин», означают, что по крайней мере два или три предшествующих поколения были болгарами, т. е.

по происхождению принадлежали к славянскому населению восточной части Балканского полуострова, которое восприняло этническое название своих правителей (прото-)болгар («булгар»), принадлежащих к тюркской группе. Титул самодрьжацѣ, употребляемый в надписи, встречается здесь впервые в болгарских и вообще южнославянских источниках. Этот титул является калькой греческого αὐτοκράτωρ. Из Болгарии он нашел распространение в Сербии и Валахии, а затем в Киевской Руси. Впервые же здесь встречается эпитет [самод]рьжавьнъ, который в данном случае относится к царю Самуилу.

7. Надпись Ивана Владислава представляет собой один из наиболее интересных источников изучения истории древнеболгарского и всех славянских языков. В отличие от современных ей памятников, ее содержание не религиозное, не каноническое, отражающее литературную традицию в языке и орфографии, а светское. Этот оригинальный памятник исторического содержания был создан для нужд определенного исторического момента болгарской истории начала XI в. Ясные очертания всех сохранившихся букв дают надежный материал для сравнительного изучения старославянской палеографии. Язык надписи дает ценные данные для хронологии многих явлений истории древнеболгарского языка, которые до сих пор не были определены в этом отношении. Историческая диалектология приобретает важный источник для объяснения многих современных явлений болгарских говоров Южной Македонии.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 6 1969

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

РЕЦЕНЗИИ

K. H. Menges. The Turkic languages and peoples. An introduction to Turkic studies. — Wiesbaden, 1968. Стр. XIV+248 («Ural-Altaische Bibliothek», XV)

К. Г. Менгес — один из видных представителей современной алтаистики, хорошо известный своими работами и в области тюркологии. Большой лингвистический кругозор и глубокое знание как традиционных, так и новых методов исследования позволяют ему свободно оперировать огромным количеством языковых фактов и пользоваться разнообразными приемами их систематизации и объяснения. Работы К. Г. Менгеса обычно привлекают к себе внимание широкой аудитории и способствуют поддержанию атмосферы полезных, деловых дискуссий.

Подход К. Г. Менгеса к исследованию и описанию тюркской фонетики, морфологии и синтаксиса определяется его отношением к тюркским языкам как к одному из членов алтайской языковой семьи и учетом тех связей, которые, по его мнению, существуют между последней и другими языковыми семьями: уральской, дравидийской, японской (!), корейской (!) и индоевропейской.

Первый раздел книги (стр. 1—10) — краткий очерк истории изучения тюркских языков. Отмечая наличие в этом разделе интересных и полезных сведений, мы хотели бы вместе с тем выразить свое несогласие с некоторыми характеристиками и оценками. Очень преувеличена роль В. Банга в развитии тюркологии и принижено большое положительное значение научной деятельности В. В. Радлова. Сам факт критики В. Бангом трудов В. В. Радлова, отмечаемый К. Г. Менгесом, не может служить основанием для этого, тем более, что и работы В. Банга, в особенности его методы сравнительных и этимологических исследований, подверглись в свое время суровой критике П. М. Мелиоранского, который, к сожалению, даже не упомянут в очерке. Кстати, А. Н. Самойлович ученик не В. В. Радлова, как пишет К. Г. Менгес (стр. 9), а П. М. Мелиоранского.

В следующем разделе (стр. 11—58) излагаются данные о расселении тюркских народов и их миграциях. Привлекает внимание приведенная здесь сравнительно-эволюционная характеристика алтайских языков (стр. 57), подразделяемых на четыре группы: гуннскую (она продолжила себя в булгарском и чувашском), тюркскую, монгольскую и тунгусскую. Тюркская группа, по мнению К. Г. Менгеса, представляет новейший эволюционный тип, монгольская же несколько архаична, тогда как тунгусская, — самая архаичная и таким образом служит как бы «хронологической таблицей» относительного эволюционного возраста алтайского праязыка. Подобная характеристика, и вообще возможность распределения языков по ступеням эволюционного развития, вызывает сомнения. В силу неравномерности развития в каждом языке вместе с новыми явлениями оказываются старые, архаические, причем характер соотношения тех и других зависит от многих факторов и меняется от языка к языку.

Посвящая третий раздел книги вопросу классификации тюркских языков (стр. 59—66), К. Г. Менгес в начале его отмечает, что все предыдущие попытки классифицировать тюркские языки были неудачными. Классификация, предложенная самим автором, оригинальна и разработана с привлечением данных фонетики, морфологии и лексики, однако она громоздка: выделяются 12 групп языков. Не вполне ясны мотивы выделения, например, волго-булгарской группы, наряду с чувашской, при объединении в одну группу языка орхоно-енисейских надписей, языка восточнотуркестанских текстов X—XIII вв., современных узбекского, уйгурского и киргизского языков (стр. 60, 61).

Любопытны замечания К. Г. Менгеса по поводу использовавшихся тюркскими народами алфавитов (раздел IV, стр. 67—71), в частности, его высказывания о кириллице (стр. 70).

Пятый, основной, раздел содержит наброски сравнительной фонологии (стр. 73—107) и грамматики (стр. 107—163). Он начинается перечнем особенностей

морфологической и фонетической структуры тюркских языков, который является традиционным (агглютинативные, суффиксальные языки; как правило, фузия суффиксальных элементов со слогами основы или корня не наблюдается; синтетические; ударение, за малыми исключениями, падает на последний слог; сонанты *l*, *m*, *n*, *ŋ*, *r* и стечения согласных в начале слова необычны; бедность консонантизма; дифтонги — вторичного происхождения).

Реконструированная К. Г. Менгесом система пратюркского вокализма ничем не отличается от системы, первоначально установленной В. В. Радловым и состоящей из восьми гласных: *a*, *ï*, *o*, *u*, *ä*, *i*, *ö*. В ней отсутствуют соответствующие долгие гласные и это отсутствие объясняется тем, что «следы древней количественной оппозиции сохранились только в туркменском и якутском языках, с некоторыми спорадическими чертами в чувашском» (стр. 75). Мотивировка К. Г. Менгеса кажется, по меньшей мере, странной: тюрколог не может пренебречь фактом совпадения долгот в двух тюркских языках, отделенных друг от друга огромным пространством и не имеющих контактов в течение более чем тысячи лет, тем более, что следы общетюркской количественной оппозиции гласных обнаруживаются и в других тюркских языках, современных и древних. Сам К. Г. Менгес в одной из своих работ указывал на следы древней долготы в тофаларском (карагасском) языке и на соответствие тувинских «фарингализованных» гласных кратким, а «чистых» — долгим гласным туркменского и якутского языков [1]. Ему известна также связь между общетюркской долготой гласных и озвончением последующих смычных согласных перед гласными аффиксов в турецком языке и многие другие факты.

К. Г. Менгес повторяет ранее высказанное им суждение о так называемой первичной долготе гласных как компенсационном удлинении (Ersatzdehnung), происходившем в результате выпадения конечного слога, однако обходит молчанием вопрос о причинах выпадения. Остается неясным, был ли этот процесс сплошным или же избирательным. Если выпадение было сплошным, то почему во всех тюркских языках встречаются двухсложные слова, возводимые к двухсложным праформам, ср. *qara* «черный», если — избирательным, то чем предопределялась и регулировалась избирательность? Следовало бы также объяснить, каким образом в туркменском языке появилась долгота в первом слоге двухсложных слов при наличии двух слогов в реконструированных праформах, например: *dōlï* «град», *bālïq* «рыба», *γāja* «скала», *γānat* «крыло», *tāla-* «грабить», *tāna* «ноздря» и т. д.

Отрицая существование общетюркской долготы, несмотря на обилие фактов, ее подтверждающих, К. Г. Менгес в то же время постулирует количественное противопоставление гласных в протоалтайском языке (стр. 75).

Трудно возразить К. Г. Менгесу, когда он утверждает, что *e* не является общетюркской фонемой, но никак нельзя согласиться с ним, что в современных тюркских языках *e* «только вариант *ä* или *i*, часто выступающий рядом в одном и том же диалекте того же самого языка» (стр. 75). Как же быть с азербайджанским языком, в котором *e* и *ä* регулярно противопоставляются? Ср. *et* «делай/ *ät* «мясо», *el* «народ; страна»/ *äl* «рука», *sez* «угадывай, чувствуй», *käs* «режь» и т. д.

В общетюркском языке К. Г. Менгес восстанавливает «приблизительно» 20 согласных фонем (стр. 81): *q*, *k*, *g*, *t*, *d*, *p*, *b*, *γ*, *š*, *s*, *z*, *č*, *ǯ*, *ḫ*, *ń*, *n*, *m*, *l*, *l*, *r* (*ḫ*, *x*, *δ*, *f* даны в скобках как появившиеся сравнительно поздно; *v* — с вопросом) и две полугласные фонемы: *j*, *w* (*i̯*, *u̯*). Вслед за общетюркской предлагается таблица орхонского консонантизма, с разграничением велярных (веляризованных) и палатальных (палатализованных) согласных. Заметим, что парность графической передачи согласных в рунических надписях, на которую при этом ссылается К. Менгес, весьма непоследовательна, и едва ли ошибался В. Томсен, когда воспринимал ее как способ обозначения тембра соседних гласных и утверждал, что «собственный звук согласного был несомненно в большинстве случаев совершенно одинаков» [2].

Констатируя факт отсутствия в древнетюркском языке и в большинстве современных тюркских языков звонких согласных, собственно слабых (mediae, resp. lenes) в начальной позиции, К. Г. Менгес не исключает, что в прототюркском могло быть иное положение, скажем, подобное тому, какое мы имеем в языках юго-западной группы и в тувинском языке (стр. 84). Что касается несоответствий в этом плане в юго-западных (огузских) языках, ср. турецк. *gümüš*, туркм. *kümüš* «серебро»; турецк., туркм. *tut-* «хватать, держать», то некоторые из них он объясняет предположительно ассимиляцией начальных звонких (слабых) согласных конечным глухим (сильным) (стр. 86). В этой же связи совпадение начального *d* в языках юго-западной группы и тувинском языке расценивается как примечательное явление, свидетельствующее об архаичности *d*.

[1] K. H. Menges, Die Türkischen Sprachen Süd-Sibiriens, III: Tuba (Sojon und Karaγas), 1, «Central Asiatic journal», IV, 2, Wiesbaden, 1959, стр. 121—124.

[2] См.: V. Thomsen, Inscriptions de l'Orkhon déchiffrées..., MSFOu, V, 1896, стр. 17.

Выводы, сделанные К. Г. Менгесом в отношении общетюркского консонантизма, недостаточно убедительны. Количество слов с совпадающим начальным *d* в тувинском и юго-западных языках несколько превышает три десятка (примерно из 100), случаи же совпадения слов с начальным *t* единичны. Подобное соотношение является скорее следствием того, что в названных языках параллельно реализовалась общетюркская тенденция ослабления начального *t* (и вообще любых согласных в анлауте). Звонкий (слабый) дентальный был конечным результатом процесса, тогда как соответствующий глухой (сильный) представлял исходную ступень. И если развитие первого происходило согласно общей закономерности, то сохранение второго обусловливалось действием частных, локальных факторов. Следовательно, совпадение слов с начальным *d* в тувинском и юго-западных языках должно рассматриваться как закономерное явление, совпадение же слов с начальным *t* — как случайность.

Непреодолимые трудности создает реконструкция алтайского архетипа тюркского анлаутного *j* (~ якут. *s* ~ чуваш. *s'* ~ тув. *č*) в виде **d*. Если принять во внимание упомянутый выше **d*, рефлексами которого в тюркских языках были глухой (сильный) и звонкий (слабый) дентальные, окажется, что в алтайском праязыке в совершенно одинаковых фонетических условиях выступали два **d* или, иными словами, алтайский **d* имел две фонетически не мотивированные группы рефлексов. Замечание, что не всякий алтайский **d* перешел в тюркском праязыке в **j* (стр. 87), данную проблему, конечно, не снимает. Естественно возникает вопрос, достаточно ли обоснованны предлагаемые реконструкции?

Реконструируемый К. Г. Менгесом в тюркском анлауте **j* (< алт. **d*) имел следующие отражения: 1) в северо-западной группе — *ǯ*, дальнейшим развитием которого явился балкарский *z*; 2) в северных диалектах алтайского языка — *t'*; 3) в ряде сибирских языков — *č*, дальнейшее развитие которого — якутский *s*; 4) в чувашском языке — *s'* (стр. 92). Трудно представить себе, чтобы *j* мог столь разнообразно отразиться в начале слова, в то время как в конечной позиции он сохранился без каких-либо изменений, ср. туркм. *ōj* «дума, мысль», *bāj* «богатый»; якут. *ij* «луна», *aj-* «творить». Примечательно, что чувашский *s'* и якутский *s* являются также рефлексами **č*. Практически мы не располагаем никакими фактами, которые бы позволяли говорить о допустимости в тюркском праязыке начальных сонантов вообще. Отчасти это признает и сам К. Г. Менгес (см. выше). Итак, распределение согласных фонем в тюркских языках таково, что представляется более правильным рассматривать *j* как самое отдаленное от праформы отражение, и естественно поэтому, что последовательно *j* представлен главным образом в огузских языках, в которых сильные согласные в анлауте подверглись ослаблению раньше, чем в других тюркских языках.

Много места в «Сравнительной фонологии» отведено проблеме ротацизма, ламбдаизма. Будучи убежденным в том, что одних алтайских материалов недостаточно для решения этой проблемы, К. Г. Менгес привлекает индоевропейские и дравидийские параллели. Последние, как он полагает, свидетельствуют в пользу первичности алтайских *r* (> тюрк. **z*) и *l* (> тюрк.**š*), ср. 1) фин. *kārma* «кора сосны», ... ульч. *hora-kta*, *hura-kta*, ср.-тюрк. *qaz*, *qas* <**qāz*, ..., слав. *korá* «кора»; 2) фин. *külmä* «холод», эвенк. *kelde*, эвен. *hēlta*, ... монг. *kül-dä-*, *köl-dä-* «замерзать», ср.-тюрк. *köšü-* «дрожать, цепенеть», лат. *gelu* «мороз, стужа», *gelid-us* «холодный», дравид. *kuḷir* «быть прохладным; прохлада; прохладный» (стр. 96).

Мы затрудняемся сказать что-нибудь определенное относительно степени обоснованности воспроизведенных выше сопоставлений, но напомним, что в индоевропейских языках были обнаружены и другие, более убедительные, параллели, которые опровергают тезис о первичности алтайских *r* и *l*, например, 1) др.-тюрк. *öküz* «бык», монг.-письм. *üxer*, санскр-*ukṣā́*, авест. *uγša* [3], тохар. В *okso* [4]; 2) др.-тюрк. *ešāk*, *ešqāk* «осел», монг.- письм. *elǯigen*, маньчж. *ejxen* <**elǯigen*, арм. *ēš*, лат. *asinus* [5]. Последнюю параллель упоминает и К. Г. Менгес, но чтобы избежать объяснения соответствия *š* ~ *l* переходом *š* в *l*, предлагает считать *l* следствием звуковой субституции, вызванной недопустимостью *š* в данном фонетическом положении (стр. 98). В порядке возражения автору можно указать, что в подобных случаях в монгольском письменном языке появляется *s*, а не *l*. Исходя из аналогичных соображений, т. е. избегая возможности интерпретации соответствия *z* ~ *r* на тюркской почве, К. Г. Менгес вслед за В. Бангом отрицает непосредственную связь глагольной формы на *-sïra* с прилагательным на *-sïz*, ср. *qayansïra-* «лишаться кагана», *qayansïz* «без кагана, лишенный кагана» и видит в *qayansïra-* глагольное образование на *-ra* от глагольной же основы *qayansï-* (стр. 96, 161). В тюркских языках действительно встречаются глаголы на *-sï* ~ *-sï*, ср.

[3] См.: B. Munkácsi, Beiträge zu den alten arischen Lehnwörtern im Türkischen, KSz, VI, 2—3, 1905, стр. 378.

[4] См.: G. Clauson, Turkish and Mongolian studies, London, 1962, стр. 234.

[5] См.: O. Schrader, Reallexikon der indogermanischen Altertumskunde, Strassburg, 1901, стр. 206.

каракалп. *ïḫïrsï-* «тихо стонать», уйг. *adamsi-* «делать подобно человеку», кирг. *köbürsü-* «принимать вид пены», др.-тюрк. *qulsïγ* «похожий на раба» (*-sïγ* < *-sï* + *-γ*), но передаваемые ими значения не имеют ничего общего с привативностью.

Несколько неожиданным является признание К. Г. Менгесом (стр. 97) вторичности ротацизма в чувашском *ura* «нога» (< **aδaq*): ведь для *ura* из **aδaq* весьма вероятно наличие промежуточной формы в виде **azaq*.

Заключительная часть «Сравнительной фонологии» — описание различных фонетических особенностей и изменений, соотношения глухих и звонких согласных (стр. 100—107). Это описание далеко не полное: отсутствует разбор редуцированных гласных, протетических согласных, просодических явлений.

В «Морфологии» излагаются, в основном, общеизвестные сведения о морфологической структуре слова, о склонении имен и местоимений, о формах числа, принадлежности и т. д. Оригинальны некоторые этимологические заключения и алтайские параллели. Так, К. Г. Менгес видит в аффиксе [6] дательного падежа *-qa* ~ ~ *-kä* сочетание аффикса древнего местного или направительного падежа *-q* ~ ~ *-k* и аффикса дательного падежа *-a* ~ ~ *-ä*, характерного для юго-западных языков [7]; в аффиксе исходного падежа *-tïn* ~ *-dïn* — сочетание древнего аффикса местного падежа *-t* и древнего урало-алтайского аффикса латива *-n* (стр. 110); в аффиксе множественного числа *-lar* ~ ~ *-lär* — сочетание аффикса множественного числа *-l*, «одного из наиболее употребительных в тунгусо-маньчжурских языках» и «общеалтайского аффикса собирательности - (*a*)*r*» (стр. 111). У К. Г. Менгеса нет алтайских морфологических реконструкций, нет, следовательно, и проекций соответствующих праформ в разные группы языков, поэтому было бы преждевременным делать какие-либо замечания. Все же небесполезно указать, что сравнение морфологических показателей без специальных историко-лингвистических исследований редко дает безусловно достоверные результаты, так как в большинстве своем аффиксы состоят из одного, двух или трех звуков. Если же учесть еще, что в агглютинативных языках аффиксы обычно однозначны и количество их в каждой языковой группе доходит до 300—400 (включая омертвевшие), нетрудно будет признать, что вероятность случайных совпадений велика. Даже в таких языках, как татарский и русский, турецкий и русский, имеются десятки случайно сходных или совпадающих в материальном и семантическом отношении морфологических элементов [8].

Существование в тюркских языках «намека» на согласование определения с определяемым (стр. 107) является, по всей видимости, призрачным. Во фразе *bunda kilgänlär kik köp köp* «приходивших сюда оленей [было] много-много», взятой из уйгурского варианта легенды об Огузе, нет согласования. Оформление же суффиксом *-lär* определения, а не определяемого, очевидно, находится в одном ряду с другими особенностями языка легенды (последний в известной степени монголизирован).

Выделение К. Г. Менгесом аффиксов множественного числа, собирательности и парности *-ан* ~ *ăн*, *-t*, *-qun* ~ *-kün* производится, как и в работах других тюркологов и алтаистов, без надлежащей аргументации. Не всякий редкий случай употребления аффиксального элемента может возводиться в степень реликта. Встречаются, например, в текстах «Шейбани-наме» и «Бабур-наме» такие формы, как *qalmaqan* «калмыки», *begät* «беки», *ajmaqat* «аймаки», *bölükät* «округи», *bayat* «сады», и все же ни одна из них не квалифицируется как отражение общетюркского архетипа.

Ошибочно ли, как утверждает К. Г. Менгес, широко распространенное мнение о том, что аффикс принадлежности 3-го лица *-sï* ~ *si* является вариантом аффикса *-ï* ~ *-i*, присоединяемым к основам на гласный? В тюркских языках недопустимо стечение гласных и поэтому иной возможности употребления аффикса *-ï* ~ ~ *-i*, чем в комбинации с дополнительным согласным, нет. Мы не можем согласиться с тем, что «зияние» устраняется только посредством *j* и изредка *g*, *v* (стр. 114). В качестве «вставочных» согласных используются также *š* и *r*, ср. татар. *ikišär* (*ikt-š-är*) «по два»; ст.- узб. *ikkirär* (*ikkt-r-är*) «по два», *altirar* (*altï-r-ar*) «по шести»; уйг. *kinorim* (*kino-r-im*) «мое кино», *toxorum* (*toxo-r-um*) «моя курица», *dunjari* (*dunja-r-i*) «его мир» [9].

К. Г. Менгес разделяет традиционную точку зрения относительно именного происхождения тюркского глагола (стр. 125 и сл.) и в развитие ее вносит уточнения в характеристику глагольных имен, которые делит на две группы. Глагольные имена первой группы — при-

[6] К. Г. Менгес пользуется термином «суффикс».

[7] Ср.: Б. А. Серебренников, К вопросу о происхождении элемента *k* (*g*, *q*, *γ*) в окончании дательно-направительного падежа в тюркских языках, «Краткие сообщения Института народов Азии», 83, М., 1964.

[8] См.: А. М. Щербак, Содержание урало-алтайской гипотезы, ее обоснование и оценка, «Изв. АН Азерб. ССР». Серия литературы, языка и искусства, 1, 1968, стр. 67.

[9] См.: Л. А. Аганина, Уйгурские диалекты Казахской ССР (Чиликский район). Автореф. канд. диссерт., М., 1954, стр. 10.

частия, функционирующие в конце предложения в качестве предиката; глагольные имена второй группы — деепричастия (gerundia или converbia), выступающие в адвербиальной позиции, т. е. перед глаголом, а также в конце соподчиненного предложения (resp. деепричастного оборота). Очень подробны и основательны сведения о семантике глагольных имен.

Особо выделены в «Морфологии» композитные глагольные образования (стр. 145) двух типов: 1) глагольное имя + + глагол «быть» (выражение «вторичных времен») и 2) глагольное имя в функции герундия + вспомогательные глаголы *tur-*, *ber-*, *qal-* и т. д. (выражение различных модальностей).

Заключительная часть «Морфологии» — очерки словообразования имен и глаголов (стр. 157—163).

В разделе, посвященном описанию лексического состава тюркских языков, названы основные направления культурных влияний и приведены примеры индоевропейских, арабских, китайских, монгольских и других заимствований (стр. 165—179). Хотя возможность заимствований из монгольских языков в древнетюркский язык в период до монгольского нашествия не исключается, практически результаты тюрко-монгольского взаимодействия сводятся К. Г. Менгесом лишь к заимствованиям позднего периода (стр. 174).

К числу структурных изменений, разбор которых составляет содержание седьмого раздела (стр. 181—186), отнесены: полное или частичное разрушение гармонии гласных, появление подчинительных союзов (*kim* ~ *ki*, *qalti*) и сложноподчиненного предложения.

В конце работы приложены большой библиографический список (стр. 187—218), два указателя: предметно-именной (стр. 219—234) и лексемно-морфемный (стр. 234—248), а также пять карт-схем (I — схема распределения алтайских языков в историческом аспекте, II — схема, фиксирующая положение тюркского праязыка в отношении алтайского, уральского и других праязыков, III — схема алтайских миграций, IV, V — схематические изображения алтайской прародины).

Признавая большие научные достоинства рецензируемой книги, ее несомненную полезность и нисколько не умаляя заслуги автора в тюркологии, мы хотели бы вместе с тем выразить сожаление по поводу того, что К. Г. Менгес смог здесь рассмотреть тюркские языки только сквозь призму алтайской гипотезы. Осмелимся заметить, что многое в этой призме приобрело неестественные, необычные черты, утратило истинный облик или вовсе исчезло. В связи с этим небесполезно напомнить об одном ценном замечании и пожелании П. М. Мелиоранского, которое, будучи высказанным в самом начале нынешнего столетия, до сих пор сохраняет свою злободневность и остроту. Давая общую оценку состоянию урало-алтаистики, П. М. Мелиоранский указывал, что «лингвистически слабыми или совсем несостоятельными» в ней являются: «... сравнение суффиксов без учета их исторического развития, отождествление слов и корней, которые или не обнаруживают звукового сходства, могущего быть констатированным научно, или сходство которых так велико, что они должны скорее рассматриваться как поздние заимствования. При нынешнем состоянии вопроса тюркологи, монголисты, финнологи и др. должны обрабатывать главным образом их собственные поля (ihre eigenen Felder bebauen); лишь когда мы будем в состоянии установить пратюркские, прамонгольские и т. д. корни и суффиксы, может быть речь о научном сравнении хотя бы части этих отдельных „ветвей" урало-алтайского» [10].

А. М. Щербак

[10] P. Melioranskij, [рец. на кн.:] V. Grønbech, Forstudier til tyrkisk Lydhistorie, «Göttingische gelehrte Anzeigen», 6, 1904, стр. 492.

Е. А. Крейнович. Глагол кетского языка. — Л., Изд-во «Наука», 1968. 234 стр.

В результате тщательного изучения и сопоставления кетского языка [1] и других языков Сибири и Дальнего Востока было установлено, что в лингвистическом отношении кеты [2] стоят изолированно и что кетский язык является последним представителем отдельной, так называемой енисейской семьи языков, в состав которой входили ныне исчезнувшие кот-

[1] «Без преувеличения можно сказать, что кеты являются одним из наиболее загадочных народов земного шара, изучение которого может пролить свет на целый ряд ключевых вопросов, связанных с судьбой народов и языков Сибири, Алтая и Центральной Азии» («Кетский сборник. Лингвистика», М., 1968, стр. 5).

[2] Численность кетов по последним статистическим данным достигает 1017 чел. (Е. А. Алексеенко, Кеты, Л., 1967, стр. 3).

тский, аринский, ассанский и пумпокольский языки.

Специфическая природа этого языка, особенно его изолированное положение среди окружающих языков, привлекала внимание таких лингвистов, как Дж. Бирн, Г. Рамстедт, К. Доннер, Э. Леви, А. Тромбетти, К. Боуда, О. Тайёр и др.

В свете определения генетического прошлого кетского языка не раз выдвигалась гипотеза о связях кетского языка с китайско-тибетским и с языком бурушаски, кавказскими и баскскими языками; при этом подчеркивалось, что «некоторые из предлагающихся сопоставлений названных языков с енисейскими едва ли можно объяснить только типологически» [3].

Недостаточная изученность кетского языка как в целом, так и в отдельных его частях, естественно, не давала прочных оснований для проведения более или менее достоверных сравнений. За последнее время изучение кетского языка значительно продвинулось вперед, что безусловно позволяет лингвистам шире привлекать данные этого языка и для типологических сопоставлений.

Объектом рецензируемого исследования Е. А. Крейновича, автора многих важных работ по кетскому языку, является глагол — один из наиболее сложных и недостаточно разработанных разделов грамматики кетского языка. В основу труда автор положил одни лишь материальные признаки, четко выделяя в структуре глагола корневые и аффиксальные морфемы, детерминативы и интерфиксы — соединительные и разграничительные элементы. Детерминативы выделяются им условно как «загадочный» в кетском глаголе вид морфем, подлежащий дальнейшему исследованию. Изучив расположение корневых и аффиксальных морфем, автор на основании последовательности их сочетания выделяет в глаголе кетского языка четыре словообразовательных типа (с выделением внутри них подтипов и вариантов). Детальный анализ этих типов позволяет ему наметить историю развития глаголов кетского языка. Наиболее древним считается префиксальный тип глаголов с основой в конце слова, более поздним — составные глаголы, развивающиеся на базе префиксальных глаголов с основой в конце слова. В свою очередь от глаголов со сложной прерывной основой, по идее автора, развились два типа глаголов с простыми прерывными основами. Полная грамматизация служебного глагола, со временем ставшего конечной корневой морфемой сложного глагола, способствовала образованию типа глаголов с деривационной морфемой в конце слова; грамматизация же первой корневой морфемы сложного глагола породила тип глагола с деривационной морфемой в начале слова. Таким образом, устанавливается историческая преемственность типов глагольных слов.

Благодаря тщательно продуманной классификации автору удалось глагол такой исключительно сложной морфологической структуры, как кетский, представить прозрачным и стройным.

Насколько точны толкования собственно кетского материала, это, конечно, объект суждения специалистов по кетскому языку, но без преувеличения, на наш взгляд, можно сказать, что подход автора к анализу морфологической структуры глагола и принципы его классификации глагольных морфем с успехом могут быть использованы и при исследовании аналогичного материала других языков, особенно языков полисинтетического типа, характеризующихся максимальной насыщенностью слово- и формообразующих элементов.

Работа Е. А. Крейновича является первым крупным исследованием морфологической структуры глагола кетского языка [4], и знакомство с этим трудом выявляет целый ряд весьма любопытных и заслуживающих пристального внимания типологических сближений со структурой глагола иберийско-кавказских языков. Не имея возможности в рецензии подробно осветить все более или менее очевидные параллели (безусловно, все они заслуживают внимания и должны явиться предметом специального изучения), отметим лишь некоторые из них, наиболее характерные и ощутимые, не имея пока при этом в виду установление генетических связей между кетским и иберийско-кавказскими языками [5]. Эти параллели весьма интересны с точки зрения сравнительно-типологического исследования неродственных языков [6] и

[3] «Кетский сборник», стр. 6.

[4] Примерно в это же время вышла в свет весьма значительная по охвату материала кетского языка в целом монография А. П. Дульзона «Кетский язык» (Томск, 1968), в конце которой рассматривается вопрос о связях енисейских языков и с кавказскими, проводится ряд интересных сопоставлений и при этом внимание акцентируется на структурных и функциональных сближениях морфем словоизменительного назначения (указ. соч., стр. 584—608).

[5] В связи с этим отметим, что произведенные О. Тэйёром многочисленные сближения лексико-грамматического характера между кетским, баскским и кавказскими языками (O. G. Tailleur, Un îlot basco-caucasien en Sibérie: Les langues iénisséinnes, «Orbis», 1958, 2, VII) представляются недостаточно аргументированными. См. об этом также: А. П. Дульзон, Кетский язык, стр. 584—587.

[6] Интерес к таким сопоставлениям возрастает тем более, что, как известно, срав-

представляют значительный интерес для лингвистической типологии. Следует сразу же оговорить, что в структурно-типологическом плане глагол кетского языка с точки зрения своего морфемного строения особенно наглядно может быть сближен с глаголом северо-западных (абхазско-адыгских) языков Кавказа. В этих языках полисинтетическо-агглютинативный тип структуры слова представлен в основном глаголом, составляющим основное ядро всех морфологических и синтаксических особенностей данных языков. Морфология абхазско-адыгского глагола исключительно сложна, в то время как морфология имени характеризуется значительной бедностью формальных элементов. В состав глагола одновременно включаются аффиксы лица (субъекта, прямого объекта, косвенного объекта), грамматического класса, числа, отрицания, времени, наклонения, многочисленные основообразующие элементы — аффиксы каузатива, версии, возможности, союзности, взаимности, совместности, возвратности, местные и направительные превербы, а также обстоятельственные и модальные частицы и т. д. В результате образуется многоморфемный глагольный комплекс, функционально эквивалентный целому предложению, например: адыгейск. *уакъыдэсэгъэкIожьы* — буквально: «тебя (*у*) с ними (*а*) сюды (*къы*) вместе (*дэ*) я (*сэ*) заставляю (*гъэ*) идти (*кIо*) обратно (*жьы*)» [7].

Глагол кетского языка, как это показано в монографии Е. А. Крейновича, также имеет очень сложное морфологическое строение [8]: он имеет категории лица, класса, числа, времени, наклонения (выраженных словоизменительными средствами), непереходности — переходности и способов действия (выражающихся словообразовательными элементами) (стр. 9).

Весьма показательной особенностью кетского глагола, позволяющей провести сравнение со структурой глагола иберийско-кавказских языков, является префиксация: категория лица, в отличие от категории времени, выражена в кетском глаголе в основном префиксами. «Личные показатели,— отмечает Е. А. Крейнович,— выступают в глаголах только в роли префиксов и инфиксов, но не в роли суффиксов» (стр. 23). Например: *ба-т-а-б-д-ақ*, «я-вытащу -это»; *д-а-в-а* «я-это-точу»; *ди-в-ран* «я-мну-это»; *ди-в-ғыт* «я-скоблю-это» и т. д. [9]. Как известно, принцип префиксации в области словоизменения и словообразования является ведущей и определяющей чертой для объектно-субъектного строя глагола иберийско-кавказских языков. При этом в историческом плане, «префиксальные образования в иберийско-кавказских языках древнее суффиксальных» [10]. Типологически нельзя не сопоставить этого факта с выводом Е. А. Крейновича, что кетский глагол имел первоначально префиксальную структуру (стр. 280), что служит важным дополнительным обстоятельством для типологического сближения с иберийско-кавказскими языками. С точки зрения полиперсонального типа глагола иберийско-кавказских, особенно абхазско-адыгских языков, следует обратить внимание также на то, что глаголы кетского языка могут заключать в себе один, два, а в ряде случаев и три ряда личных показателей (правда, при несколько ином принципе аранжировки субъектно-объектных показателей — см. стр. 15—26). Од-

---

нительно-типологическое языкознание появилось как изучение разноструктурных языков, генетически между собою не связанных; см. об этом: В. Н. Ярцева, О задачах сопоставительно-типологического изучения родственных языков, «Вопросы общего языкознания», М., 1964, стр. 54, Арн. Чикобава, Сравнительная типология и внутренняя реконструкция, ИАН, Серия литературы и языка, 1969, 1, стр. 3—4.

[7] См. об этом: Г. В. Рогава, З. И. Керашева, Грамматика адыгейского языка, Краснодар — Майкоп, 1966, стр. 95; М. А. Кумахов, Адыгейский язык, «Языки народов СССР», IV, М., 1967, стр. 153; А. К. Шагиров, Кабардинский язык, там же, стр. 172—173.

[8] В противоположность глаголу, строение кетского имени относительно просто, при образовании именной парадигмы более или менее явно выражен принцип агглютинации. В отличие от глагола, который оформлен и префиксами, и суффиксами, и инфиксами, кетское имя оформляется почти исключительно суффиксами (как словообразовательными, так и словоизменительными), исключение составляют лишь префиксальные показатели посессивного склонения («Кетский сборник», стр. 9—10). В общем типологическом плане эта особенность кетского имени дает повод для сближения его со структурой имени абхазско-адыгских языков, тем более, что в других группах иберийско-кавказских языков (в картвельских, нахских, дагестанских) система имени, в отличие от глагола, характеризуется значительной сложностью.

[9] См. об. этом также: Е. А. Крейнович, О морфологической структуре глагольных слов в кетском языке, «Морфологическая структура слова в языках различных типов», М., 1963; А. П. Дульзон, Аффиксация как метод передачи грамматических значений, Томск, 1962.

[10] См: Арн. Чикобава, Категория грамматических классов и некоторые вопросы спряжения глаголов в грузинском языке», «Иберийско-кавказское языкознание», V, Тбилиси. 1953, стр. 63.

нако несмотря на многоморфемность кетского глагола, его составные элементы, особенно субъектно-объектные, как и в абхазско-адыгском глаголе, располагаются в строго определенном порядке, что при слабом развитии именной парадигмы несет определенную функциональную нагрузку; например, абхазск. *Сара бара бы-с-гоит* «Я тебя (женщину)-веду», но: *Бара сара сы-б-гоит* «Ты (женщина)-меня-ведешь».

Специфично образование и повелительного наклонения кетского языка, где «в некоторых случаях словоформы повелительного наклонения по своему строению полностью совпадают со словоформами прошедшего завершенного времени изъявительного наклонения, например:

Настояще-будущее время

хасто „рублю-(это)"
боксит „разожгу-огонь"

Прошедшее завершенное время

хандо „рубил-(это)"
боγна „разжег-огонь"

Повелительное наклонение

хандо „руби-это"
боγна „разожги-огонь".

К тому же «очень большое количество словоформ повелительного наклонения образуется именно при помощи» показателей прошедшего времени *-л-* ~ *-л'-*, *-н-* ~ *-н'-* (стр. 15, 14). В связи с этим нельзя не заметить тот факт, что в ряде иберийско-кавказских языков (в грузинском, абхазском, в кабардинском, адыгейском и др.) для выражения повелительного наклонения (положительной формы) используется прошедшее основное время (или основа аориста) [11].

При характеристике категории лица особое внимание в работе уделяется 3-му лицу, которое, как отмечает автор, «наложило печать своеобразия на морфологическую структуру кетского языка и в особенности на глагол. 3-е л. единств. числа разделяется на три класса — мужской, женский и класс вещей. Классные показатели включаются в глагол в порядке согласования последнего с именами существительными соответствующих классов. Примечательно, что имена не имеют классных показателей, но зато их имеет глагол, словно он оторвал их от имен и включил в свою структуру» (стр. 27). Итак, именно в 3-м лице ед. числа в кетском отражено различие в выражении именных классов [12], в отношении же остальных лиц и чисел эти различия не проводятся. Здесь нужно заметить, что существующие в кетском семантические и морфологические основания, которые дают повод Е. А. Крейновичу объединять имена в грамматические классы, во многом отличаются от тех оснований (дифференциальных признаков), которые существуют в ибе-

[11] См. об этом, например: А. Шанидзе, Грамматика грузинского языка, I, Тбилиси, 1955, стр. 122; А. С. Чикобава, Грузинский язык, «Языки народов СССР», IV, стр. 49; К. В. Ломтатидзе, Бессубъектные формы абхазского переходного глагола, «Иберийско-кавказское языковедение», II, Тбилиси, 1948, стр. 13; Г. В. Рогава, З. И. Керашева, указ. соч., стр. 174; «Грамматика кабардино-черкесского литературного языка», М., 1957, стр. 124.

[12] В результате изучения грамматического рода Е. А. Крейнович первым пришел к выводу, что в кетском языке имеются три именных класса: класс мужской, класс женский и класс вещей, которые получили в глаголе наиболее сложное морфологическое выражение. «Поскольку по своему грамматическому выражению род в кетском значительно отличается от этого явления в индоевропейских и типологически сближается с именными классами в некоторых языках Кавказа — аварском, бацбийском, дидойских др. (к примеру, здесь можно обратить внимание на материальную близость некоторых классных показателей, а также на аналогию в образовании форм местного падежа, в которых содержится указание на класс существительного, обозначающего предмет, о местонахождении которого идет речь), мы вместо термина „род" употребляем термин „класс"» (Е. А. Крейнович, Именные классы и грамматические средства их выражения в кетском языке, ВЯ, 1961, 2, стр. 106, примеч. 8; см.: его же, О грамматическом выражении именных классов в глаголе кетского языка, «Кетский сборник», стр. 39—195). С точки зрения типологического (и в определенной мере материального) совпадения с кавказскими языками любопытно, что едиными показателями в группе префиксов Б выражаются класс женский и класс вещей («Глагол...,» стр. 28): ср. лакск. *бура*; авар. *буго* «он, она, оно [категория вещей] есть» и абхаз. *бы-к̄оуп* «ты (женщ.) есть». См. об. этом: Арн. Чикобава, К генезису второго грамматического класса в горских кавказских языках, «Сообщения АН Груз. СССР», III, 4, 1942 (на груз. яз.; резюме на русск. яз.). В свете данных иберийско-кавказских языков представляется не лишенным основания предположение автора и о том, что первоначально в кетском языке было всего два рода (мужской и немужской), в основе которых лежало противопоставление не столько по половому признаку, сколько по признаку социальной значимости (активности) и величины (см. рец. кн., стр. 28).

рийско-кавказских языках. Ср.: груз. *vin* «кто» (только по отношению к человеку) *ra* «что» (животные, вещи и т. д., но не человек), тогда как в кетском противопоставление в одних случаях может реализоваться как противопоставление живого и неживого, в других случаях как противопоставление целого и части, а в иных случаях как противопоставление предметов большого и малого размера. В кетском, например, «крупный обруч, при помощи которого скрепляются жерди чума, относится к мужскому классу (*кус'ман'хал'дæjит* „обруч для чума согну"), а маленький обруч для лыжной палки относится к классу вещей (*тал'ман'хал'вит* „кольцо для лыжной палки согну") и т. д. Таким образом, не само слово *ман'* „обруч", а размер, связываемый с ним, заставляет относить данный предмет то к мужскому классу, то к классу вещей» (стр. 28). Тем не менее о б щ и й семантический принцип распределения имен по грамматическим классам и здесь сближает кетский язык с иберийско-кавказскими языками.

Глаголы кетского языка, которым категория лица свойственна, отмечается в монографии, имеют разные грамматические средства ее выражения. Здесь прежде всего подчеркивается, что по характеру формантов 1-го и 3-го лица ед. числа показатели могут быть разделены на две группы: группу Д и группу Б (стр. 22)[13].

Вместе с приводимой на стр. 23 четкой и подробной таблицей, показывающей морфологическую структуру этих показателей, дается и функциональная их характеристика, которая, однако, как это отмечает автор, весьма неодинакова для разных типов глаголов. Так, например, грамматическая функция показателей группы Д определяется следующим образом: «первый ряд префиксов — *д/∂* — выступает только в роли показателей субъекта действия в глаголах всех типов, а второй ряд префиксов — *ди/∂у* — выступает в этой же функции главным образом в типе глаголов с основой в конце слова. Первый ряд инфиксов — *р/а* — выступает в роли показателей субъекта и объекта действия, а второй ряд — *р/ø* — в роли показателей субъекта действия непереходных глаголов и объекта действия непереходно-возвратных глаголов» (стр. 22—23). С другой стороны, функция лично-классных показателей группы Б дает другую картину: «первый и второй ряды префиксов и инфиксов — *ба/бу* и *бо/бу* — выступают только в роли показателей субъекта действия, а третий и четвертый ряды префиксов и инфиксов — *ба/а* и *бо/о* — в роли показателей субъекта и объекта действия» (стр. 23)[14]. Такое структурное и функциональное разграничение лично-классных показателей очень показательно с точки зрения сближения с иберийско-кавказскими языками[15]. В этом отношении кетский язык сближается в первую очередь с абхазско-адыгскими языками, в частности, с абхазским языком (с его смешанным классно-личным типом спряжения глагола), где также выделены два — морфологически и синтаксически различных — ряда префиксальных морфем, названных условно рядами Л и Д [16]. Разграничение двоякого рода аффиксов в абхазском языке имеет место лишь применительно к 3-му лицу (и ед. и мн. ч.)[17]; различием функционального назначения этих аффиксов, а также порядком расположения их в глагольной форме определяется синтаксическая роль имен, связанных с глаголом и не имеющих парадигматического ряда. В абхазском для ряда Д в 3-м лице характерны вариации лишь

[13] Как указывается в примечании к разделу «Категория лица» (стр. 22, примеч. 23) К. Боуда по имевшимся в его распоряжении весьма неполным материалам разделил личные показатели в кетском языке на класс Д и класс Б, не подразделяя их на ряды (K. B o u d a, Die Sprache der Jenissejer. Genealogische und morphologische Untersuchungen, «Anthropos», 52, 1—2, 1957, стр. 98). Е. А. Крейнович в составе личных показателей 3-го лица ед. числа выделил показатели трех классов — мужского, женского и класса вещей, употребляя при этом во избежание смешения терминов наименования: группа Д, группа Б (стр. 22).

[14] Нам кажется, что здесь же, при характеристике синтаксических функций этих показателей уместно было бы сразу показать их распределение не только в изолированных глагольных формах, но и в предложениях. Правда, в книге во всех разделах отдельно соответствующие словоформы приводятся, но суммирующее сведение материала было бы более наглядным и принесло бы еще бо́льшую пользу.

[15] В этой связи не представляется убедительным полное отрицание в работе А.П. Дульзона «Кетский язык» (стр. 588—589) наличия личных показателей группы Б в кетском языке. Существование этих показателей здесь, по нашему мнению, является непреложным фактом, установленным впервые К. Боуда, а в дальнейшем подтвержденным и дополненным Е. А. Крейновичем. Такое отрицание тем более досадно, что, продолжая начатые им сопоставления кетского с иберийско-кавказскими языками, А. П. Дульзон не оценивает в должной мере, что наличие двух рядов личных показателей в кетском глаголе является одним из наиболее интересных фактов для структурно-типологического сопоставления кетского с иберийско-кавказскими языками.

[16] К. В. Л о м т а т и д з е, Относительное местоимение в глагольных формах абхазского языка, «Сообщения АН Груз. ССР», III, 4, стр. 389.

[17] Там же, стр. 389—391.

классных показателей; *д-* «он, она» (класс человека) [18], *и-//й-* «он, она, оно» (класс вещей); другой же ряд Л дает вариации не только по классам, но и по родам — в пределах грамматического класса человека, ср.: «он» (мужчина), *л-* «она» (женщина), *и-//й-// и-//на-* «он, она, оно» (класс вещей). Аффиксы ряда Д занимают здесь в глаголе всегда первое место и используются для обозначения субъекта непереходных глаголов [*д-гулоит* «он, она (человек — встает»] и прямого объекта переходных глаголов [*бы-б-гоит* «ты-женщина его /ее (человека) ведешь»], тогда как префиксы ряда Л используются для обозначения субъекта переходных глаголов [*и-л-боит* «то-она (женщина)-видит»] и косвенного объекта переходных и непереходных глаголов. Факт совпадения субъектных и объектных показателей имеет место и в кетском языке, как показано Е. А. Крейновичем (стр. 22—23), что дает основания провести типологическую параллель между кетским и абхазским языками по линии морфологического выражения эргативной конструкции [19].

Е. А. Крейнович полагает, что «исторически личные показатели группы Б, по-видимому, предшествовали появлению личных показателей группы Д. Это предположение вызывается тем обстоятельством, что перед непереходными глаголами, начинающимися с личных показателей группы Б, в потоке речи могут появляться еще личные показатели ряда *д/д*, словно первых показателей недостаточно для выражения значения субъекта действия, например: *дуп'тœ р батабдаӷ* „перемет (рыболовную снасть) я вытащу", *дуптан дбатавиj* „переметы я вытаскиваю". В этих примерах (число их может быть увеличено) показатель субъекта действия выражен личным показателем *ба-* „я" (*ба-т-а-б-д-аӷ* „я-вытащу-это", *ба-т-а-в-иj* „я вытаскиваю этих") но, несмотря на это, в потоке речи перед ним может появляться еще личный показатель субъекта действия ряда *д/д*. Это могло возникнуть только вследствие того, что генетически показатели группы Б указывали не на субъект действия, а на принадлежность действия лицу: *батабдаӷ* „мое-вытаскивание-этого", (а не „я-вытащу-это"), подобно тому, как префикс 1-го л. ед. ч. именной категории притяжательности указывает на принадлежность вещи лицу: *бам*, также *абам*, „моя мать" (*ам* „мать") и т. д. Впоследствии же, когда в языке развились показатели субъекта действия ряда *д/д*, они, естественно, стали появляться перед глаголами, образованными при помощи показателей группы *Б*. Однако в современном языке последние осознаются только как показатели субъекта и объекта действия» (стр. 24). Сама по себе попытка автора проследить историческую последовательность этих префиксов и инфиксов очень ценна, однако предположение о генезисе или о первичности одной группы аффиксов в отношении другой в условиях отсутствия письменных свидетельств и, кроме того, в условиях отсутствия данных других родственных языков представляется, на наш взгляд, недостаточно обоснованной.

Здесь приведены лишь некоторые типологические сближения между кетским и рядом иберийско-кавказских языков. Количество их, без труда можно было бы увеличить, как убеждает знакомство с работой Е. А. Крейновича о системе кетского глагола. Так, например, с этой точки зрения можно было бы рассмотреть вопрос о фонологической структуре глагольных основ, о зависимости позиции субъектно-объектных показателей от характера основы, вопрос о детерминативах, особенности образования пассива (в связи с наличием лабильных, переходно-непереходных глаголов в иберийско-кавказских языках обращает на себя внимание перестройка глагола и изменение его семантики при опущении субъектного аффикса), структура возвратных глаголов и многое другое. Рассмотрение этих вопросов должно явиться объектом специального исследования.

В заключение хотелось бы отметить, что каковы бы ни были разногласия среди кетологов в отношении осмысления и квалификации самого материала, каждая новая работа, результат индивидуальных или коллективных усилий авторов, означает новый шаг как в изучении самого кетского языка, так и в области сравнительно-типологического изучения разноструктурных языков, не связанных между собой генетически. На этом фоне кетско-кавказскую проблему, вероятно, можно поставить наряду с баскско-кавказской.

И. О. Гецадзе

---

[18] Интересно отметить материальное и семантическое совпадение этого показателя в абхазском и кетском языках: *д* «он», *да-* «она», См. Е. А. Крейнович, Именные классы..., стр. 107.

[19] См.: Б. А. Успенский, Замечания по типологии кетского языка, «Вопросы структуры языка», М., 1964, стр. 145; его же. О системе кетского глагола, «Кетский сборник», стр. 197.

T. Jakubaite, D. Kristovska, V. Ozola, R. Prūse, N. Sika. **Latviešu Valodas Biežuma Vārdnīca.** I sēj. Tehnica un rūpniecība. 1 Daļa — Rīgā, 1968; 2 Daļa — Rīgā, 1968;

T. Jakubaite, D. Guļevska, V. Ozola, R. Prūse, A. Rubina, N. Sika. **Latviešu Valodas Biežuma Vārdnīca.** II sēj. Laikraksti un žurnāli. 1 Daļa — Rīgā, 1969

Рецензируемые монографии представляют собой часть большого труда по статистическому описанию латышского языка. По замыслу авторов, этот труд будет включать в себя несколько частотных списков, отражающих лексику и грамматику основных функциональных стилей: научно-технической литературы, разговорной речи и художественной литературы. При этом ставится цель выявить ядро наиболее употребительной лексики, общей для всех стилей.

Предполагается, что частотный список языка науки и техники (первый из основных функциональных стилей) будет состоять из трех томов: I том — технические науки и промышленность; II том — общественно-политические науки и журналистика; III том — естественные науки. Каждый том будет включать две части: первая будет представлять собой частотный словарь, а во второй будет отражена статистика грамматических категорий. К настоящему времени из печати вышли обе части первого тома и ч. 1 второго тома.

Подсчеты данных т. I осуществлялись по выборкам неравной длины из девяти категорий текстов: энергетика; электротехника; радиоэлектроника; машиностроение; металлургия; строительство и архитектура; химическая промышленность и обработка полезных ископаемых; лесная и деревообрабатывающая промышленность; легкая и пищевая промышленность. Подсчеты данных т. II были сделаны по материалам газет и журналов, причем было отобрано ровно по 60 выборок из пяти основных тематических подъязыков: литература и искусство; внешняя и внутренняя политика, наука, техника, сельское хозяйство [1] и промышленность; просвещение и морально-этические проблемы; спорт и статьи на различные темы, не поддающиеся классификации. Общий объем обследованных выборок для тт. I и II составил соответственно 292 тыс. и 300 тыс. словоупотреблений.

Оставляя пока в стороне обсуждение частотных словарей тт. I и II, остановимся сразу на ч. 2 первого тома. Эта книга содержит уникальное статистическое описание грамматики латышского языка на морфологическом уровне. Книга дает исчерпывающие сведения о распространенности и удельном весе различных частей речи в текстах, а также об относительной частоте встречаемости грамматических категорий по каждой части речи в отдельности (для существительных — это склонение, число, падеж; для глаголов — наклонение, залог, время и т. д.)

Весьма ценным представляется то, что приводимые данные отражают всю взятую выборку [2]. Фактический материал удачно дополняется целым рядом наблюдений и обобщений; авторы привлекают для сравнения данные по другим языкам. В ряде случаев такие сравнения позволяют сделать весьма интересные выводы. Однако иногда эти выводы слишком поспешны. Так, привлекая для сравнения материалы русского, английского и чешского языков, авторы делают вывод об отчетливо выраженном именном характере латышских технических текстов: относительная частота существительных в них в 1,5 раза превосходит соответствующую частоту в указанных трех языках. Проводя это сравнение, авторы по существу оставили без внимания тот факт, что сравниваемые данные получены на основе текстов, функционально совершенно различных. Так, сведения по русскому языку были получены из словаря Штейнфельдт, выборка которого включает в себя только тексты из художественной литературы. Не исключено, что в русских технических текстах доля существительных значительно выше.

Из других наблюдений отметим следующее: к 1 и 4-му склонению относятся 76% всех существительных текста, а к 3 и 6-му вместе взятым — немногим более 1%; аналогично для глаголов — в изъявительном наклонении стоят около 90% всех глаголов текста, а в пересказочном и повелительном вместе взятым — всего 0,03%. Данные такого рода особенно ценны для исследователей, занятых сейчас проблемой «грамматического минимума».

В целом представляется, что книга может оказаться полезной самому широкому кругу лингвистов, филологов и преподавателей, независимо от того, каким именно языком они занимаются. В этой связи следует признать весьма удачным

[1] С сожалением приходится отметить, что лексика, относящаяся к сельскому хозяйству, будет отражена в большом словаре лишь постольку, поскольку она будет представлена в публицистических заметках на сельскохозяйственную тематику.

[2] Напомним, что аналогичные данные в частотном словаре русского языка Штейнфельдт охватывают только группу наиболее частых слов и в этом смысле являются значительно менее убедительными.

то, что все основные таблицы и выводы в книге повторяются в приложении на русском языке.

Частотные словари первого и второго томов композиционно сходны: они содержат частотный список слов (с расположением слов по убыванию частот), алфавитный список слов и предисловие (с переводом на русский язык). В т. II [3], кроме того, включены обратный частотный словарь [4] и материалы, относящиеся к сопоставлению данных тт. I и II.

Частотный список (ЧСп) т. I содержит около 7000 и т. II — около 8000 слов с частотой не менее 3. Слова с частотой 1 и 2 в ЧСп не представлены. В т. I все слова в ЧСп перенумерованы, что облегчает работу со словарем: можно, например, сразу выделить группы из 100 или, скажем, 1000 наиболее употребительных слов и т. п. В т. II такой нумерации нет. В алфавитном списке (АСп) приводятся все 13 319 разных слов, встретившихся в выборках т. I и, соответственно, 16 103 слова т. II. У каждого слова в АСп указана его частота встречаемости в выборке. Кроме того, в т. I указана частота встречаемости слова в каждой из девяти категорий обследованных текстов, а в т. II — число выборок, в которых это слово встречалось хотя бы 1 раз (напомним, что всего таких выборок было 300).

Каждый том следует рассматривать с двух точек зрения. С одной стороны, он имеет самостоятельное значение, отражая распределение частот слов в определенном подъязыке. Его данные могут быть непосредственно использованы, например, в машинном переводе, автоматическом поиске и т. п. Однако при пользовании словарем следует иметь в виду, что частоты большинства слов в нем вычислены с такой относительной ошибкой, что абсолютная их величина является статистически недостоверной. Например, если считать максимально допустимой ошибку в 33% (т. е. $\pm$ 1/3 от вычисленной величины), то в ЧСп достоверными частотами будут обладать лишь первые 1000—1300 слов (с частотой 40 и более). Частота слова с рангом 3000 вычислена уже с ошибкой порядка 63%. Это означает, что значение частоты этого слова (по словарю оно составляет 11) на самом деле лежит в доверительном интервале 4—18, т. е. может соответствовать как слову с рангом 2300, так и слову с рангом 5300. Можно сказать, что ЧСп как бы состоит из частотного словаря (объемом порядка 1,3 тыс. слов), по которому можно более или менее верно судить о распределении слов по частоте, и из словника (остальные 4—6 тыс. слов), по которому можно судить лишь о том, какие именно слова встречаются в данном подъязыке. Быть может, было бы целесообразнее не сопровождать каждое слово этой группы указанием на частоту его встречаемости, поскольку единственное, что можно достоверно сказать про эти частоты — это то, что все они, в общем, менее 40. Слова этой группы можно было бы разбить на несколько частотных разрядов (например, разряд слов с частотой 15—25, разряд слов с частотой менее 10 и т. д.). Учитывая относительную ошибку, частоты слов внутри разрядов тогда будут считаться равными.

С другой стороны, рецензируемые словари, как мы говорили, являются частью большого частотного словаря. При объединении частотных списков разных подъязыков в один словарь суммарная выборка окажется достаточно большой, и область слов, частоты которых подсчитаны с ошибкой не более 33%, значительно расширится. С этой точки зрения, разумеется, полезно знать частоты всех слов, встретившихся в исследованных выборках. Естественно, что эти частоты должны быть указаны в АСп, однако следовало бы как-то выделить слова, частоты которых достоверны (например, шрифтом). Здесь же в АСп, видимо, разумно указывать и частоту встречаемости слов в разных категориях текстов.

Очевидно, что список ЧСп будет чаще всего использоваться в качестве самостоятельного частотного словаря, а АСп в первую очередь послужит для сравнения и возможного объединения с другими словарями [5].

В предисловиях к обоим томам, помимо описания словарей, изложения методики их составления и т. п., содержится обширный материал, полученный на основе анализа данных словаря. К сожалению, в некоторых случаях авторы в своем анализе не идут дальше составления соответствующих таблиц. Однако некоторые наблюдения заслуживают внимания.

Можно было бы предположить, что среди наиболее частых слов списков ЧСп окажется немало таких, которые имеют узкую сферу употребления: например, они будут очень частыми в 1—2 категориях и практически не встретятся в остальных 7—8 категориях текстов, обследованных для т. I. Однако, даже исключив из рассмотрения предлоги, союзы, местоимения и т. п. (они составляют примерно 30% всех словоупотреблений и заведомо являются общими для всех подъязыков), мы получим, что из 100 первых по частоте слов в ЧСп т. I 98 упот-

[3] Для краткости мы будем говорить «т. I» и «т. II» вместо «т. I, ч. 1», «т. II, ч. 1».

[4] Мы полагаем, что обратный словарь является весьма ценным приложением к основному материалу. Т. I, к сожалению, лишен такого приложения.

[5] Среди работ по методике объединения словарей хотелось бы отметить статью: I. K e i l, Einheitliche Methoden in der Lexikometrie, IRAL, III/2, 1965.

ребляются во всех 9 подъязыках, а 967 из первой тысячи встречались во всех или почти во всех подъязыках. Еще большее «единодушие» оказалось в типах текстов, обследованных для т. II. Здесь соответствующие цифры — 100 и 988. Таким образом, вырисовывается определенная группа наиболее частых слов, которые используются практически во всех обследованных типах текстов. Это позволяет надеяться, что авторы смогут в конечном итоге выявить некоторое ядро слов, общих для языка разных стилей.

Приводя таблицу, отражающую степень заполнения (покрытия) текста разными группами самых частых слов, авторы сравнивают его с покрытием текста частыми словами в чешском и немецком языках. Мы позволим себе привлечь для сравнения данные еще нескольких языков [6] (см. табл. 1).

согласуется с традиционным представлением об английском языке как более аналитическом, чем русский.

Однако сопоставление данных латышского языка как с данными русского, так и с данными английского языков в том виде, как это сделано в табл. 2, невозможно. В самом деле, судя по численным данным таблицы, выборки для русского и английского языков составляли порядка 30—40 тыс. слов; выборка же для латышского языка — 300 тыс. слов. Совсем не очевидно, что при таком увеличении объема выборки соотношение числа различных слов и различных словоформ будет оставаться неизменным. Это диктуется, прежде всего, закономерностями появления редких слов при увеличении выборки. Результат исследований [7] показывает, что при переходе к выборкам большего объема практически все появ-

Таблица 1

Кол-во слов с начала списка	% покрытия текста							
	языки							
	латыш.	чеш.	араб.	русск. Шт.	русск. Пушкин	нем.	исп.	франц.
10	14	18	20	17	22	25	34	26
50	26	33	30	36	38	40	50	51
100	34	41	37	44	45	47	56	59
1000	70	62	70	67	70	70	81	85
2000	80	72	—	75—80	80	76	—	92

Как видно из табл. 1, темп покрытия текста у испанского и французского языков значительно выше, чем у остальных языков. Подобное сопоставление может оказаться полезным для языковой типологии.

Наблюдение, сделанное авторами относительно меры аналитичности языков (т. I), представляется нам ошибочным. В качестве количественной меры сравнения языков с точки зрения их аналитичности авторы рассматривают «коэффициент аналитичности», который определяется ими как отношение числа различных слов к числу различных словоформ в некоторой выборке. В табл. 2 приводится пример подсчета этого коэффициента для трех языков.

Сравнение английского и русского языков вполне закономерно, и результаты его выглядят убедительно: на примерно одинаковое число разных слов в обоих языках в русском приходится в 1,5 раза больше разных словоформ. Это хорошо ляющиеся заново слова — редкие. Естественно полагать, что если при увеличении выборки, скажем, с 30 тыс. слов до 300 тыс. слов число разных слов увеличится с 5000 до 13 тыс., то большинство из этих новых слов составят редкие слова, которые встретятся по 1—2 раза. Тогда не зависимо от того, является ли язык скорее аналитическим или скорее синтетическим, возрастает число слов, имеющих 1—2 разных словоформы, что неизбежно, приведет к увеличению «коэффициента аналитичности». Показательно, что в т. II авторы уже не возвращаются к этой проблеме.

Большой интерес представляет сопоставление статистических структур технических и публицистических текстов. Известно, что богатство языка пропорционально доле редких слов. Анализируя с этой точки зрения данные тт. I и II, авторы показывают, что язык публицистический значительно богаче, разнообразнее языка технической литературы [8]. Отмечается также, что в газет-

[6] Данные почерпнуты нами в основном из книги Р. М. Фрумкиной «Статистические методы изучения лексики», М., 1964. Для русского языка использованы данные словаря Штейнфельдт (Шт.) и словаря языка Пушкина.

[7] См.: Р. М. Фрумкина, указ. соч., гл. II.

[8] Далее, сравнивая между собой 5 подъязыков публицистики, авторы делают заключение о том, что наиболее раз-

Таблица 2

Языки	Всего различн. слов	Всего различн. словоформ	Коэфф. аналитичности
Английский	5 197	8 300	0,63
Русский	5 225	14 177	0,37
Латышский	13 319	45 211	0,30

но-журнальных текстах используется примерно в 10 раз больше собственных имен, чем в технических текстах. Неоднообразная лексика характерна для текстов по искусству, а наиболее однообразным языком отличаются тексты по внешней и внутренней политике. Хотя интуитивно это и представляется естественным, приводимые авторами статистические данные недостаточно убедительны для столь категоричных заключений.

Несмотря на указанные различия, удалось выделить группу частых слов, общих как для языка публицистики, так и и для языка техники. Выделенная группа включает 424 слова (63 из них служебные). Есть все основания полагать, что полученное общее ядро газетно-журнальной и технической лексики относится к тому лексическому фонду литературного языка, поиск которого составляет основную задачу проводимых исследований.

А. П. Василевич

НОВЫЕ ИЗДАНИЯ

До сих пор единственным журналом в Белоруссии, регулярно публикующим лингвистические статьи, были «Весці Акадэміі наук БССР. Серыя грамадскіх навук» (с периодичностью филологической серии четыре раза в год). В этом году появилось новое интересное издание «Веснік Беларускага дзяржаўнага універсітэта імя У. І. Леніна. Серыя IV. Філалогія. Журналістыка». Периодичность — три номера в год (помимо серии «Філалогія. Журналістыка», есть еще три серии, две из которых посвящены точным наукам, а третья — истории, философии, экономике и праву). Почти половина содержания каждого номера отведена лингвистике. Так, в первых двух номерах помещены общеобзорные статьи Л. М. Шакуна «50 лет белорусского советского языкознания», А. Е. Супруна «Общественное значение языкознания», статьи, касающиеся проблем становления и стилистики белорусского литературного языка: В. П. Красней — об особенностях языка белорусской дооктябрьской литературной критики и М. В. Обабурко — об употреблении лексических диалектизмов в произведениях белорусских писателей (типа *сядзіба — дворышча — падворышча — сядас — селішча — хацішча, кукла — вузел — кукса* и др.). Из славистических статей следует отметить исследование Б. Ю. Нормана об объектных отношениях болгарского глагола и работу М. А. Муталимовой о деепричастиях в языке перевода евангелия Василия Тяпинского (XVI в.) и в старославянских памятниках. В сравнительном плане выполнено также сообщение Л. Т. Карповичэ о сочетании наречий с качественными прилагательными в белорусском и английском языке. В «Весніке» помещаются и статьи по русистике: В. К. Олешкевич о фразеологических синонимах в современном русском языке и М. П. Дубограева о соотносительных существительных и глаголах в древнерусском языке. Большое значение имеет раздел, печатающий материалы для белорусского этимологического словаря. В этих материалах (авторы М. Г. Булахов, Р. В. Кравчук, А. Е. Супрун) всегда присутствует широкий славистический фон, новый диалектный материал, внимание к словообразовательному и семантическому аспекту (анализ слов *алеманскій* у П. Берынды, белорусск. *гмыз, гомза, абумерлы, агіда, асурны, вялягурысты, акрыяць, кніжніца*). Ценны публикации архивных материалов, в частности сообщение Я. И. Порецкого о неопубликованной рукописи Симона Будного, хранящейся в Цюрихе. Эта рукопись — авторский перевод на латинский язык трактата Будного «Книжица о происхожденіи святаго духа...», сделанный 14 апреля 1563 г. Характерно, что Будный называет себя в ней «Роксоланом или Русским» (Roxolano, на полях: vel Russo), а славянский язык именует — lingua Illyrica.

Содержателен раздел критики и биб-

лиографии, где даны рецензии на книги В. И. Борковского и коллектива авторов по сравнительно-историческому синтаксису восточнославянских языков (рец. А. И. Янович), на книгу В. Цырана «Наречие в польском языке» (рец. П. П. Шуба) на работу Л. Романюка «К истории польско-белорусских лексических взаимосвязей».

Таково основное содержание лингвистических материалов, помещенных в первых двух номерах журнала. «Веснік» дает информацию о научной жизни, о защитах диссертаций по языкознанию, о конференциях, научных докладах и т. п. Статьи печатаются на белорусском и русском языках. Главный редактор серии журнала докт. филол. наук, проф. М. Г. Булахов.

Н. И. Толстой

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

ПО ПОВОДУ НЕКОТОРЫХ ЗАМЕЧАНИЙ РЕЦЕНЗЕНТА

В рецензии на подготовленный мною, А. С. Орешниковым и И. С. Филипповой сборник текстов «Московская деловая и бытовая письменность XVII века» (ВЯ, 1969, 3) Г. А. Хабургаев попутно касается и осуществленных мною с Н. П. Панкратовой и Н. И. Тарабасовой публикаций частной переписки «Источники по истории русского народно-разговорного языка XVII — начала XVIII века» и «Памятники русского народно-разговорного языка XVII столетия». «... из трех названных сборников скорописных текстов XVII в.,— категорически заявляет рецензент,— одобрения историка русского языка заслуживает лишь последний — „Московская деловая и бытовая письменность XVII века“». Заявление это покоится на странном убеждении, что издание документов данной эпохи, лишенных формальной локализации, нецелесообразно. А так как представляющие исключительную ценность материалы частной переписки формально не всегда локализованы, то, выходит, издавать их и не надо. Поскольку подобная квалификация данного вида памятников неправильно ориентирует исследователей, «подкрепляя» довольно распространенную и, можно сказать, традиционную недооценку историками языка поздних памятников русской письменности, считаю необходимым выразить свое решительное несогласие с такой односторонней, узкодиалектологической характеристикой исторической частной переписки. Если я писал, что в отдельных случаях диалектная отнесенность грамоток «недостаточно ясна», то Г. А. Хабургаев утверждает: «... диалектная принадлежность авторов, а точнее — писцов „грамоток“, как правило, остается неизвестной» и отсюда делает необоснованный вывод, что для конкретных исследований по истории русского языка материалы частной переписки вообще непригодны. Известно, однако, что историк языка далеко не всегда руководствуется только формальным указанием на отнесенность того или иного текста к определенной диалектной территории; в его распоряжении имеются современные диалектные свидетельства, которые во многих случаях позволяют соотносить указанные грамотки с определенной диалектной зоной. К тому же «конкретные исследования» не ограничиваются лишь диалектологическими. Публикации материалов частной переписки вошли в широкий научный оборот. Тем огорчительнее читать в содержательной рецензии дезориентирующую исследователей характеристику их лингвистических качеств.

С. И. Котков

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 6 1969

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

ХРОНИКАЛЬНЫЕ ЗАМЕТКИ

17—18 апреля 1969 г. в Институте русского языка АН СССР (Москва) состоялось обсуждение изданной в 1968 г. четырехтомной монографии «Русский язык и советское общество. Социолого-лингвистическое исследование» под ред. М. В. Панова.

Основная мысль монографии, сказал во вступительном слове М. В. Панов (Москва), та, что даже в эпохи очень больших социальных сдвигов язык должен изучаться при внимании и к внутриязыковым закономерностям и к социальным воздействиям на язык. Внутренние потенции развития обусловлены антиномиями — такими свойственными языку противоречиями, которые все время находят разрешение и возникают вновь. Антиномии тоже социальны, но так как они свойственны всем эпохам развития языка, их надо признать внутриязыковыми факторами. Каждый раздел монографии построен по единому плану: авторы всегда стремились найти внутренние тенденции, далее раскрывается, как на эти тенденции влияют внешние факторы — социальная действительность, причем каждый раздел монографии дает разное соотношение двух взаимодействующих сил: внутренней и внешней; предпоследняя глава каждого раздела посвящена стилистике, последняя — взаимодействию данного яруса с другими ярусами. Одной из важных тенденций в лексике является тенденция к аналитизму, проявляющаяся и в других ярусах языка, самая обобщающая тенденция в словообразовании — тенденция к агглютинативности, в морфологии — к аналитизму, в фонетике — к упрощению системы гласных и усложнению системы согласных. Особое внимание обращено на процессы, происходящие в языке подспудно, когда не появляется ни материальных единиц, ни новых конструкций — меняется только взаимоотношение единиц. Например, изменение количественных соотношений между грамматическими единицами выражает сдвиги в противопоставлении маркированного и немаркированного членов, сдвиги глубоко качественные. Важны данные монографии об отношении разных социальных слоев к языковым фактам. Так, при том, что большинство говорящих во всех случаях поддерживает традиционные нормы, рабочие несколько более склонны принимать те или иные новшества, чем писатели, журналисты, филологи.

По мнению выступившей в обсуждении монографии С. В. Бромлей (Москва), четкая ориентация на взаимосвязь внутренних и внешних, «социальных» законов языка, на понимание языка как системы — первая и главнейшая заслуга авторов. Основное достоинство раздела «Морфология» — единство грамматической концепции, определяющее внутреннюю цельность всего описания, и наличие в нем общих, пронизывающих все изложение идей. Здесь множество открытий в осмыслении фактов, в установлении глубинных связей между явлениями и процессами, выявление общих внутренних тенденций развития грамматического строя русского языка. Более подробно рассмотрев некоторые факты, связанные с ведущей тенденцией развития грамматики — стремлением к аналитизму, С. В. Бромлей указала, в частности, что, по ее мнению, аналитическим, а не аналитически-синтетическим является выражение рода у слов типа *врач*, *секретарь*.

«Осторожно, структурализм!» — таково отношение к разделу «Словообразование» А. А. Дементьева (Куйбышев), считающего, что раздел написан неэкономно, часто непонятно, что теория интерфиксов ничего не дает, что образования типа *розоватый* неверно объяснены, как результат наложения морфем.

В. В. Веселитский (Москва), отмечая плодотворность идеи антиномий языка, конкретизирующей понятие внутренних законов языка, считает, что не все противоречия в языке относятся к таким антиномиям, в частности противоречие между изменчивостью литературного языка и тем обстоятельством, что накоплен большой багаж литературы, обеспечивающий стабильность языка. В. В. Веселитский видит принципиальное различие между словами, поступающими в литературный язык из просторечия и диалектов и из иностранных языков, и считает неправомерным и те, и другие называть заимствованиями, как это сделано в разделе «Лексика».

В. В. Лопатин (Москва) посвятил свое выступление разделу «Словообразование», в котором, по его мнению, ярко обнаруживаются достоинства всей монографии. В разделе строго и убедительно прослежены принципиальные тенденции

развития словообразования в советскую эпоху — усиление аналитизма и агглютинативности в системе, повышение регулярности типов и средств. Некоторые главы представляют заметный вклад в теорию — например, глава, посвященная проблеме членимости слов. В. В. Лопатин отметил некоторые факторы, препятствующие абсолютной регулярности таких типов, как префиксально-суффиксальные прилагательные с префиксом *без-*; указал на необходимость учета при установлении степени регулярности тех или иных образований в первую очередь качественного анализа, а затем уже количественных критериев; подчеркнул факт взаимодействия внутренних и внешних стимулов при становлении оппозиции маркированности — немаркированности в подсистеме образований со значением лица женского пола; отметил более слабую разработку в разделе некоторых заметных тенденций современного словообразования в области внутриименного префиксального образования, глагольного словообразования.

В. Д. Левин (Москва) считает монографию выдающимся явлением в нашей науке. Высоко оценивая идею антиномий языка, В. Д. Левин присоединяется к мнению М. В. Панова о том, что в монографии эти антиномии не поставлены в иерархические отношения. В разделе «Лексика», кроме того, недостаточно четко разграничены факты и процессы литературного языка и языка в целом, а это очень существенно, так как соотношение лингвистических и экстралингвистических факторов в их развитии различно. Хотелось бы видеть и то, какие сферы литературного языка являются ведущими в советский период. Не всегда оправдано прямолинейное желание авторов разграничить лексические и семантические процессы. Когда имеются разные стилистические тенденции, хочется знать, какая из них ведущая, как они ограничены, в какой сфере происходят и какой языковой смысл носят.

С. И. Котков (Москва) видит в монографии некоторое увлечение количественными противопоставлениями, в частности при объяснении истории рода слова *путь*. Слово *смычка*, по его мнению, возникло в литературном языке вне зависимости от профессионального языка.

По мнению Л. Н. Булатовой (Москва), у нас до сих пор не было таких социолингвистических работ, где влияние социального фактора последовательно прослеживалось бы по всему фронту происшедших в языке изменений во всех его ярусах. Многие социальные воздействия на язык замечены авторами монографии именно благодаря тому, что одновременно рассматривались внутренние тенденции развития языка. Важная особенность работы — большая ее теоретичность и стремление проследить наиболее общие тенденции в развитии языка и в то же время внимание к «мелким» фактам, к судьбе отдельных слов. Монография написана настолько просто, ясно и увлекательно, что ее можно рекомендовать для чтения и неспециалистам. Книга поражает единством подхода к разработке вопросов, несмотря на то, что ее писали почти 30 авторов, среди которых были и молодые, и сложившиеся ученые, принадлежащие к разным школам. Это результат большого труда коллектива и редактора.

По мнению И. А. Мельчука (Москва), монография является великолепным пробным шагом в создании модели абстрактного и полностью исчерпывающего исследования русского языка. Необходимо продолжить работу в направлении построения формальных моделей, хотя бы фрагментов русской грамматики. Теперь, когда этот первый шаг сделан, можно было бы создать что-то вроде новой академической грамматики.

О. Б. Сиротинина (Саратов), рассматривая монографию как программу будущих социолингвистических исследований, видит ее недостаток в отсутствии обобщающего заключения.

В. И. Чернов (Смоленск) говорит о том, что различные ответы на вопросы составленного авторами монографии морфологического вопросника могут обусловливаться ситуацией. В таких случаях тот или другой вариант всегда может быть предопределен типовой конструкцией. В подобных случаях массовый опрос не дает ничего нового по сравнению с тем, что может быть решено собственно лингвистическими методами.

Н. Д. Арутюнова (Москва) отметила, что в книге о словообразовании основные его тенденции — агглютинативность и в некоторой степени тенденция к аналитизму, подробно разъясненные во вступительной части, показаны авторами на разных частных проявлениях. Однако в книге мало обобщены факты, свидетельствующие о противоположных тенденциях. Так, антиагглютинацией можно назвать тенденцию в русском языке, наиболее ярко представленную в аббревиации и приводившую к обогащению кода. Тенденция к синтетическому обобщению проявилась в возникновении исключительного многообразия и детализации названий лиц по социальному признаку.

Выступление Л. И. Баранниковой (Саратов) было посвящено, главным образом, анализу раздела «Народные говоры», который, по ее мнению, отличается от остальных разделов тем, что в нем рассматриваются диалектные системы со специфическими внутренними и внешними тенденциями. От литературного языка диалектные системы отличает их принципиальная открытость, подчиненность системе литературного языка,

их множественность. В отличие от носителей литературного языка носителей диалекта характеризует литературно-диалектное двуязычие. Антиномии, прослеженные на развитии литературного языка, своеобразно проявляются в развитии диалектов. Наиболее существенная из них — антиномия говорящего и слушающего.

Т. В. Булыгина (Москва) говорит о добросовестности, тщательности и осторожности авторов при решении вопросов, и если эти решения не всегда бесспорны, то всегда нетривиальны. Вопреки авторам, Т. В. Булыгина считает *ш, ж* в русском литературном языке фонематически мягкими, в частности потому, что при чередовании в глагольном спряжении *ш, ж* «ведут себя» аналогично мягким согласным, а в склонении существительных после *ш, ж* выступает флексия мягкого варианта; не одинакова фонематическая природа долгих шипящих: *ш'* — однофонемное, *ж'* — бифонемное сочетание; отвердение губных перед мягкими заднеязычными имеет фонологическую значимость, так как раньше мягкость — суперсегментный признак данного сочетания, а теперь твердость и мягкость — более самостоятельные признаки согласных этого счетания. В морфологическом различии ед. числа и мн. числа выражается не одна семантическая оппозиция, а две: единичность — множественность и определенность — неопределенность, в первом случае немаркированной является форма ед. числа, во второй — мн. числа.

Б. В. Горнунг (Москва) считает монографию крупнейшим достижением Института русского языка АН СССР, первой его настоящей удачей в реализации коллективного труда среди работ, посвященных различным проблемам и историческим темам. В эпоху больших социальных сдвигов,— говорит Б. В. Горнунг,— общая сумма влияний разнообразных и иногда не связанных друг с другом социальных факторов приводит к тому, что развитие тенденций к перестройке системы, заложенной в языке еще до наступления революционной эпохи, ускоряет свой темп. В русском языке советской эпохи происходило то же самое. Анализируя влияние тех или других факторов, нужно помнить, что оно всегда суммированное, и надо быть очень осторожными в аналитическом их расчленении при изучении каждого конкретного изменения.

По мнению Г. П. Мельникова (Москва), монография представляет направление системного подхода к языку, которое идет в языкознании от Гумбольдта и Бодуэна де Куртене и учитывает не только внутренние, структурные связи, но и внешние связи, и субстанцию элементов, не только статику, но и динамику, с их внутренними противоречиями. Такой системный подход — вершина научного подхода в современном языкознании.

Высоко оценивая монографию как исследование и как руководство в практической работе преподавателей вуза и аспирантов, С. В. Фролова (Куйбышев) видит ее недостатки в отсутствии разработки ономастики, в рассмотрении некоторых фактов микроистории (интерфиксация, утрата некоторыми существительными окончания род. падежа мн. числа) без фундамента макроистории, в умалении значения грамматической аналогии.

А. Т. Кунгурова (Ижевск), развивая мысль, высказанную В. Д. Левиным, говорит о том, что изменения в современном русском литературном языке зарождаются в деловом официальном стиле, распространяясь затем на русский язык вообще. Однако в советскую эпоху происходит и стирание стилистических различий. Возможно, что влияние ведущих стилей и нивелировка стилистических различий — это главная антиномия, определяющая все остальные противоречия в этой области.

И. А. Попова (Москва) отмечает тонкую разработку синтаксической системы. Вместе с тем она не согласна с интерпретацией предложений типа *какой подлец!, повсюду алые стяги* как неполных.

Ф. П. Филин (Москва) видит в монографии весьма незаурядное научное явление; главная ценность ее в том, что в ней впервые в нашей науке на большом материале дано всестороннее обобщение процесса развития языка советской эпохи. Один из дискуссионных вопросов — история еканья и иканья; Л. В. Щерба считал еканье нормой только в торжественном стиле, в том числе и для Москвы; источник существования в Петербурге еканья, по мнению Ф. П. Филина, не только в диалектном окружении, но, в частности, и в тенденции произносить слова ближе к написанию; в настоящее время вряд ли ленинградское произношение резко отличается от московского. Антиномии определены слишком широко и могут истолковываться неоднозначно. Не рассмотрены в монографии общественные функции языка, которые резко изменились в советскую эпоху, а это не безразлично для структуры языка. Тема «Русский язык и советское общество» предполагает также исследование стилистического перераспределения языковых средств между литературным языком и другими разновидностями русского языка (разговорной речью, просторечием и др.), изучение изменений самих этих разновидностей.

В заключительном слове М. В. Панов остановился на многих поднятых в обсуждении проблемах. В частности, важнейшей он считает антиномию кода

и текста, совпадающую с антиномией говорящего и слушающего. При изучении истории слов, пополняющих наш лексикон, важно устанавливать, заимствовано слово или образовано по внутренним законам, возможно наложение этих двух источников, иногда же решить этот вопрос в принципе нельзя. М. В. Панов, в противоположность своей прежней точке зрения, согласен с тем, что *ш* и *ш'*, *ж* и *ж'* некоррелятивны по твердости и мягкости, хотя бы потому, что нейтрализация их совершенно не параллельна нейтрализации других твердых и мягких согласных. Наряду с работой по теме «Русский язык и советское общество» необходимо вести работу по теме «Функциональные разновидности русского языка и речи и советское общество».

Закрывая обсуждение, Ю. Д. Апресян (Москва) отметил, что монография высоко оценена выступавшими, она может служить эталоном для аналогичных исследований на материале других языков. Ю. Д. Апресян поддержал мнение В. Д. Левина о необходимости выдвинуть монографию на соискание Государственной премии и Ф. П. Филина — переиздать ее.

Л. Л. Касаткин (Москва)

•

С 23 по 26 апреля 1969 г. в Горьком проводилась II Поволжская конференция по ономастике, показавшая значительный рост интереса к ономастическим дисциплинам у представителей широких кругов лингвистов, географов, этнографов, историков. На конференции было прочитано 136 докладов; по ряду докладов развернулись оживленные прения. Большая заслуга многих ономатологов (В. Н. Попова, Ю. Г. Вылежнев, Г. А. Архипов, Н. В. Шемборская и др.) в том, что они представили на конференции также и работы своих учеников, аспирантов и студентов.

Помимо пленарных заседаний, на конференции работали секции, посвященные проблемам теории ономастики, вопросам антропонимии, топонимии, гидронимии, зоонимии, космонимии, микротопонимии, этнонимии, истории личных имен, словообразованию топонимов и деономастическим образованиям, прозвищам, современному состоянию личных имен, собственным именам в художественной литературе, индивидуальным названиям вещей. В связи со спецификой поволжского материала и особенностями заселения края отдельные секционные заседания были посвящены финно-угорской антропонимии и топонимии, тюркской топонимии, тюркской и монгольской антропонимии, а также вопросам взаимосвязи топонимики и истории и ономастической работе в вузах Поволжья.

Представленный на конференции комплекс ономастических дисциплин помог выявить, какие области ономастики изучаются у нас в достаточной мере, а какие лишь начинают изучаться и в связи с этим требуют особо пристального внимания.

Проблемы изучения социальной ономастики в связи с различными историческими эпохами и социальной дифференциацией общества разрабатываются в настоящее время В. А. Никоновым (Москва), В. Д. Бондалетовым (Пенза), В. И. Тагуновой (Муром), С. И. Зиминым (Ташкент) и рядом других исследователей.

Типологии собственных имен, их словообразованию и деономастическим образованиям были посвящены доклады С. В. Фроловой (Куйбышев), Н. М. Шанского (Москва), В. Н. Немченко (Горький), Ю. П. Чумаковой (Горький), Е. А. Левашова (Ленинград) и ряда других участников конференции.

По-прежнему большое внимание уделяется изучению топонимических терминов, этих важных строительных элементов в составе географических названий (Э. М. Мурзаев, Москва; Ю. Г. Вылежнев, Пермь; Г. И. Донидзе, Москва и др.).

Не первый раз слушалась и тема личные имена сегодня, тема поистине неисчерпаемая и каждый раз новая, если иметь в виду анализ ежегодных записей актов гражданского состояния и сопоставление данных последних лет с предыдущими. Одно из центральных мест в работе этой секции отводилось вопросу выбора имени: субъективным и объективным, лингвистическим и экстралингвистическим моментам, связанным с этим. Все эти стороны проблемы нашли отражение в произведенном Л. К. Максимовой (Москва) анализе ответов на анкету, предложенную I Поволжской конференцией.

З. А. Данилова (Саратов) провела звуковой анализ имен, активно употребляющихся в наши дни в Саратовской области, и показала преобладание в них высоких звуков (*Сергей, Алексей, Ирина, Елена*), почти полное отсутствие низких звуков типа *у* и редкость имен с нейтральными гласными (*Федор*).

Т. А. Короткова (Свердловск), анализируя случаи смены имен, показала, что мотивировка такой смены часто иллюзорна. Ср., например, отказ от имен типа *Степан, Никон* как от якобы старых и замена их «современными» именами типа *Александр, Павел* — хотя хронологически все эти имена одного «возраста» (все они входили в единый византийский список, заимствованный рус-

скими). Мена имен свидетельствует о сужении именника: в 1959 г. в Свердловской области 116 мужчин сменили 90 разных имен всего лишь на 31 имя с широкой распространенностью.

Ряд докладов показал, насколько еще не разработаны многие аспекты теоретической ономастики. Н. Г. Михайловская (Москва) впервые подняла вопрос о различных аспектах проблемы названий в грамматическом (считать ли имена собственные словами или предложениями), лексическом (место названия в словарном составе языка) и культурно-речевом планах. С коммуникативной точки зрения слово — общение, сообщение и воздействие (В. В. Виноградов). У собственных имен эти свойства представлены неравномерно: названия фильмов скорее воздействуют, чем сообщают, названия магазинов сообщают в ограниченной степени. Из-за своей семантической редукции многие названия быстро превращаются в типизованные условные опознавательные знаки.

Б. А. Старостин (Москва) рассматривает пограничные проблемы ономастики, проистекающие из ее тесной связи с реальной жизнью и с реальными науками. Указывая, что индивидуализация — это основное в ономастике, он выделяет ономастическую и неономастическую индивидуализацию и выдвигает проблему нарицательной лексики в противоположность лексике ономастической.

Проблеме собственного имени в языке и речи были посвящены доклады А. В. Суперанской (Москва) и Е. Ф. Даниловой (Пенза).

Л. П. Калакуцкая (Москва) на примере небольшой группы антропонимов, оканчивающихся на *-а* (многие из них заимствованы в русский язык из различных восточных и западных языков), показала проникновение экстралингвистических влияний в глубинные ярусы языка, в результате чего можно говорить даже о «самостоятельной грамматике» ономастических элементов.

Впервые на ономастической конференции в Горьком были представлены доклады по зоонимии (Г. Ф. Фельде, Чимкент; К. И. Бураханов, Чимкент). Помимо чисто познавательного (с точки зрения теории номинации) значения, изучение зоонимов должно способствовать и решению некоторых прикладных задач (составление рекомендательных списков кличек для животных на зоофермах).

Постепенно определяются контуры проблемы «Собственные имена в художественной литературе и фольклоре». Многие исследователи составили картотеки имен по произведениям Чехова, Горького и других писателей, по фольклорным произведениям, бытующим на определенных территориях у различных народов, и собираются издавать словари этих имен. Пока не вполне ясно, каково должно быть построение словарной статьи в словарях подобного рода, какой объем комментариев желателен и какой необходим. Безусловно, словари подобного рода должны коренным образом отличаться от всех известных нам типов словарей прежде всего сочетанием исторических, лингвистических и литературоведческих комментариев, оптимальное соотношение которых пока не найдено.

Впервые в истории ономастических наук был представлен ряд докладов по космонимии (В. А. Никонов, Москва; Д. К. Нуржанова, Чимкент), по собственным именам алмазов (А. И. Рудных, Свердловск) и индивидуальным названиям учреждений (Л. П. Филатова, Чимкент). Изучение космонимов — комплекса названий во внеземном пространстве — у разных народов может пролить свет на проблему палеоевразийской общности народов и способствовать дальнейшему развитию теории ностратических языков. Развитие космонимии должно стимулировать изучение мифонимов, поскольку с названиями созвездий у многих народов связаны интересные мифы и легенды.

Прикладным проблемам ономастики были посвящены доклады В. Н. Зиновьева (Горький) о колебаниях написания прилагательных типа *джамбульский — джамбулский*, Р. Х. Субаевой (Казань), К. З. Закирьянова (Уфа), Н. П. Бутенко (Львов), М. Н. Губогло (Москва), Р. Ш. Джарылгасиновой (Москва), М. У. Монраева (Элиста) о взаимодействии национальной (татарской, башкирской, калмыцкой, корейской) и русской именных систем и частичной русификации способов именования у этих народов.

Конференция показала, что еще не начато изучение имен в этико-эстетическом аспекте, мало изучаются псевдонимы и фамилии-кальки.

Снова, как и несколько лет назад, возникла и требует решения проблема «микро» и «макро» в ономастике. Возможно, решение ее осложняется тем, что исследование ведется в разных планах, трудно сопоставимых друг с другом. Помимо учета физической величины объектов и степени их известности, проблема микротопонимов и макротопонимов включает и совершенно иной компонент, первичность и неперичность номинации, и в этом плане к микротопонимам могут быть отнесены, вероятно, видовые обозначения топообъектов (*холм, поле, огород*), к микрозоонимам — названия животных в соответствии с мастью и возрастом (казах.

бота «новорожденный верблюд», *тайлақ* «годовалый верблюд», *боз інген* «серая верблюдица» и т. п.), а к микроантропонимам — прозвищные имена, отражающие черты именуемого.

Наиболее слабо разработанным оказался вопрос о прозвищах — разделе лексики, занимающем промежуточное положение между именами нарицательными и собственными, между личными именами и фамилиями, между антропонимами и этнонимами (групповые произвища). Ждут своего решения такие проблемы, как соотношение индивидуальных и групповых прозвищ; разница между прозвищами, полученными в разном возрасте; возрастная смена прозвищ; степень отражения прозвищами черт именуемого. Особого внимания заслуживают вторичные прозвища, произведенные от имен личных и фамилий (*Маряха* от *Мария*, *Алеханка* от *Алексей* — прозвище жены по мужу, *Авдон* вместо *Авдонин*), их образование и функционирование. В отличие от фамилий, образовавшихся из прозвищ естественным путем и имеющих очень строгую словообразовательную морфологию: *Куракин* — от прозвища *Курака*, но ни в коем случае не непосредственно от *Курак* (хотя этимологически фамилия и восходит к тюркскому эпониму *Курак*), отфамильные прозвища, образованные путем обратной деривации, не обладают указанной морфологической строгостью (см. *Авдоня — Авдонин — Авдон*, *Заблуда — Заблудин — Заблуд*). Очевидно, в этом отражается как неактуальность более старых способов словообразования, так и отмечающаяся во многих разделах ономастики тенденция к маскулинизации.

В развернувшихся прениях подчеркивалось, что дальнейшую работу по ономастике в значительной степени сдерживает отсутствие словарей. Желательно переиздание словарей Тупикова и Морошкина, нужен словарь фамилий. Словарь личных имен народов РСФСР, задуманный как рекомендательное пособие, не удовлетворяет загсы, которым нужны словари-регистраторы, включающие все имена, встречающиеся у населения. Такого же типа словарь нужен и ономатологам. Поэтому переиздание этого словаря, намеченное на ближайшее будущее, должно основываться на иных принципах.

Нужен словарь эпонимических названий, т. е. словарь, содержащий нарицательные имена, произведенные от собственных. Нужны словари мифонимов и теонимов со всеми их греко-латинскими вариантами и двойными именованиями (*Аполлон — Феб*, *Афродита — Кифера* или *Цитера*). Необходимо переиздание справочника имен животных с учетом ряда типологических закономерностей.

Как показала конференция, любые ономастические исследования требуют серьезных экстралингвистических изысканий, главным образом в культурно-историческом плане (история заселения местности, история материальной и духовной культуры, литературоведение, фольклористика и т. п.), и в то же время исследователь ономастической лексики должен оставаться последовательным лингвистом, поскольку любое имя — это слово, развивающееся по законам языка.

А. В. Суперанская (Москва)

*

9 декабря 1968 г. в Казани состоялось объединенное заседание ученых советов Института языка, литературы и истории им. Г. Ибрагимова АН СССР и Казанского гос. пед. ин-та, посвященное 80-летию со дня рождения видного представителя татарского советского языкознания, педагога и общественного деятеля профессора Г. Х. Алпарова (1888—1936).

После вступительного слова ректора КГПИ М. З. Закиева о жизненном пути и научной деятельности Г. Х. Алпарова доклад сделал Л. И. Яфаров. Г. Х. Алпаров внес значительный вклад в различные области татарского языкознания. Его перу принадлежат «Татар теленең шәкли нигездә грамматикасы» («Формальная грамматика татарского языка»), выдержавшая два издания (Казань, 1926, 1927), «Основные вопросы языкознания» (Казань, 1933) и мн. др.; в его «Избранные труды» (Казань, 1945) вошли лингвистические работы разных лет. Ученый откликался на все злободневные и актуальные вопросы языкового строительства — в частности, он принимал активное участие в разработке татарской, туркменской, узбекской, уйгурской и каракалпакской орфографии и терминологии.

Ф. А. Ганиев рассказал о деятельности Г. Х. Алпарова в области татарской грамматики и общего языкознания, отметив особо, что ученый широко пользовался методом сравнения татарского языка с близкородственными языками — узбекским, туркменским, киргизским и др. По мнению Ф. А. Ганиева, особенно ценны и интересны труды Г. Х. Алпарова по синтаксису, по словообразованию и т. д. К грамматическим трудам ученого повышается интерес не только советских тюркологов, но и ученых Болгарии, Чехословакии и других стран. С воспоминаниями об ученом выступили Х. Х. Хамидуллин (Казань) и Ф. Х. Алпаров (Уфа).

Г. К. Якупова (Казань)

*

Две научных конференции в Сибири, собравшие сотни участников со всей страны: «Происхождение аборигенов Сибири и их языков» (Томск, 11—13 мая 1969 г., организована Томским пед. ин-том) и «Этногенез народов Северной Азии» (Новосибирск, 15—16 мая 1969 г., организована Сибирским отделением АН СССР) были комплексными и охватывали археологию, этнографию, лингвистику (в особенности — ономастику). Из 160 докладов, прочитанных на обеих конференциях, более трети составили лингвистические, но и среди археологических и этнографических многие чрезвычайно важны для лингвистики, помогая выяснить происхождение и историю многих языков от Урала до Тихого океана.

Казалось бы, далеки от языка, от языкознания петроглифы Сибири и Дальнего Востока, но исследование акад. А. П. Окладникова (Новосибирск), опирающееся на богатейший материал, установило, что на этих территориях в течение 4—5 тысячелетий устойчиво сохранялись культурные традиции, преемственно передавались художественно-стилевые нормы и образы. Конечно, нельзя отождествлять общность материальной культуры и общность языковую, но языки возникали, изменялись, перемещались не вне реальных связей. Глубокие древние границы культурных общностей небезразличны для лингвистики.

Таково же и лингвистическое значение доклада В. Н. Чернецова (Москва) «Этнокультурные ареалы на территории Северной Азии и северо-восточной Европы» и ряда других докладов. Решается ли проблема этногенеза бурят и эвенков (Г. М. Василевич, Ленинград; Е. М. Залкинд, Улан-Удэ) или узкий вопрос этнической принадлежности культур Среднего Приобья на рубеже нашей эры (В. А. Могильников, Москва), или рассматривается далекий от нас по времени и расстоянию палеолит Северной Америки (И. П. Ларичева, Новосибирск — «Два ареала культур и два истока их происхождения») — обсуждение этих проблем не может не волновать лингвистов, подтверждая или колебля лингвистические гипотезы.

Это не значит, что науки вправе диктовать одна другой свои решения. Особенно опасно наложение ареалов, полученных одной наукой, на карту другой. При всем интересе к попытке Н. Л. Членовой (Москва) отождествить археологический ареал карасукской культуры с ареалом кетских гидронимов результаты неубедительны. Это и неизбежно, пока не разработана сама теоретическая основа сопоставлений: что должно совпасть, а что совпасть не может, как интерпретировать несовпадения и т. д.?

Сама тематика конференций обусловила обилие докладов, рассматривающих различные отношения между языками — генетические, контактные или типологические. В этом плане интересны доклады М. А. Черкасского (Алма-Ата) «Некоторые проблемы генетико-типологической общности тюркских языков», А. С. Канюковой (Чебоксары) «Чувашские и хакасские соответствия в фонетике и лексике», Г. Е. Корнилова (Чебоксары) о проблемах сибирской прародины тюркских предков чувашей, Г. А. Меновщикова о языковых контактах аборигенов северо-восточной Сибири и др.

Значителен для дальнейшей разработки всего комплекса проблем, связанных с изучением языка и истории якутов, доклад Е. И. Убрятовой (Новосибирск). Она возродила гипотезу В. В. Радлова о не-тюркском происхождении якутского языка и народа; это можно теперь подкрепить результатами новых исследований. В. И. Рассадин (Улан-Удэ) по языковым данным показал периоды истории тофаларов. А. П. Володин (Ленинград) привел убедительные данные, полностью меняющие привычное отнесение ительменского языка к камчатско-корякской группе и побуждающие выделить его из нее.

Связь некоторых докладов с заглавной темой обеих конференций не так ясна, хотя выяснение деталей в конечном счете тоже способствует выявлению генетических, контактных или типологических отношений между языками.

По некоторым языкам даже доклады с частной тематикой составили в целом внушительную картину, особенно по кетскому (9 докладов) и селькупскому (10 докладов). По селькупскому языку доложили томичане: Н. В. Воеводина об употреблении вспомогательного глагола «носить», Э. Г. Беккер о формах и функциях местного падежа, Н. В. Гевлич о числительных в селькупских диалектах и др. Вводя в научный оборот новый материал, эти работы, вместе взятые, образуют серьезный, хотя еще и пунктирный контур будущей научной грамматики селькупского языка. По кетскому сейчас появились солидные книги и обширнейшая из них — фундаментальный труд А. П. Дульзона «Кетский язык» (Томск, 1968). А литература по селькупскому языку исчерпывается единичными статьями, разбросанными в малоизвестных изданиях. Целесообразно опубликовать доклады по селькупскому языку, прочитанные на обеих конференциях, в виде специального сборника (доклады В. И. Мазаевой, Н. М. Николаевой, Л. Е. Виноградовой и др. по кетскому языку, очевидно, издаст Томск).

По некоторым проблемам на конференции возникали дискуссии, явные или «не-

явные», в которых докладчики не возражали непосредственно друг другу, но независимо друг от друга выдвигали совершенно различные точки зрения по одному вопросу. Так, в вопросе о методах определения близости языков на первом же пленарном заседании столкнулись по меньшей мере три разных подхода, может быть, не взаимоисключающие, но пока и не сочетаемые: традиционный сравнительно-исторический путь в докладе А. П. Дульзона «О приемах определения отдаленного языкового родства», структуралистское сопоставление систем (пока весьма схематическое) — в докладе А. П. Евдошенко (Кишинев) и метод фоностатистического измерения междуязыковых «расстояний»— в моем.

В опубликованных тезисах обеих конференций представлено почти тридцать докладов по ономастике (хотя не все состоялись, а состоявшиеся различны по уровню). Собственно из всех отраслей ономастики только топонимика звучала в полный голос.

Доклад А. К. Матвеева (Свердловск) «Палеоевразийский слой в топонимии русского Севера и Сибири», широкий по охвату территорий и языков, содержал критические замечания относительно гипотез Б. А. Серебренникова, А. И. Попова, Г. М. Василевич, тоже противостоящих одна другой. Докладчик подчеркнул, что на таком необъятном пространстве вероятны совпадения названий совершенно различного происхождения, а распространение русского языка сделало совпадения неизбежными в силу однородной адаптации названий, первоначально несходных. Не отрицая параллелей, отражающих древние связи (например, *Хем — Кемь* или мощный праноязычный гидронимический пласт), А. К. Матвеев призывал к научной строгости и крайней осторожности.

М. Т. Муминов (Свердловск) исследовал дотюркскую гидронимию Зауралья, развивая и конкретизируя тезис об иранском пласте в ней. Особенно характерны гидронимы с инициальным *р-*, исконно невозможные в уральских и алтайских языках: *Ревда, Реж, Реуфт, Реут* и мн. др. Он связывает их с таджикским *рехтан* «литься, течь», как и аналогичные гидронимы западнее Урала, и многочисленные *Руда* в Поднепровье.

Высокую оценку заслужили доложенные исследования томичанок О. Т. Молчановой и К. Ф. Гриценко. О. Т. Молчанова выявила в Горном Алтае топонимы, не объяснимые из алтайского языка, нашла им параллели в Туве, установила фонетические соответствия, на основе этого указала территории тувинцев в Горном Алтае (части Усть-Канского и Онгудайского районов, вкрапления вдоль Чуйского тракта) и датировала их IX—XII вв. К. Ф. Гриценко в докладе «Определение этнической принадлежности некоторых названий Якутии методом картографирования» предложила решение трудной задачи: кому принадлежат названия, основы которых есть в разных языках с разными значениями. Так, топонимы, содержащие *тала-*, в Якутии могут быть связаны с эвенк. «солонец» или «место засады на диких оленей», либо с якут. «степь» или «обрыв». Положив их на карту, К. Ф. Гриценко получила два отчетливых ареала, далеких друг от друга. Однако этот метод вовсе не безотказен во всех случаях; например, вряд ли поможет он различать в топонимии Украины два совершенно различных *-поль*: из слав. *-поле* (*Конецполь*) и греч. *-полис* «город» (*Овидиополь*).

Г. А. Меновщиков в докладе о топонимических исследованиях северо-восточной Азии подчеркнул их огромное научное значение и неотложность, так как топонимия местного населения исчезает.

И. А. Воробьева (Томск) доложила о передаче субстратных топонимов Сибири старинными русскими документами. Ценность этих источников несомненна, однако мысль, что более ранние русские памятники точней передают подлинник, не всегда верна. В некоторых случаях первые упоминания субстратных топонимов, переданные неподготовленными для этого писцами, да еще со слов проводников на языке-посреднике (например, хантыйские названия русские узнавали от проводников коми), дальше от подлинника, чем поздние.

В. Н. Попова (Чимкент) исследовала 1838 гидронимов Павлодарской области (Северный Казахстан) и выделила нетюркские пласты их. Но напрасно она объявляет арабскими гидронимы, образованные от личных имен, принесенных исламом — например *Алкакёл*. Этот гидроним образован не из араб. *алка* «ожерелье», а из казах. *кёл* «озеро» и *Алка* — личное имя. Совсем другой вопрос, что личное имя в иное время и в ином месте произошло из арабского слова,— к происхождению гидронима это не имеет никакого отношения.

А. А. Абдрахманов (Алма-Ата) прочел доклад «Историческая близость казахов и тюркских народностей Сибири на основе этнонимии и топонимии». Приводя этнонимы, общие в Казахстане и Сибири (*теленгит, кыпчак* и др.), он этимологизовал некоторые из них, к сожалению, не всегда надежно. Привлекая для объяснения топонимов Казахстана, этимологически непонятных на почве казахского языка, материал из других тюркских языков, докладчик для этимологии оронима *Музарт* (*муз* «лед») привел тюрк. *арт* «перевал». Но оронимы с *арт* нередки и ближе — в восточной части Киргизии: *Эшек-Арт, Торук-Арт*, дважды *Кыз-Арт*.

К. И. Юргин (Томск) рассмотрел размещение и семантику эвенкийских гидронимов с формантом *-нгна*. И. Е. Иванов (Якутск) обследовал якутские топонимы с формантом *-кы*. Монографические исследования формантов топонимии у нас начаты недавно и до сих пор они скудней, чем, например, у топонимистов Польши.

Н. Б. Ковалева (Томск) исследовала бытующие у населения Западной Сибири ложные, наивные этимологии субстратных топонимов. Существенно замечание докладчицы: при снятии русских изменений — фонетических и морфологических — исследователь опирается на строгие законы звуковых соответствий и на определенные словообразовательные модели, а относительно переосмыслений критерии пока не выработаны. Тем самым ставится серьезная задача, решение которой потребует совместной работы этимологов и психологов. Докладчица делит переосмысления на два разряда: при одних топоним внешне не изменяется, при других ложная этимология приводит и к внешним изменениям.

Попытка общего обзора всей топонимии Тувы представлена в докладе Ш. Ч. Сат (Кызыл). Пока нет предварительных детальных исследований, топонимический обзор района, а тем более целой республики, возможный только как итог научной работы многих ученых, неизбежно окажется поверхностным.

Богатым топонимическим урожаем Сибирь обязана прежде всего школе А. П. Дульзона: многолетняя деятельность А. П. Дульзона сделала Томск самым сильным топонимическим центром страны — с большим коллективом талантливых и отлично подготовленных топонимистов, с грандиозной картотекой в полсотни тысяч гидронимов. Ученики А. П. Дульзона и ученики его учеников теперь ведут топонимические исследования не только в Приобье, на Алтае, в Якутии, а и в Казахстане, и в Поволжье.

При десятках топонимических докладов и нескольких этнонимических только один на обеих конференциях посвящен антропонимии — Н. М. Терещенко (Ленинград) «Личные имена нганасан». Доклад впервые знакомит с материалом, никем еще не исследованным. У нганасан личными именами служат, как правило, нарицательные имена родного языка, и этимологии их прозрачны; есть случаи заимствования ненецких имен или калькирования их, в послевоенные годы стали входить в употребление и русские имена; до последнего времени держались бытовые ограничения (нельзя произнести имя старшего по возрасту и т. п.).

Один из немногих заметных минусов обеих конференций — полное отсутствие других разделов ономастики: из них для решения проблем этногенеза и глоттогенеза исключительно важна космонимия, отражающая древнейшие представления народов, генетические и контактные связи языков. Космонимия Сибири чрезвычайно выразительна и красноречива. По одним только семантическим ареалам названий Млечного пути у различных народов Сибири можно проникнуть в такую глубину прошлого, о которой скудны данные других наук (у одних народов это «птичий путь», у других «лыжный след», у третьих «серебряная река», у четвертых «небесный пов» и т. д.). Непростительно, что в Сибири не начато изучение космонимов и даже не организован сбор их, а они исчезнут на глазах, заменяемые общепринятыми в науке, которые с освоением космоса становятся достоянием широких масс.

Досадным пережитком в некоторых ономастических докладах звучало беспорядочное употребление терминов: неразличение *топонимии* и *топонимики*, смешение терминов *ономастика* и *антропонимика*: к сожалению, еще употребителен странный гибрид *топономастика*.

В целом обе конференции очень удались. Их крупный научный успех знаменует новую ступень: теперь и гуманитарные науки Сибири, значение которых далеко выходит за ее пределы (в лингвистике, как и в археологии, Сибирь держит ключи от многих кардинальных проблем Евразии и Америки), предстали широким фронтом.

Обе конференции единодушно выдвинули на Ленинскую премию недавно вышедшую фундаментальную работу А. П. Дульзона «Кетский язык». Многолетняя деятельность А. П. Дульзона, 70-летний юбилей которого состоится в феврале 1970 г., немало способствовала успеху конференций.

В. А. Никонов (Москва)

27—28 мая в Институте языкознания АН СССР проходила ставшая уже традиционной ежегодная конференция аспирантов института. Темой настоящей третьей конференции были «Методы синхронного и диахронного анализа (на материале языков разных систем)».

Конференцию открыла директор Института член-корр. АН СССР В. Н. Ярцева, пожелавшая ее участникам успеха и плодотворного научного будущего.

После вступительного слова Э. А. Макаева выступила М. М. Мартьянова, прочитавшая доклад «О вариантности фонетических структур заимствованных топонимов в английском языке». Докладчица указала на активное вторжение в английский язык последних лет иностранных топонимов. Существует значительное варьирование в звучании этих топонимов. Подобная произносительная практика отражается на фонетической структуре заимствований.

Другой доклад на фонетическую тему — «Консонантные сочетания и слог» К. С. Тайметова представляет собой типологическое исследование. Он был посвящен поискам закономерностей следования компонентов в консонантных сочетаниях (КС). Для исследования привлекались разносистемные языки: тюркские, славянские и японский. Вначале анализировались КС в инициальных консонантных группах для языков, допускающих в анлауте трехчленные сочетания согласных. В этих случаях, как утверждает К. С. Тайметов, создается универсальная схема следования КС, когда возрастает сонорность по мере приближения к гласному — вершине слога.

Экспериментально-психолингвистическое направление было представлено докладом А. Ярхо «К вопросу о „произносительной трудности" русских трехбуквенных сочетаний». Докладчица исходила из полученного в последнее время экспериментального вывода о том, что произносительную трудность (произносимость) буквосочетаний следует считать существенной характеристикой речевого поведения.

В грамматическом цикле два доклада были сделаны на материале африканских языков. В. Я. Порхомовский представил доклад «О некоторых чертах типологии глагольной системы чадских языков». Исследование проводилось на материале восьми языков чадской группы. Употребляя только в синхронном плане термин «общечадская глагольная система», В. Я. Порхомовский фиксирует для нее семь основных видовременных форм. В докладе была прослежена реализация этих форм в разных чадских языках. Помимо общеструктурных характеристик глагольных форм, отдельные чадские языки имеют черты более частного характера. В целом докладчик пришел к выводу, что глагольную систему каждого из чадских языков безусловно следует рассматривать как частный случай или вариант общей системы.

Если В. Я. Порхомовского с самого начала интересовал чадский глагол, то И. С. Федосеева вначале сосредоточилась на анализе одного из явлений суахилийской именной системы. Ее доклад «О нелокативных значениях показателя *po* в суахили» был построен на преимущественном внимании к функционированию именных показаний локативности в составе глагольных форм в качестве уточнителей его семантики. Рассматриваемая морфема *po*, помимо своего основного локативного значения, имеет в составе глагола еще и значение времени.

Поднятые в этих докладах проблемы значения и выделения грамматических категорий были также предметом доклада А. А. Беглярбековой, тема доклада которой была «Генетивный артиклоид и нулевой генетивный артиклоид в тюркском изафете (на материале азербайджанского языка)». Исходя из идей Б. А. Серебренникова, докладчица сделала попытку доказать для азербайджанского языка наличие грамматической категории определенности — неопределенности и соответственно артикля с узкой сферой употребления (артиклоида).

В докладе А. А. Королева «Формы множественного числа имен существительных в диалектах гэльского языка» было предложено описание алломорф множественного числа существительных в семи гэльских диалектах. Описание проводилось по единой для всех диалектов схеме. Предварительно в целях удобства диалекты были разделены на северную и южную группы. Докладчик считает, что все гэльские диалекты проявляют тенденцию к более или менее унифицированному выражению категории множественного числа существительных.

Доклад В. С. Мочос «О некоторых значениях глагольной формы с частицей γ'α в новогреческом языке» начался с диахронических экскурсов в область греческой морфологии. Сокращение роли системы флексий в выражении грамматических значений в греческом языке сопровождалось усилением функциональной нагрузки на различные вспомогательные морфемы.

Не остался в стороне от проблем методологии анализа и доклад А. Р. Балаяна «Диалог и проблема соотношения синтагматических и функциональных единиц в синтаксисе». Докладчик опирался на то положение, что изучать специфику указанных в названии доклада разноплановых единиц удобнее всего, привлекая диалог, т. е. такую форму существования языка, в которой между этими единицами было бы максимальное различие и, следовательно, смешение их при анализе было бы максимально затруднено.

А. М. Цывин в докладе «Проблемы именного аналитизма в болгарской лингвистике» подробно остановился на концепциях Ив. Лекова и Л. Андрейчина. Особенно важной в этой связи докладчик счел классификацию славянских языков, предложенную Ив. Лековым (синтетически развитые, синтетически сверхразвитые и аналитически развитые), а также методы

описания значения предлогов, выдвинутые А. Андрейчиным. В докладе были также освещены конкретные исследования болгарских лингвистов по славянскому аналитизму. На основании анализа указанных исследований А. М. Цывин попытался ввести свое определение падежа как формы выражения двуместного отношения имен.

Три доклада семантико-лексикологического «круга» так или иначе коснулись идей и методов компонентного анализа. Непосредственная экспозиция этого метода в его нынешнем состоянии дана была А. М. Кузнецовым в докладе «О применении метода компонентного анализа в лексике». Докладчик усмотрел главное достоинство этого метода в экономности его средств. Примененный вначале к наиболее податливым в отношении структурирования пластам лексики, метод этот может быть применен и в гораздо менее явных случаях. А. М. Кузнецов привел пример использования этого метода для исследования семантического поля (термины родства) в английском языке.

Г. Джафаров также исследовал термины родства, но уже на материале азербайджанского языка. В его докладе «О терминах родства в современном азербайджанском языке и диалектах» основной была мысль об относительной самостоятельности самого развития системы родственных отношений и отражающей это развитие терминологии. В современном азербайджанском языке действуют здесь тенденции к моно- и полисемантичности.

Р. З. Мурясов представил исследование, посвященное «Полю одушевленности в современном немецком языке». В докладе разбирались аффиксальные средства, выражения значения одушевленности, как исконно немецкие, так и заимствованные. Для описания их семантических потенций был применен анализ по семам.

Доклад А. Н. Журинского «К истории идефонов в языке эве» хотя и был зачитан в фонетическом цикле, но по своей направленности примыкал к «семантической» серии докладов. А. Н. Журинский говорил о наиболее крупных группах идефонов в языке эве, которых насчитывается тринадцать и которые передают разнообразные значения. Докладчик пришел к выводу, что в целом развитие системы идефонов идет к ослаблению звукового символизма. При этом усиливается одно свойство этого символизма: близким звучаниям начинает соответствовать все больше близких значений, т. е. увеличивается омонимия звуков.

Все доклады, представленные на конференции, вызвали интерес и оживленную дискуссию. Закрывая конференцию, Э. А. Макаев отметил высокий профессиональный уровень докладов и выступлений. Решено издать материалы конференции отдельным сборником.

А. Р. Балаян (Москва)

---

*

С 27 по 30 мая 1969 г. в Ленинградском отделении Института языкознания АН СССР проходила I алтаистическая конференция, посвященная некоторым теоретическим и методическим вопросам исследования алтайских языков, а также обсуждению ряда конкретных тем сравнительного изучения лексики, грамматики и фонетики тюркских, монгольских, тунгусо-маньчжурских, корейского, японского и некоторых других языков, которые включаются в алтайскую, или — шире — урало-алтайскую, языковую общность [1]. В работе конференции, кроме языковедов Ленинграда, приняли участие ученые НИИ и вузов Москвы, Алма-Аты, Ашхабада, Владивостока, Казани, Новосибирска, Тбилиси, Улан-Удэ, Уфы, Чебоксар, Черкесска и других городов; этот факт говорит о широком научном интересе к указанным проблемам и об актуальности конференции. На конференции также присутствовали И. Мейер (ГДР, Берлин) и проф. Дз. Икегами (Япония, г. Саппоро), который ознакомил участников с работой в области алтаистики, проводимой в его стране.

А. В. Десницкая (Ленинград) во вступительном слове отметила, что сама постановка вопроса о возможном наличии генетических связей между языками алтайского ареала основывается на уже обнаруженных фактах общности целого ряда корней и древнейших основ, а также на несомненных аналогиях в области грамматической структуры. Эта общность вряд ли могла возникнуть случайно в условиях сложности ареалов древнего расселения тюркских, монгольских и тунгусо-маньчжурских народов. Несмотря на значительные трудности, связанные с особенностями исторического развития алтайских языков, успешное решение этой проблемы может опираться лишь на дальнейшее развертывание сравнительно-исторических исследований по алтаистике, чему и призвана содействовать настоящая конференция.

[1] См.: «Проблема общности алтайских языков. Тезисы докладов». Л., 1969.

На конференции было прочитано 36 докладов и сообщений, прослушанных с большим интересом, а поставленные в них проблемы и приводимые факты вызывали оживленный обмен мнениями (по докладам было около 130 выступлений).

О. П. Суник (Ленинград) в докладе «Проблема общности алтайских языков, некоторые итоги и ближайшие перспективы ее изучения» осветил состояние алтаистических исследований в советском языкознании, изложил различные точки зрения на проблему этой языковой общности, а также на пути и методы ее разрешения. Как отметил докладчик, сравнительно-историческое исследование алтайских языков сопряжено со многими трудностями как объективного, так и субъективного порядка. Тем не менее, без разработки указанной проблемы не могут быть преодолены реальные трудности и серьезные упущения, наблюдаемые в отечественном языкознании в области сравнительного изучения тюркских, монгольских, тунгусо-маньчжурских и других языков.

Доклады и сообщения, прочитанные на конференции, как и выступления ее участников, можно объединить по тематике в несколько групп. Прежде всего это доклады, посвященные преимущественно объяснению алтайской языковой общности и излагающие методы и методику ее изучения.

В докладе Н. А. Баскакова (Москва) «Ареальная консолидация древнейших наречий и генетическое родство языков» алтайская языковая общность объясняется на основе синтеза двух основных теорий о ее происхождении — теории генетического родства языков и родства, возникшего в результате длительного взаимодействия и контактов. Современное состояние отражает, таким образом, процессы дифференциации, дивергенции и интегрирования, взаимодействий и контактов наречий, входивших в родственные языковые ареалы. Этим и объясняется устойчивое сохранение в алтайских языках тех грамматических элементов, которые характеризуют генетическую общность языков (категория склонения, принадлежности и др.).

Как бы дополнениями к докладу Н. А. Баскакова прозвучали выступления С. К. Кенесбаева (Алма-Ата), который остановился на проблеме древнейших монголо-тюркских языковых связей и контактов (на примере казахского языка), и Ш. Ш. Сарыбаева (Алма-Ата), рассматривавшего такие связи на казахском диалектном материале.

Отстаивая необходимость тотального обследования на уровне морфем всех языков, включаемых в алтайскую общность, Н. А. Сыромятников (Москва) показал в докладе «Методика сравнительно-исторического изучения общих морфем в языках: алтайских (включая корейский), японском, айнском, эскимосском и малайско-полинезийских», как на широком языковом материале можно выявить амплитуду варьирования морфемы и можно выделить в этих языках так называемые родственные корни, которые могут быть сближены не только материально, но и семантически. Как в своем докладе, так и в выступлениях в прениях по другим докладам он подчеркивал важность привлечения для алтаистических исследований богатого японского лексического и морфологического материала, ибо японский, по мнению Н. А. Сыромятникова, является одним из алтайских языков.

Описание родства и объяснение родства суть две разные задачи, стоящие перед исследователем,— отмечалось в докладе Л. Г. Герценберга (Ленинград) «Алтайская теория с точки зрения индоевропеиста» (доклад прочитал И. А. Перельмутер). На конкретных примерах были показаны сходные проблемы и возможные пути их решения в индоевропейском и алтайском языкознании. Успешное развитие алтаистики немыслимо без овладения всем арсеналом методов, которыми располагает в настоящее время сравнительно-историческое языкознание. Разработка теории корня и чередований, учет широких семантических вариаций, внутренняя реконструкция, установление строгих фонетических переходов — вот некоторые пути, по которым может успешно развиваться алтаистика.

В докладе Т. А. Бертагаева (Москва) «Внутренняя реконструкция и этимология алтайских слов» основное внимание было обращено на возможность восстановления с помощью внутренней реконструкции первичных корней, благодаря чему на собственно монгольской почве этимологизируются слова, которые раньше считались не монгольскими по происхождению. При этом необходимо стремиться к реконструкции всей системы этимологических значений, поскольку алтайские языки не обладают длительной письменной традицией.

Отмечая сложность любой реконструкции и признавая, что алтаистика слабо владеет методикой реконструкции, Г. Д. Санжеев (Москва) в прениях призывал к восстановлению строгими методами общеалтайских праформ, чтобы, отталкиваясь от них, проводить исследования в группах языков; по его мнению, для этого необходимо установление и сравнение первичных корней, корнеслова во всех языках.

С. Е. Яхонтов (Ленинград) в докладе «Лексика как признак родства языков» сделал попытку ответить на вопрос о родстве алтайских языков, применив метод глоттохронологии. Докладчик, исходя из того, что признаком родства (или

неродства) языков может быть характер распределения совпадающих слов по семантическим группам, сравнил в пределах опытного списка М. Свадеша из 100 слов так называемую устойчивую часть лексики и пришел к выводу, что характер лексических соответствий между алтайскими языками говорит против гипотезы об их генетическом родстве.

Отрицательное отношение к решению алтайской проблемы вновь прозвучало в сообщении А. М. Щ е р б а к а (Ленинград) «К вопросу об оценке алтайской гипотезы» [2]. Его точка зрения состоит в том, что эта гипотеза за 150 лет своего существования, несмотря на усилия видных ученых, так и не была доказана, что она не способствовала сравнительно-историческому изучению алтайских языков и отвлекала научные силы на безуспешные поиски генетического родства указанных языков. Так называемое родство этих языков может быть, по мнению докладчика, легко объяснено через конвергентное развитие типологически сходных языков, а лексические схождения — как результат межъязыковых заимствований различных эпох. Указанные положения доклада А. М. Щербака вызвали возражения ряда участников конференции (Н. Д. Андреева, У. Ш. Байчуры, А. Б. Долгопольского, Н. А. Сыромятникова), которые отмечали, что, отрицая родство алтайских языков, противники алтайской гипотезы не находят все же убедительного объяснения существующих между этими языками связей.

Участвовавший в обсуждении теоретических докладов акад. В. М. Ж и р м у н с к и й (Ленинград) отметил, что, поскольку между тюркскими, монгольскими и тунгусо-маньчжурскими языками явны структурные и материальные связи, поиски решения алтайской проблемы совершенно закономерны, и предложил начать эти поиски «в обход генеалогического древа». Изучение алтайских языков, которые не дают классических соответствий, тем самым сильно усложняя работу исследователя, должно представлять собой высший вид компаративистики с невиданной доселе проблематикой. Для решения этих задач алтаисту необходима гораздо большая методическая и методологическая оснащенность, чем индоевропеисту, а также владение всей совокупностью языков одной группы и языками нескольких основных групп алтайского региона. Об этом же говорил в своих выступлениях Н. Д. А н д р е е в, который указывал также на важность системного подхода при восстановлении алтайских праформ и на строгость методики и доказательность реконструкций.

Хотя очевидная общность алтайских языков остается пока необъяснимой, все же без широкого обращения к алтаистическому материалу, как подчеркнул в своем выступлении А. Н. К о н о н о в, сравнительно-исторические штудии в тюркологии не могут быть успешными.

А. Б. Д о л г о п о л ь с к и й (Москва) в прениях отметил, что гипотеза о родстве алтайских языков увязывается с более широкой гипотезой о родстве ностратических языков. Однако и в рамках последней гипотезы остается пока без ответа вопрос о том, являются ли общие элементы алтайских языков наследством ностратических языков или составляют специфическое собственно алтайское достояние, т. е. при родстве алтайских языков неясен характер этого родства. Поскольку же алтайская гипотеза позволяет объяснить наблюдаемое родство алтайских языков, она может быть принята в настоящее время и требует дальнейшей углублен ой разработки. В частности, необходимы исчерпывающий список межалтайских лексических соответствий, а также выявление морфологических структур, специфичных только для алтайских языков.

С интересом было прослушано также сообщение Г. П. М е л ь н и к о в а (Москва) «Алтайская теория с позиций системной лингвистики».

Рассматривая язык как адаптивную систему, структура связи между элементами которой и субстанция, представленная индивидуальными свойствами этих элементов, взаимосогласованы в соответствии со способом функционирования системы (т. е. с детерминантной системы), он показал, что все алтайские языки объединены общностью детерминанты — принципом экономии служебных элементов, а различия алтайских языков выражаются в различных степенях адаптированности по этой детерминанте. Установив это, можно теоретически получить звуковые соответствия между алтайскими языками, которые не противоречат фонетическим закономерностям, обнаруженным сторонниками алтайской теории эмпирически.

В двух докладах У. Ш. Б а й ч у р ы (Ленинград) рассматривались некоторые достаточно регулярные алтайские звуковые законы. Закону чередования более полных и более кратких форм слов и соответственно закрытых (на западе) и открытых (на востоке) слогов был посвящен доклад «О слоговой структуре слова в алтайских языках сравнительно с уральскими и индоевропейскими по статистическим и инструментальным данным». Характеристика ударения в изолированных словах и в словосочетаниях и интонации в предложении дана в докладе «Инструментальные данные об

[2] Ср.: А. М. Щ е р б а к, Содержание урало-алтайской гипотезы, ее обоснование и оценка, «Изв. АН Азерб. ССР», Серия литературы, языка и искусства, 1, 1968.

ударении и интонации в алтайских языках».

В докладе Ф. В. Малькова (Москва) «О некоторых звуковых соответствиях в лексике чувашского и корейского языков» рассматривались корни с конечными сонорными *-л* и *-р* и отмечалась их формальная и семантическая близость в обоих языках. Вопросы фонетики алтайских языков затрагивались также и другими участниками конференции (в докладах и выступлениях Н. А. Сыромятникова, Т. А. Бертагаева, С. К. Кенесбаева, Г. Д. Санжеева, О. П. Суника).

Задачи, особенности и методы изучения лексики родственных языков были раскрыты на убедительных примерах в докладе В. И. Цинциус (Ленинград) «Вопросы сравнительной лексикологии алтайских языков». Одним из продуктивных методов является системная обработка лексического материала по тематическим группам, осуществляемая методом внешней и внутренней реконструкции в сочетании с глубоким семантико-морфологическим анализом гнезд слов общего корня и ведущая к установлению изосемантических рядов, или лексических моделей. Конкретное применение этой методики было представлено в докладе В. И. Цинциус «Алтайские термины родства и проблема их этимологии».

В ряде докладов группы сотрудников сектора алтайских языков были изложены результаты сравнительного изучения отдельных тематических разрядов алтайской лексики (Л. В. Дмитриева, В. Д. Колесникова, О. А. Константинова, К. А. Новикова, Т. И. Петрова и Т. Г. Бугаева). Интересный материал, содержащийся в этих докладах, был также дополнен другими докладчиками и выступавшими (Э. Ф. Ишбердин, Уфа; Г. Е. Корнилов, Чебоксары; З. Б. Мухамедова, Ашхабад; М. Н. Хыдыров, Ашхабад; Н. А. Баскаков, А. С. Тверитинова, Москва; Е. И. Убрятова, Новосибирск; Л. А. Покровская, Москва; А. Н. Жукова, Ленинград). О закономерностях развития переносных значений в родственных языках говорил в своем докладе Л. Д. Шагдаров (Улан-Удэ).

С докладами и сообщениями, где привлекался этнографический материал, выступили Г. М. Василевич (Ленинград) и Л. И. Сем (Владивосток) — о выражении пространственной ориентации и о терминах ориентации, Т. М. Гарипов совместно с Р. Г. Кузеевым (Уфа) — об алтайской этнонимии в родоплеменных названиях башкир, М. Г. Воскобойников (Ленинград) — о тунгусо-монгольских связях в фольклорной прозе.

Ряд докладов был посвящен вопросам морфологического строя алтайских языков. Рассматривая случаи комбинации однокатегориальных показателей — падежа, мн. числа и лично-числовых показателей глагола в урало-алтайских и других неродственных языках, Г. Ф. Благова (Москва) искала объяснение этому явлению в самом агглютинативном типе языков или в появляющихся чертах агглютинативности в языках иных морфологических типов.

В докладе И. В. Кормушина (Ленинград) о явлениях фузии в алтайских языках на материале временных и каузативных форм глагола было показано, что эти сложные форманты есть результат относительно позднего сплавления (фузии) исходных праязыковых формативов, выявление которых необходимо для успешных праязыковых построений.

О. П. Суник, этимологизируя на основе данных всех групп алтайских языков глагольные слова со значением «быть» и «стать», указал, что эти лексемы являются в данных языках общими и восходят к общеалтайским прототипам **ба-р ~ * ба-ра* «быть» и **бо-л ~ *бо-ла* «стать». В докладе «К вопросу о возвратных местоимениях в алтайских языках» он рассмотрел комитативные по своей изначальной семантике слова, служащие для выражения понятия «возвратности», а также провел реконструкцию их алтайского архетипа.

В докладе С. Н. Муратова (Ленинград) была предпринята попытка этимологизировать тюркский аффикс *-таш/-даш* на общеалтайском материале; докладчик сопоставляет его со словом **таш* «друг, приятель; одинаковый», которое находит соответствие во всех алтайских языках.

В докладе Д. М. Насилова (Ленинград) рассматривалось выражение способов действия глагола в алтайских языках и соотношение их с категорией вида, а также было показано соотношение по разным языкам синтетических и аналитических форм, выражающих способ действия.

Местоименные слова в сопоставительном плане были проанализированы в сообщениях А. И. Иванова (Чебоксары)— в алтайских и уральских языках, и Х. И. Суюнчева (Черкесск) — в монгольском и карачаево-балкарском языке.

На конференции была прослушана информация В. С. Старикова (Ленинград) о найденных в рукописном фонде ЛО ИВ АН СССР фрагментах чжурчженьской рукописи.

В принятой на конференции резолюции отмечается плодотворность обмена мнениями по алтайской проблеме на настоящей конференции и предлагается впредь периодически созывать всесоюзные конференции по алтаистике. Участники конференции предложили опубликовать материалы конференции в виде коллективной монографии «Проблема общности алтайских языков».

Д. М. Насилов (Ленинград)

III Тюркологическая конференция, проходившая 2—4 июня 1969 г. в Ленинграде, была посвящена памяти замечательного русского тюрколога Платона Михайловича Мелиоранского (1868—1906), оставившего за свою недолгую жизнь глубокий след в отечественной тюркологии.

В работе конференции приняли участие ученые Москвы, Ленинграда, Абакана, Алма-Аты, Ашхабада, Баку, Бухары, Казани, Карши, Коканда, Кызыла, Новосибирска, Нукуса, Тарту, Ташкента, Тбилиси, Уфы, Ферганы, Черкесска, Берлина (ГДР), Улан-Батора (МНР).

Программа конференции включала два пленарных заседания, на которых были прослушаны доклады, освещающие разные стороны научной деятельности П. М. Мелиоранского, и симпозиумы по двум темам: филологической — «Памятники тюркской письменности и фольклора (проблемы филологического изучения)» — и исторической — «Раннесредневековая история тюркских народов».

Раскрытию общего значения трудов П. М. Мелиоранского, не утративших научного значения до наших дней, был посвящен содержательный доклад чл.-корр. АН СССР А. Н. Кононова (Ленинград) «П. М. Мелиоранский и отечественная тюркология».

Историко-литературное и фольклористическое значение работы П. М. Мелиоранского «Сказание об Едигее и Тохтамыше» было раскрыто в докладе акад. В. М. Жирмунского (Ленинград) «П. М. Мелиоранский и изучение эпоса Едигей». Оценка научных достижений П. М. Мелиоранского как исследователя истории тюркских языков содержалась в докладе А. М. Щербака (Ленинград) «П. М. Мелиоранский и изучение памятников тюркской письменности». Научным достоинствам соответствующих работ ученого был посвящен доклад действ. чл. АН Казах. ССР С. К. Кенесбаева (Алма-Ата) «П. М. Мелиоранский и изучение казахского языка». Э. Р. Тенишев (Москва) в докладе «П. М. Мелиоранский — языковед» подробно осветил круг лингвистических проблем, которыми занимался ученый. Анализ труда П. М. Мелиоранского «Араб филолог о монгольском языке» и толкование его наблюдений с точки зрения современной монголистики содержался в докладе Д. А. Алексеева (Ленинград) «П. М. Мелиоранский — монголист». Разбор трех известных работ ученого об ориентализмах древнерусского языка домонгольского периода представлен в докладе А. И. Попова (Ленинград) «П. М. Мелиоранский и изучение тюркизмов в русском языке». Наблюдениям П. М. Мелиоранского над тюркской топонимией и анализу его работы над транскрибированием топонимов посвящен доклад Г. Ф. Благовой (Москва) «П. М. Мелиоранский и изучение тюркской топонимии». К этой тематике примыкают и прочитанные на филологическом симпозиуме доклады Н. С. Смирновой (Алма-Ата) «Казахские пословицы, записанные и опубликованные П. М. Мелиоранским» и действ. чл. АН КазахССР М. С. Сильченко (Алма-Ата) «Рецензия П. М. Мелиоранского на казахскую поэзию», где отмечалось характерное для методики ученого сочетание подходов филологического и этнографического.

Доклады участников филологического симпозиума были посвящены проблемам тюркского языкознания, фольклористики, литературоведения, палеографии, филологического анализа письменных памятников.

Э. Н. Наджип (Москва) («XIV век — век становления тюркских литературных языков») говорил об условиях и путях формирования региональных тюркских литературных языков XIV в. и об их роли в становлении современных литературных языков. Г. А. Абдурахманов (Фергана) в докладе «Об изучении памятников старотюркской письменности XI в.» подчеркнул необходимость изучения «Кутадгу билиг», Дивана Махмуда Кашгарского и других памятников для воссоздания истории отдельных языков и отметил отставание разработки вопросов исторического синтаксиса тюркских языков. Проблемы разработки принципов изучения языков, представленных письменными памятниками, и связанные с ними лингвистические вопросы обсуждались в докладах С. Н. Иванова (Ленинград) «О некоторых принципах исследования памятников тюркских языков», Д. М. Насилова (Ленинград) «К проблеме лингвистического изучения памятников тюркской письменности», Э. А. Грунина (Москва) «К вопросу о варианте нормы в изучении истории турецкого языка». В докладе Н. Н. Джанашиа (Тбилиси) «О каузативе в турецком языке» охарактеризованы субъектно-объектные отношения каузативных глаголов и разработана схема дистрибуции алломорфов показателя каузатива. Р. Р. Юсипова (Москва) в докладе «Грамматическая структура именных фразеологизмов турецкого языка» пыталась отграничить фразеологические единицы от сложных слов и свободных словосочетаний.

О лексике древнерусских письменных памятников как о возможном источнике для изучения некоторых проблем сравнительной фонетики тюркских языков говорилось в докладе И. Г. Добродомова (Москва).

В докладе Г. П. Мельникова (Москва) «О специфике тюркского синтаксиса» была предпринята попытка вскрыть сущность предикации и показать, что специфика тюркского синтаксиса обусловлена

его детерминантой — принципом экономии служебных элементов. В соответствии с этим принципом все непредикативные отношения оказываются сведенными к атрибутивным, выражаемым простым примыканием. Сообщение (С) состоит здесь из темы (Т) и ремы (Р), представляющей повторенную тему (Т') с атрибутивными уточнителями (У), обозначающими те новые черты, которые приписываются теме в реме: $С=Т+У_1У_2У_3...Т'$.

В сообщении Е. И. Убрятовой (Новосибирск) внимание акцентировалось на некоторых злободневных вопросах изучения древнетюркских рунических памятников МНР. Филологический анализ тюркских письменных памятников содержался в докладах З. Б. Мухамедовой (Ашхабад) «Анонимный рукописный дорожник XIX в., хранящийся на Восточном факультете ЛГУ», Э. И. Фазылова (Ташкент) «О неизвестном памятнике XIII—XIV вв».

Вопросам поэтики были посвящены два доклада. А. М. Щербак в докладе «Трактат Бабура об арузе и его значение для исследования творчества Навои» проанализировал этот трактат — одно из самых обширных и обстоятельных сочинений по теории классического стихосложения, представляющее собой важный источник для изучения классической узбекской и таджико-персидской поэзии. В докладе И. В. Стеблевой (Москва) рассматривались поэтические особенности сказания «Огуз-наме».

Фольклористическая тематика была представлена докладами А. К. Калзан (Кызыл) «Тувинская фольклористика» и М. А. Усманова (Казань) «Сюжет эпоса „Едигей" в татарской исторической литературе XVII в.».

На заседаниях исторической секции по теме «Раннесредневековая история тюркских народов» рассматривались вопросы этнической истории огузских племен (С. Г. Агаджанов, Ашхабад), древнетюркской общности (А. Д. Грач, Ленинград), вопрос о тюркских этнических пластах в Закавказье (В. Л. Гукасян, Баку; Р. А. Гусейнов, Баку); были сделаны сообщения о городах кимаков X—XI вв. (Б. Е. Кумеков, Алма-Ата), о политике сасанидов в первой трети V в. на восточной границе Ирана (Б. И. Маршак, Ленинград), об интерпретации некоторых терминов и географических названий, встречающихся в древнетюркских надписях (М. И. Боргояков, Абакан), о древнейшей датируемой тюркской надписи (С. Г. Кляшторный, Ленинград).

В принятом на конференции решении указывалось на полезность издания избранных сочинений П. М. Мелиоранского, остающихся образцом исследования в целом ряде областей тюркологии.

В решении подчеркивалась необходимость обратить особое внимание на изучение памятников древне- и старотюркской письменности, на этой основе создать удовлетворительную классификацию тюркских языков и уточнить терминологию; была подчеркнута важность публикации вновь открытых памятников и повторных изданий некоторых опубликованных памятников на основе современных научных требований.

Конференция обратила внимание на необходимость повышения общего уровня теоретической подготовки тюркологов и с этой целью — неотложность введения в программу филологических и восточных факультетов университетов и педагогических институтов тюркоязычных республик курса по общей тюркологии.

Учитывая общественную и политическую важность изучения проблем тюркологии, связанных с национальным и культурным развитием тюркоязычных республик и автономных областей Советского Союза, конференция с удовлетворением отметила реализацию предложения о создании всесоюзного органа тюркологов СССР — журнала «Советская тюркология».

Конференция считает необходимым создать научный совет по тюркологии при Совете координации востоковедных исследований, сделать постоянными ежегодные тюркологические конференции и всемерно содействовать созыву Всесоюзного тюркологического съезда.

IV тюркологическую конференцию решено посвятить 900-летию со времени создания выдающегося памятника тюркской письменности — «Кутадгу билиг».

Л. Ю. Тугушева, В. Г. Гузев (Ленинград)

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 6 1969

УКАЗАТЕЛЬ СТАТЕЙ, ОПУБЛИКОВАННЫХ В ЖУРНАЛЕ «ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ» В 1969 г. (№№ 1—6)

СТАТЬИ

Виноградов В. В.— О новых исследованиях по истории русского литературного языка 2
Виноградов В. В. — Основные вопросы и задачи изучения истории русского языка до XVIII в. 6
Курилович Е.— Флексии прилагательного в балтийском и славянском 3
Макаев Э. А.— Проблема детерминативов в индоевропейском и в общегерманском. 1
Мошинский Л.— К развитию праславянских сонантов 5
Панфилов В. З.— О задачах типологических исследований и критериях типологической классификации языков 4
Перельмутер И. А. — К становлению категории времени в системе индоевропейского глагола 5
Серебренников Б. А.— Существовали ли в протоуральском языке именные классы? 3
Стойков Ст.— Состояние и задачи болгарской диалектологии 2

ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

Апресян Ю. Д.— Синонимия и синонимы 4
Баскаков Н. А.— К проблеме историко-типологического изучения грамматики тюркских языков 4
Булатова Л. Н.— Еще раз об основном принципе русской орфографии 6
Домашнев А. И.— О некоторых чертах национального варианта литературного языка 2
Жовтис А. Л.— О способах рифмования в русской поэзии 2
Зиндер Л. Р.— К итогам дискуссии о русской орфографии 6
Иванова Т. А.— О названиях славянских букв и о порядке их в алфавите 6
Ивич П.— О древности аканья в славянских языках 3
Клоусон Дж.— Лексикостатистическая оценка алтайской теории 5
Копыленко М. М.— Опыт сопоставительного изучения фразеологических единиц типа *дать совет* в славянских языках 2
Крашенинникова Е. А.— Потенциальность грамматических изменений 1
Крупаткин Я. Б.— Об аллофонических реконструкциях 4
Кузьменко Ю. К.— Диахроническая фонология аффрикат в германских языках 4
Кумахов М. А.— Число и грамматика 4
Лаптева О. А.— Литературная и диалектная разновидности устно-разговорного синтаксиса и перспективы их сопоставительного изучения . . . 1
Лейзерсон О. Д.— К вопросу о «грамматичности» сложного слова . . . 1
Маковский М. М.— Опыт типологической характеристики лексико-семантических систем 3
Матвеев А. К.— Происхождение основных пластов субстратной топонимии русского Севера 5
Медникова Э. М.— К критике некоторых современных методов лингвистической семантики 3
Пазухин Р. В.— К определению универсального кода 5
Раевский М. В.— Верхненемецкое передвижение согласных и факторы фонологической эволюции 4
Ревзин И. И., Юлдашева Г. Д.— Грамматика порядков и ее использования 1
Риглер Я.— Общеславянское значение проблемы аканья 3
Ройзензон Л. И., Абрамец И. В.— Совмещенная омонимия в сфере фразеологии 2

Цейтлин Р. М.— О лексических особенностях старославянских памятников . . . 6
Чекман В. Н.— К развитию особенностей белорусского консонантизма 2
Юлдашев А. А.— К характеристике тюркских сложных слов 5
Яковишин В. С.— К развитию систем прагерманского вокализма . . . 4

МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

Венедиктов Г. К.— О нормализации устной речи на начальном этапе формирования современного болгарского литературного языка 6
Вернер Г. К.— К фонологической интерпретации ларингального смычного в кетском языке 1
Виноградов В. А., Черниченко А. С.— Фоно-морфология именных классов в ганда (луганда) 2
Гутшмидт К.— О роли церковнославянского языка в формировании современных болгарского и сербского литературных языков 6
Демина Е. И.— «Начало» современного болгарского литературного языка в свете общей периодизации истории литературного языка в Болгарии . . . 6
Дыбо В. А.— Среднеболгарские тексты как источник для реконструкции праславянского ударения 3
Дыбо В. А.— Древнерусские тексты как источник для реконструкции праславянского ударения 6
Заимов Й.— Битольская надпись болгарского самодержца Ивана Владислава 1015—1016 г. 6
Золотова Г. А.— О регулярных реализациях моделей предложения . . . 1
Коростовцев М. А.— О природе египетского глагола 4
Крейнович Е. А.— Об изучении языка сымских кетов 2
Любимов К. М.— Об одной группе словосочетаний в тюркских языках 5
Нахуцришвили Г. Л.— Об агглютинативном характере осетинского именного склонения 1
Прядохин М. Г.— Семантическая структура недоговорки — особого типа китайских народных речений 3
Распопов И. П.— Несколько замечаний о синтаксической парадигматике 4
Ревзин И. И.— Так называемое «немаркированное множественное число» в современном русском языке 3
Смирнов Л. Н.— О роли Антона Бернолака в истории словацкого литературного языка 6
Тер-Минасова С. Г.— К проблеме детской речи 4
Тошьян С. Б.— Слогораздел и строение слога в армянском языке . . . 3
Успенский Б. А.— Никоновская справа и русский литературный язык 5
Филин Ф. П.— Из истории синтаксиса восточнославянских языков. О форме именительного падежа имен женского рода на *-а(-я)* в значении аккузатива 3

ПРИКЛАДНОЕ И МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ

Винарская Е. Н.— К изучению вероятностных отношений в речевой деятельности 1
Гладкий А. В.— К определению понятий падежа и рода существительного 2

ИЗ ИСТОРИИ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

Вомперский В. П.— Неизвестная грамматика русского языка И. С. Горлицкого 1730 г. 3

ПО СТРАНИЦАМ ЗАРУБЕЖНЫХ ЖУРНАЛОВ

Бар-Хиллел И.— Будущее машинного перевода 4
Мартине А.— Нейтрализация и синкретизм 2

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Обзоры

Костинский Ю. М.— Вопросы синтаксической парадигматики 5

Рецензии

Абаев В. И.— *E. Benveniste.* Titres et noms propres en iranien ancien . . . 1
Абаев В. И.— *М. Андроникашвили.* Очерки по иранско-грузинским языковым взаимоотношениям 4

Арутюнова Н. Д.— *E. Lorenzo.* El español de hoy. Lengua en ebullición. 4
Ахманова О. С.— *S. Abraham, F. Kiefer.* A theory of structural semantics 5
Бернштейн С. Б., Венедиктов Г. К.— *Ст. Стойков.* Българска диалектология. Второ поправено издание 4
Бернштейн С. Б., Клепикова Г. П.— «Атласул лингвистик молдовенеск» 5
Василевич А. П.— *T. Jakubaite, D. Kristovska, V. Ozola, R. Prūse, N. Sika.* Latviešu Valodas Biežuma Vārdnīca, I; *T. Jakubaite, D. Guļevska, V. Ozola, R. Prūse, A. Rubina, N. Sika.* Latviešu Valodas Biežuma Vārdnica. II . . . 6
Герценберг Л. Г.— Кельтологический журнал скандинавских лингвистов 4
Гецадзе И. О.— *Е. А. Крейнович.* Глагол кетского языка 6
Глушко М. М.— *H. Kučera, W. Nelson.* Computational analysis of present-day American English 3
Головин Б. Н.— *Н. Д. Андреев.* Статистико-комбинаторные методы в теоретическом и прикладном языкознании 1
Дешериев Ю. Д., Гамбашидзе Г. — Толковый словарь грузинского языка и его научное и практическое значение 2
Жуковская Л. П.— Замечания о «Предварительном списке» и «Сводном каталоге» славянских древних рукописей 1
Ицкович В. А.— *L. Gołąb, E. Heinz, K. Polański.* Słownik terminologii językoznawczej 5
Кирпичникова Н. В.— *М. Кубик.* Условные конструкции и система сложного предложения; *М. Кубик.* Изъяснительные конструкции и способы их порождения 3
Колесов В. В.— *В. В. Иванов.* Историческая фонология русского языка. 4
Лизанец П. Н.— «A magyar nyelvjárások atlasza» 5
Майтинская К. Е.— Два исследования по истории лексики венгерского языка 2
Милославский И. Г.— *Зд. Ф. Оливериус.* Морфемный анализ современного русского языка 3
Ничева К. «Фразеологический словарь русского языка» 2
Ройзензон Л. И., Гюлумянц К. М.— *St. Skorupka.* Słownik frazeologiczny języka polskiego 2
Рот А. М. — Этимологические исследования венгерского языка 2
Седлачек К.— *Б.-Д. Бадараев.* Об основах транскрипции и транслитерации для тибетского языка 5
Толстой Н. И.— Новые издания 6
Хабургаев Г. А.— «Московская деловая и бытовая письменность XVII в.» 3
Хушенова С. В.— «Фарҳанги ибораҳои рехтаи забони ҳозираи тоҷик (фарҳанги фразеологӣ)» 2
Щербак А. М.— *К. Н. Menges.* The Turkic languages and peoples 6
Эдельман Д. И.— *В. С. Соколова.* Генетические отношения язгулямского языка и шугнанской языковой группы 1

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

Виноградов В. А., Реформатский А. А.— Сингармонизм, ударение и просодия слова 1
Джаукян Г. Б.— Письмо в редакцию 4
Котков С. И.— По поводу некоторых замечаний рецензента 6
Принц Ю.— По поводу рецензии Е. М. Поспелова на «Russisches geographisches Namenbuch» 4
Чернов В. И. — К вопросу о детерминантах 1

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Алврэ П.— Журнал «Советское финно-угроведение» за три года своего существования (1965—1967) 1
Аманжолов А. С.— Илийские рунические надписи 3
Гецова О. Г — К проблемам диалектной лексикографии 3
Демкова Н. С.— Уникальный автограф Жития Аввакума 1
Котков С. И. — Отказные книги 1
Московичь В. А.— Лингвистические опыты Иоганна Грегора Менделя 1
Подольская Н. В., Суперанская А. В.— Терминология ономастики 4
Пюрбеев Г. Ц. — Развитие языкознания в Калмыкии 2
Хроникальные заметки . . . . . 2—6
Книги, журналы и брошюры, поступившие в редакцию 3

CONTENTS

Articles: V. V. Vinogradov (Moscow). The principal problems and tasks in the history of Russian up to the XVIII century; **Discussions:** R. M. Ceitlin (Moscow). On the lexical peculiarities of Old Slavonic; T. A. Ivanova (Leningrad). The denominations of Slavonic letters and their order in the alphabet; L. R. Zinder (Leningrad). Some results of the discussion on Russian orthography; L. N. Bulatova (Moscow). Once more on the main principle of Russian orthography; **Materials and notes:** V. A. Dybo (Moscow). Old Russian texts as a source for the reconstruction of Proto-Slavonic accent; K. Gutschmidt (Berlin). The role of Church Slavonic in the origin of modern Bulgarian and Serbian literary languages; E. I. Demina (Moscow). The «beginning» of modern literary Bulgarian in the light of general periodisation of the history of literary language in Bulgaria; G. K. Venediktov (Moscow). On the normalisation of colloquial speech of modern literary Bulgarian at the initial stage of its development; L. N. Smirnov (Moscow). The role of Anton Bernolak in the history of the Slovac literary language; Y. Zaimov (Sofia). The Bitol inscription of the Bulgarian autocrat Ivan Vladislav; **Critics and bibliography; Scientific life:** V. I. Kotkov (Moscow). Concerning some remarks of the reviewer.

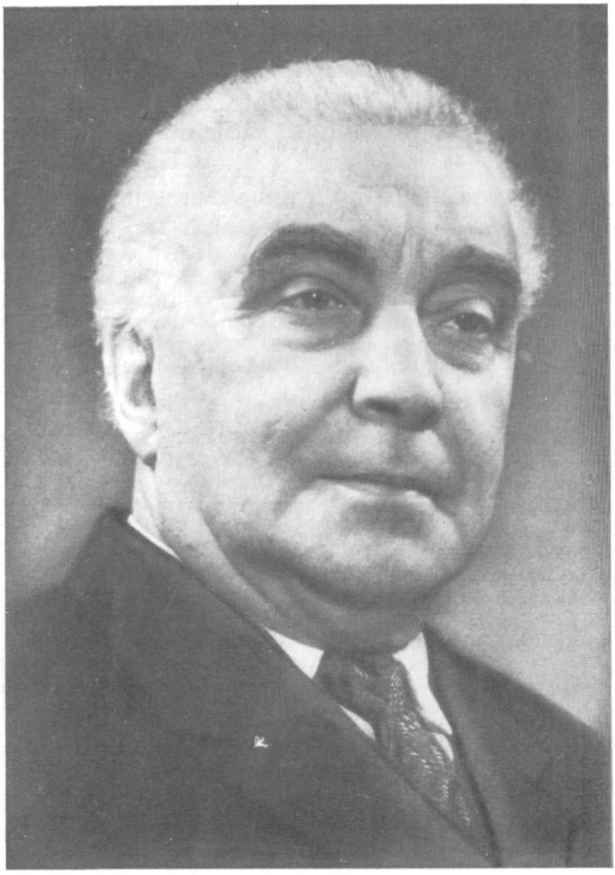
SOMMAIRE

Articles: V. V. Vinogradov (Moscou). Problèmes principaux dans l'histoire du russe jusqu'au XVIII siècle; **Discussions:** R. M. Ceitlin (Moscou). Les traits lexicaux des monuments littéraires du vieux-slave; T. A. Ivanova (Léningrad). Les dénominations des lettres slaves et leur ordre dansl'alphabet; L. R. Zinder (Léningrad). Quelques resultats de la discussion sur l'orthographe: russe; L. N. Bulatova (Moscou). Une fois de plus sur le principe essentiel de l'orthographe russe; **Matériaux et notices:** V. A. Dybo (Moscou). Les textes vieux slaves comme source pour la reconstruction de l'accent proto-slave; K. Gutschmidt (Berlin). Le rôle du vieux-slave dans l'origine des langues bulgare et serbe littéraires; E. I. Demina (Moscou). Le «commencement» de la langue bulgare littéraire sous la lumière de la periodisation générale de l'histoire de la langue littéraire en Bulgarie G. K. Venediktov (Moscou). La normalisation de la langue parlée bulgare au premier stade de son développement; L. N. Smirnov (Moscou). Le rôle d'Anton Bernolak dans l'histoire de la langue littéraire slovaque; Y. Zaimov (Sofia). L'inscription de Bitol de l'autocrate bulgare Ivan Vladislav; **Critique et bibliographie; Vie scientifique**; V. I. Kotkov; (Moscou). À propos de quelques remarques de mon critique.

Технический редактор *Васильева Н. И.*

Сдано в набор 29/VIII—1969 г. Т-17815 Подписано к печати 19/XII—1969 г. Тираж 6315 экз.
Зак. 2715 Формат бумаги 70×108¹/₁₆ Усл. печ. л. 14,7+1 вкл. Бум. л. 5¼ Уч.-изд. л. 17,4

2-я типография издательства «Наука». Москва, Шубинский пер., 10



В ночь с 3 на 4-е октября 1969 г. в Москве на 75-м году жизни скоропостижно скончался

академик

ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧ ВИНОГРАДОВ

главный редактор и основатель журнала «Вопросы языкознания», действительный член Академии наук СССР, профессор, заведующий кафедрой русского языка Московского государственного университета, председатель Советского комитета славистов, вице-председатель Международного комитета славистов, президент Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы, член Польской Академии наук, Сербской Академии наук, Болгарской Академии наук, Академии наук ГДР, Академии надписей и изящной словесности (Париж), почетный доктор Карлова университета (Прага), почетный доктор Будапештского университета и член ряда других научных обществ и советов.